



КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ
ПО ИСТОРИИ
СРЕДНИХ ВЕКОВ

КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ

ПО ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ

(Очерки и рассказы)

под редакцией академика С. Д. С к а з к и н а

Часть вторая

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Москва 1970

ПРЕДИСЛОВИЕ

Во второй части «Книги для чтения по истории средних веков» освещены главным образом события позднего средневековья — бурной эпохи социальных сдвигов, острых классовых битв и идеологических столкновений, высокого взлета научной мысли и искусства. Такие темы, как образование централизованных национальных государств, абсолютистских монархий, Великие географические открытия, реформация и контрреформация, крестьянские и национально-освободительные движения и войны, первая победоносная буржуазная революция несомненно вызовут живой интерес у наших юных читателей.

В «Книге для чтения...» наряду с очерками, сочетающими обобщенное изложение фактов с образными зарисовками отдельных событий и исторических деятелей, мы предлагаем шестиклассникам небольшие рассказы, героями которых подчас являются вымышленные персонажи, изображенные на фоне подлинных исторических событий.

Сложные исторические ситуации и средневековые представления легче раскрываются в конкретных эпизодах и живых диалогах при условии подчинения сюжетного вымысла строгим требованиям исторической достоверности. К таким рассказам относятся «Косово поле», «Клюнийские беглецы», «Гансик в школе бакалавра Рингеля», «Великий насмешник Рабле», «кардинал Ришелье» и «Леонардо да Винчи». В первой части нашей книги к этому художественно-историческому жанру принадлежат рассказы «Средневековая деревня и замок», «Робин Гуд».

В заключение выражаю признательность товарищам, принимавшим большое участие в редактировании и подготовке книги,— Н. И. Запорожец, В. Е. Степановой, А. Д. Эпштейну.

Академик *С. Д. Сказкин*

Книга для чтения по истории средних веков. (Очерки и рассказы). Под ред. акад. С. Д. Сказкина, ч. II. М., «Просвещение», 1970.

304 с. с илл.

Вторая часть «Книги для чтения по истории средних веков», как и первая, предназначается для внеклассного чтения школьников. «Книга для чтения...» посвящается сюжетам второй половины средневековья, вопросам политической истории, культуры эпохи Возрождения, Великим географическим открытиям, реформации и крестьянской войне, ярким эпизодам первой буржуазной революции.

Книга хорошо иллюстрирована и будет с большим интересом читаться учащимися.

КОСОВО ПОЛЕ

В облаке густой дорожной пыли большой отряд сербских воинов поднимался на склон холмистой гряды, за которой зеленела залитая солнцем долина, опоясанная синеватой кромкой лесистых далеких гор.

Статный юнак прищпорив коня, догнал ехавшего впереди седого воеводу. Поравнявшись с ним и окинув взором местность, он воскликнул:

— Красота-то какая! Глядишь и не налюбуйешься землей нашей: долинами, холмами да горами...

— Не радуют меня наши горы, давно не радуют, племянник,— хмуро ответил старый воин.

Встретив вопрошающий взгляд юноши, он добавил:

— Иной раз думаешь: не на горе ли нам всем земля наша расчечена горными хребтами, холмами да реками. Ведь что ни долина, то словно бы отдельная страна. Везде свой бан (князь), и этот бан не только волком смотрит на соседа, но и норовит напасть на его владения, чтобы захватить как можно больше полей и присоединить их к своей вотчине.

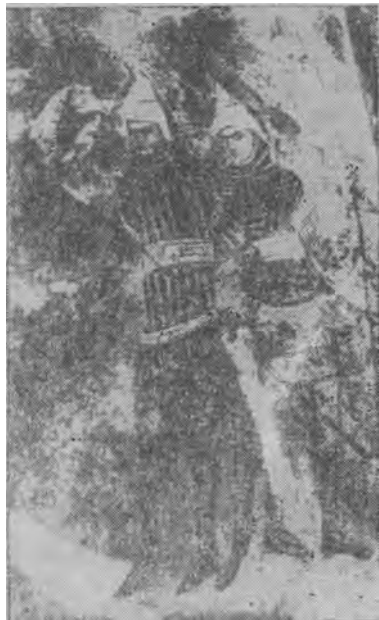
Поверь дядиному слову: никогда еще, никогда с тех пор, как появились на свет божий сербы, не были так опасны и так губительны кровавые распри.

— Посуди сам,— продолжал он свою мысль.— В прежние времена нашей свободе мешала могущественная Византийская империя. Но вот уже много лет как сама она с превеликим трудом защищает оставшиеся под ее властью греческие поселения...

Однако нам не стало легче. Тот самый враг, который несет гибель ослабевшей Византии, грозит ныне и нам.

Несколько десятилетий тому назад несчетная рать турок-османов хлынула из Малой Азии на Балканы... Казалось, вот-вот падет Константинополь и волна турецкого нашествия окончательно захлестнет то, что осталось от былой империи... Ты слышал, Константинополь устоял. Высоки и крепки его стены. Их не сокрушить ни мечами, ни копьями, ни стрелами...

¹ Юнак — то же, что рыцарь.



Сербские воины. Фреска
XIV века в монастыре Матеч.

Говорят, в латинских странах появились громадные трубы на колесах — пушки. Вместе с пламенем они извергают литые железные ядра, способные пробивать крепкие каменные стены.

У турок, к счастью, этих огненных чудовищ нет¹. И коварный султан Мурад до поры до времени оставил Константинополь в покое, стараясь обойти его и с севера и с запада. Он окружает город плотным кольцом подвластных ему балканских земель. Потому-то он и заносит свой меч над головами сербов и болгар. Хитрый Мурад ныне только о том и думает, как бы получше использовать наши внутренние раздоры, как бы помешать нам объединиться и, как турки выражаются, «поодиночке разбить неверных».

Глубокий вздох вырвался при этих словах из груди говорившего...

— Но разве мы не сумеем объединиться? — встревоженно спросил юноша. — Разве наш князь Лазарь не укрепляет связи с соседями? Ведь одну свою дочь он выдал за зетского князя², другую — за болгарского царя. Разве он не в дружбе с королем Боснии, разве не собирает силы всех сербских банов для отпора султану? Вопросы эти долго оставались без ответа. Наконец, словно очнувшись, старый воевода молвил:

— Для того-то мы и едем к Нишу, чтобы вместе с другими стать на пути завоевателя — Мурада. Город Ниш — ключ к Сербии. Здесь сходятся пути от Видина, Софии, Косова, Топлицы. Ниш туркам не обойти.

Нам надлежит отстоять Ниш, закрыв султану дорогу в Сербию. Но много ли нас там соберется и, если удастся отбить натиск турок под Нишем, долго ли продлится союз сербских банов, — этого никто не может знать!

В том-то и беда, что сербские баны боятся не только турок. Они страшатся, как бы объединение всей сербской земли под вла-

¹ В следующем, XV столетии у турок появилась артиллерия, которая в 1453 году облегчила им захват Константинополя.

² *Зетское княжество* — (теперь Черногория) у Которской бухты Адриатического моря.

стью одного полководца и государя не лишило их господства над собственными княжествами. И ныне страх наших банов за свое владычество — главная помеха общей борьбе с жестоким чужеземным врагом.

Засватал Милош невесту далеко от родного дома. Услыхал о Елице-красавице — дочери властеля¹ и покой потерял. Отец невесты противился долго. Хотя и добрый юнак Обилич, да нет чести породниться с человеком незнатного рода. Если бы сам князь Лазарь не замолвил слово, не было б свадьбы.

Всего вдоволь у Милоша в Липлянах. И земли, и леса. Недаром прозвали его Обилич — богатый. Но есть у Милоша и другое прозвище — Кобилич. Придумали недруги сказку, будто не было у него ни роду, ни племени, а вскормила его молоком кобылица степная. Оттого и любит он больше жизни широкий простор да степной ветер. А может, не враги придумали эту сказку, а народ сложил? Знают люди, что знаменитый юнак Милош, равного которому не сыщешь в Сербии, — их плоть и кровь, черная косточка... А теперь войдет в его дом знатная девушка, смиренно поклонится тому, кто, случилось, и скот пас, прежде чем добыл себе мечом славу и богатство.

Все готово в Липлянах к приему невесты. Ворота открыты настежь. Вот и свадебный поезд. Спешились сваты, разминают ноги. Кони ржут, почуяв отдых. Одна только невеста не сходит с коня, ждет, по обычаю, жениховых подарков. На золотом блюде выносит эти подарки посаженная мать² жениха. Атласные одежды топорщатся на ее дородном стане, златотканый плащ сбегает с плеч. С поклоном протягивает она блюдо Елице:

— Будь здорова, госпожа. Сойди с коня, вступи в дом!

Елица берет из ее пухлых рук блюдо с горкой жемчугов, драгоценных косичников³, сверкающих перстней.

— Гляди, гляди, — раздается в толпе, — подарки-то какие! Как у царей византийских!

Девушка кланяется в ответ, передает блюдо молодому Косанчичу.

— Сойди, госпожа, с коня!

Невеста упрямо сдвигает брови, щеки ее заливают румянец.

— Не сойду!

В толпе кто-то ахает. Вот так диво! Видно, не по вкусу пришли подарки знатной невесте.

¹ *Властель* — крупный феодал в Сербии.

² *Посаженная мать* — почетная покровительница и представительница жениха в свадебном обряде.

³ Украшения, вплетаемые в косы.

— Сойди, сойди, что ты! — шепчут ей сваты.

Толстая посаженная мать пятится к каменному крыльцу, кричит:

— Милош! Жених! Не сходит невеста с коня. Бедно ты ее одарил, не по чести, не по роду!

Милош выскочил на крыльцо, нахмурился.

— Эй ты,— закричал он,— госпожа высокородная! Слезай с коня, живо! — Он широко зашагал по двору, подошел вплотную.— На моем же коне сидишь. Или конь тебе не хорош? Или сватов мало?

Девушка твердо встретила взгляд синих Милошевых глаз, потемневших от гнева.

— И с твоего коня не сойду, воевода. Хороши подарки и богаты, только мне их не надо. А слышала я — держишь ты под замком Топлицу Милана. Он мой сосед и добрый юнак. Дай ключи от темницы, тогда сойду! — Узкая рука девушки протянулась вперед, ладонью кверху.

Милош секунду стоял неподвижно, потом засмеялся, легко снял Елицу с седла, поставил на землю:

— Вот так девушка! Бедовая госпожа. Ну что ж. Получай ключи — женихов подарок...

Сам князь Северной Сербии Лазарь приехал на свадьбу. С ним весь цвет сербского войска — все знатные люди. Не видно среди гостей только Вука Бранковича — соседа. Отказался, сославшись на нездоровье. Прислал вместо себя племянника — Гргура Бошковича.

Дубовые столы ломаются под тяжестью снеди.

— Здоровье князя нашего Лазаря и княгини Милицы!

— Здоровье молодых!

— Воеводе Милошу многие лета!

Вдруг Юг Богдан отодвинул полную чашу. Толстый Гргур жевать перестал. Зашептались гости. Невеста положила на локоть Обилича легкую руку.

— Что же ты, Милош? За столом все друзья — твои гости.

Милош нахмурил брови. Откуда ей знать — нежной девушке — горькую правду? Да, есть и друзья, но их мало! Все эти властели съест готовы друг друга. Вечная свара меж ними из-за лесов и угодий. А уж простому народу от них никуда не укрыться.

— Враги! — процедил он сквозь зубы.

По правую руку невесты сидит Милан Топлица. Бледное лицо молодого юнака нахмурено,— не по сердцу ему этот пир, не по нраву полученная свобода. Хорошо — отпустил бы за выкуп или от чистого сердца забыл Милош старую ссору. А то так — в угоду прихоти женской... Услышал недоброе слово — и зашло в нем сердце.

— А коль враги, нечего за стол приглашать, вино в чашу наливать!

Поднялся Милош, сверкнул очами, подбоченился...

— Довольно, юнаки! — Лазарь встал, отодвинул скамью, заговорил властно.— Довольно распрей! Сидите в своих дворах — за горами, зубчатыми башнями всей Сербии вам не видно. А враг — турки — у самых границ. От тебя, Милош, не ждал я такого. Что не поделили — коня или сокола?

Юнаки молчат, но за них рад слово молвить толстый Гргур. Красным он стал от вина и болтливый: — Если бы конь! А то — не поверите — из-за какого-то мужика. Слугу его, видишь, Топлица обидел.

— Довольно,—нахмурился князь.— Забудьте старое дело.

Но Бошкович Гргур не все еще, видно, сказал.—Ты бы, Топлица, не обижал мужиков в Липлянах. Здесь толкнешь мужика — попадешь в хозяйского дядю!

Топлица вдруг улыбнулся, сверкнули белые зубы.—Жаль, Гргур, не тронул я твоего дядю, высокородного Бука. Тогда б у меня с Обиличем ссоры не вышло.

Чего не сделают умные речи, делает смелая шутка. Посмотрели юнаки друг другу в глаза, толкнули друг друга плечами. Отстегнул Милош алеманскую саблю¹, подал Милану: — Благ брата может предать и убить, побратим побратима не выдаст!

Оба надрезали руки, кровь их смешалась.

— Славно, славно!

— Все бы вы так, воеводы и властели,— молвил Лазарь.— Не было бы такого врага, чтобы нас одолел. Так ли я говорю? — возвысил князь голос.

— Так, так,— раздались голоса.

— Ты что же молчишь, Обилич?

— Дозволь, князь, слово молвить...— Стало вдруг тихо. Все знали: Милош не побоится сказать правду самому князю. Все ему прощает Лазарь за удаль юнацкую.

— Ну что ж, говори!

— Спасибо тебе, иресветлый князь, за науку. В единении — сила наша. Но и враг — турок проклятый — силен. Дай меч народу — будем стоять крепко!

— Вооружить народ?—Лазарь гневно повел плечами. — Не бывать этому!

Впервые князь остался недоволен своим любимцем. Уехал рано...

В декабре 1386 года по дороге в Крушевац² двигалось сербское войско. Люди едва держались в седлах. Окровавленные, засохшие

¹ *Алеманская* — немецкая, изготовленная в Германии или германскими кузнецами в Сербии.

² *Крушевац* — замок и местопребывание князя сербского Лазаря.

повязки мешали двигаться. Тяжелораненые были привязаны к спинам товарищей. Но воины будто не чувствовали усталости. Добрая юнацкая шутка перебегала от одного к другому. За войском тащилась кучка темнолицых раскосых пленников в грязных, но ярких одеждах. Жители сел на всем пути войска высыпали на дорогу, долго глядели вслед. Ребятишки с громкими возгласами прыгали вокруг пленных, норовя достать их палкой.

Не дешево досталась сербам победа.

25 дней держались они, защищая Ниш от вражеских полчищ, пока гонцы пробрались в Крушевац с известием об осаде. Но турки взяли древнюю крепость, путь в сердце Сербии был открыт. Везир Али-бей ворвался в узкую долину реки Топлицы, сжигая на своем пути села. Люди прятались в горах, бежали под стены града Плочника, угоняли скот, спасали детей. Немногим удалось достичь городских стен. Войско Лазаря встретило турок в тесном ущелье. Сомкнулись две конные лавины. Страшен и беспощаден был бой: жалкая кучка пленных да немногие беглецы — вот все, что осталось от Алибеева войска.

Лазарь едет чуть в стороне, по обочине дороги. Он один среди возбужденных победой людей выглядит хмурым и озабоченным. Сегодня победа, а что принесет завтрашний день? Несметны силы турок, тверда власть султана. Одно лишь мановение его десницы — священный закон. А в сербском войске — раздоры. То и дело долетают до князя недовольные речи, обрывки споров:

— А чего ради мириться, если сосед отхватил у меня семь деревень? — На что соседи даны нам от бога? Чтобы не тупились сабли!

По дороге на Крушевац тает сербское войско: разъезжаются властели по своим замкам. Едва половина прибует в Крушевац к князю на пир. Северные властели хотят войны с Венгрией, соблазняет их на это король Боснии. Трудно будет помешать этой войне. А ведь она отвлечет много сил от борьбы с турками и, главное, — в тот самый час, когда все, решительно все силы нужно держать наготове. Как сказал тогда Милош на свадьбе своей: «Вооружить народ? Нищий народ, разоренный войнами и поборами? Страшен этот народ в гнев своем! Полученное им оружие он может обратить против своих вчерашних господ, против всей знати...» От мрачных дум ссутулились плечи князя.

А с южных земель тем временем бежит разоренная турками райя. Тысячи рук тянутся с просьбой о хлебе. Властели гонят беженцев со своих земель, не думая, что завтра и их дворы могут стать добычей турецких отрядов. Нет, только союз, крепкий союз всех славянских государств в силах остановить смертельного врага.

¹ Турецкое название покоренных народов, обложенных тяжелой данью в пользу султана.

На третий день после большого пира, который устроил Лазарь по случаю победы иод Нишем, поехал Вук Бранкович к племяннику Гргуру в гости.

Вук и Гргур долго сидели молча. Вдруг Гргур придвинулся к дяде: — А что, если...— Бранкович остро взглянул на родича.— Султан Мурад. Вот кто поможет сбросить Лазаря... Обещать ему земли. На худой конец отдать город Ниш...

Бранкович поднялся, отодвинул кресло с головами дракона на спинке, заходил по ковру, потом в раздумье остановился, опершись на кресло.

— Нет,— сказал Вук медленно. Рука его в задумчивости поглаживала резную драконью голову.— Нет. Пусти только в Сербию басурман. Самое большее — оставят нам наши вотчины. Да еще им плати. Нет, это не выход!

За три года, что прошли после битвы у Плочника, разгладился шрам на щеке, зажили старые раны. Тихо текут дни в Липлянах на подворье Милоша-воеводы. Вдруг — гонец. Доскакал до крыльца, бросил повод слуге, быстро взбежал по ступеням.

— Опять в Крушевац?..— Елица подняла на мужа глаза, полные скрытой тревоги. Милош взял письмо, сломал печать — брови сошлись к переносью.

— Что, снова турки? — спросила Елица одними губами.

Он мог бы ее успокоить, но не такова его жена — Ела, чтобы утешать ее ложью.

— Да, султан ведет на нас свое войско. Лазутчики доносят — идет старой дорогой на Ниш. Князь собирает всех властелей. Надо ехать, Елица.

— Ну, что ж,—сказала она медленно.— Поезжай, милый супруг, с богом. Возвращайся живым и здоровым.

Который раз собирает Елица мужа в дорогу. Укладывает еду в кожаную торбу. Долго держит в руках белую рубаху. Где пронзит полотно вражья стрела? Разрубит меч острый? Ох, лучше не думать...

Отзвенели копыта коней, ускакала дружина мужа. Осталось — смотреть на дорогу, считать дни или годы.

Но летнее солнце все так же всходит, дни сменяют ночи, медленно течет жизнь в Липлянах у подножия гор Шар-Планины¹, на самом краю Косова поля. Остались на властельском дворе жена и сын. И еще — старые слуги. Никто не ждет незваных гостей: по слухам, войско Мурада пойдет старым путем — через Ниш, по долине Топлицы. Но хитрый султан меняет решение: он приказывает своим беям свернуть на другую дорогу.

— Беда, беда, госпожа Елица! Беда! Турки близки! — Старый

¹ *Планина* — плоскогорье; Шар-планина — плоскогорье круглой формы.

слуга задыхается, губы дрожат от страха. Он пас стадо за дальним холмом и увидел: будто туча сползает с гор на долину...

— Спасайся, хозяйка! Спасай малого сына!

Побледнела Елица, заметалась по горнице. — Где же ты, Милош? Где твои сильные руки? Что я могу — одна против рати турецкой? Нет, не дамся живой, не дам, сына в рабство. Или погибну с ним вместе, или пробьюсь в Крушевац!

Маленький Гойко сидит на коленях у няньки. В пухлых ручонках кукла — деревянный резной человечек. Мать не дает ему игрушку; боится острого носа — не уколел бы сыночка. А Гойко любит раскрашенную игрушку: и рот до ушей, и веселые глаза, и протянутые вперед деревянные ладошки.

Вдруг вбежала в горницу мать. Она ли это? Не узнал ее сын, заплакал. Его мама — в шлеме, в кольчуге и с саблей. Схватила на руки Гойко, не заметила острого носа опасной игрушки.

Вот мчатся они на коне; маленький Гойко, закрытый отцовским щитом, крепко привязан к Елице. Мать погоняет коня: скорее, скорее! Пока не докатились сюда турки — уйти под защиту сербского войска. Вот дорога пошла в гору, на холм. Елица оглянулась назад. Боже правый! Все зеленое поле, насколько хватает глаз, покрыто вражеским войском. Растекается оно по полю, пожирает все вокруг, будто черное пламя. Нарастает гул, все ближе слышен топот. Маленький сын прижался к материнской груди, покрытой железной сеткой, не выпускает игрушки.

...Течет по Косову полю светлая речка Ситница. Несет свои воды в Ибар, приток Моравы. А Морава в широкий Дунай, а Дунай в Черное море. Только здесь, у Липлян, неширока речка Ситница. Здесь, у гор, она быстра и коварна: притащит вдруг камень, выроет яму. Шаткий мостик перекинут с берега на берег.

Скорее к нему: топот висит за плечами Елицы. Вот мелькнули под ногами у копя мостки деревянной кладки... Что это? Захрапел конь, пронзенный стрелой, взметнулся на дыбы, забил копытами воздух. Рухнули под его телом тонкие жерди. Детский крик взвился над долиной и погас в плеске. Сомкнулась вода, разошлись по ней круги. Турок с конским хвостом на шлеме взвизгнул от злости: жаль, что пропал добрый конь, и обиден промах...

Откатился бранный шум, улеглись на воде широкие круги. Разгладились облака, отраженные в речке. Только вдруг вынырнул острый нос, закачался на воде деревянный резной человечек. Плышет, улыбается, смотрит в синее небо раскрашенными глазами. Высоко оно, синее небо, спокойно и чисто. Плывут облака над водою.

Нет, не сбылись честолюбивые замыслы Вука. Ему удалось бы раздуть распри, если бы северные властели ухитрились навязать Лазарю ненужную войну с Венгрией. Но теперь, когда этот замы-

сел провалился, Вук Бранкович больше всего опасался воеводы Милоша. Ни один родовитый властель не пользуется у князя Лазаря таким почетом.

Тревожные думы не давали Вуку спать. С февраля 1389 г. ходят слухи, что Мурад собирает огромное войско. Вызвал он своих сыновей Баязида и Якуба из Азии. От приезжих купцов и верных людей стало известно, что несметные силы врага движутся к Сербии... А теперь по зову князя Лазаря к нему явился Милош с дружиной. И надо было видеть, с каким почетом встретил князь этого выродка! Далеко, видно, метит Кобилич! Вот кого надо убрать с дороги немедленно...

Долго тянется ночь, низко горят над Крушевацем звезды.

Вдруг захрапел где-то конь, простучали копыта, слышались окрики стражи. Захлопали двери.

— Где, где, откуда? — раздался снизу голос Обилича.

— На Косово поле, к Приштине...

— Мурад на краю Косова!

— Слышите, братья?

— Сила несметная! Липляны твои, Милош, разорил турок до тла. Жена и ребенок погибли в Ситнице!

— Эй, пропустите его во дворец!

— Вестника к Лазарю!

Гудит крушевацкий дворец — потревоженный улей. Кто в горячке седлает коня, кто молится. Вук Бранкович — владетель Косова поля — до боли сжимает холеные руки. Так вот куда пожаловали незваные гости: к нему на Косово! Бешеной злостью наливается его сердце. Злостью, но и радостью смутной: погибла семья ненавистного Милоша, сгорели Липляны...

Идут дни. Новые отряды прибывают в Крушевац, но мало их, мало. Лазарь в тревоге меряет горницу тяжелыми шагами. Надо бы встретить врага в горных ущельях, да упущено время. Ну что ж, на широком Косове есть где разгуляться коннице сербов.

— Эй, Голубан! Позвать воеводу Обилича. Как это нет? Найти поскорее!

Тем временем Вук Бранкович у себя в башне держит совет с верным другом. Гргур осторожно касается локтя, приближает лицо к самому уху.

— Помнишь ли наш разговор на моем дворе три года назад, дорогой дядя? Не поздно вернуться к тому разговору.

— Поздно, Бошкович, поздно. Не сегодня — завтра сраженье.

Пухлые пальцы расстегнули кафтан, развязали тесемки рубашки. Гргур вынул тонкий платок, развернул на коленях, подал Вуку листок:

— Письмо от Мурада.

Откуда оно у тебя?

— Принес человек верный.

Вук пробежал глазами листок.— Всем воеводам, которые отложатся от Лазаря и перейдут на его сторону, Мурад обещает награды и земли, обещает свободу веры...

— Ишь, нехристь! — гневно восклицает Вук.

— А надо подумать, — вкрадливо шепчет толстый Гргур, — у него сила, а у нас лишь малое войско. На соседей надежда слаба. Один только боснийский король прислал отряд.

Вук Бранкович встал, глянул в лицо Гргура гневным взглядом.— Мурад пришел на мое поле, топчет мою землю и хочет, чтобы я ему кланялся в ноги!

Гргур поспешно спрятал письмо за пазуху. Вук остановил его: — Письмо это дай мне. На нем имени нет, может еще сослужить службу.

...И пошло то письмо из рук в руки. Из холеных рук воеводы Бранковича в маленькие, унизанные перстнями ручки княгини Милицы. — Смотри, пресветлая государыня, какие письма получает из турецкого лагеря княжий любимец...— Из ручек Милицы в жесткие ладони Лазаря: — Прочти, дорогой супруг мой. Узнай, что задумал накануне боя твой Милош — подлый изменник!

Трубит рог в сербском стане, сзывает воевод и властелей в княжий шатер на пир. Последний пир перед битвой. Воеводы теснятся у входа, гремя саблями, садятся на скамьи. Рассаживаются по родовитости.

Вот слуга Голубан налил первую чашу, с глубоким поклоном поднес Лазарю. Стих гул, все повернулись к князю. Лазарь медленно поднял поседевшую голову, взял в руки кубок.

— Пью за победу, сербы. Завтра, в Видов день, решается судьба нашей земли. Храбро сражаться нам, братья!

Задвигались кубки, потянулись к дымящимся блюдам. Молча сидит Милош у самого входа в шатер. Задумчиво смотрит на кубок с ракией

— Ну, а вторую чашу,— Лазарь обвел взглядом властелей,— выпить хочу за вас. Да только за кого прежде? Если по знатности рода, выпил бы я за Вука Бранковича. Если бы хотел выпить за силу...— Лазарь помедлил, словно не зная, кому отдать предпочтение: — выпил бы я за тебя, Страхиня. Если бы хотел выпить за самого красивого юнака в войске, выпил бы за Косанчича. А только я хочу выпить за храбрость. Твое здоровье, Милош Обилич! Был ты мне прежде верным воеводой и добрым другом. А теперь ты — перебежчик турецкий!

Милош вскочил на ноги. Под ударом могучего кулака треснула столешница, голос сломался от гнева: — Чья клевета?

¹ Ракия — сливовая водка.

Лазарь вынул письмо Мурада: — На, читай, коли хочешь. Кто доставил это письмо, тебе знать лучше. — Вук принял листок из рук князя, прочел вслух от строки до строки.

— Кто видел это письмо у меня? — спросил Милош. Он стал вдруг спокоен, только бледность залила щеки.

— Скажи лучше, где побратим твой — Топлица? — спросил Вук. — Уж не поскакал ли в турецкий лагерь с известием о твоей измене?

— Топлица послан в разведку! — крикнул Косанчич.

— Да, — подтвердил Милош негромко.—Топлица в турецком стане...— Он опустил голову и вдруг поднял ее рывком, будто пришла ему какая-то мысль.— Так ты говоришь, Вук, письмо мое? Ну так давай его мне.— Письмо шлепнулось в винную лужу. Милош вытер его рукавом, расстегнул панцирь, спрятал.

— Что еще скажешь, князь мой?

— Скажу: иди, воевода. Иди куда хочешь. Хочешь — останешься сербом, хочешь — подайся к туркам. А чашу эту я пью за тебя.

— Спасибо, князь,— Милош поклонился низко.— Кто тебе верен, кто нет, покажет завтрашний день. Прощайте, юнаки!

Милош отодвинул скамью, вышел из шатра. Следом — Иво Косанчич.

Лежит котловина меж гор и высоких холмов — Косово поле. Чтобы проехать его, надо скакать целый день, не слезая с коня. А поперек — от болотистых берегов Ситницы до глинистых рыжих уступов — конь домчит часа за два. Течет, извивается посреди поля глубокий Лаб — стремится к Ситнице. Нелегко отыскать на нем брод, переплыть с берега на берег. Только близ устья разливается вширь, становится мельче.

Лазарь оставил Приштину, отвел за Лаб свое войско. Отвел — и мосты за собою разрушил, И тотчас двинулось войско Мурада. Занялась пожаром Приштина... Вышло турецкое войско на левый берег. Отблеск далекого зарева отразился в воде, будто реку подкрасили кровью.

Нету края стану, туркам счету...

Если б сербы стали солью, туркам

Не хватило б на обед той соли!

Так поется в старинной народной сербской песне...

Милош и Иво Косанчич ждут друга у старой церквушки. В глубине ее теплится свеча, молится кто-то... видно, за мужа или за брата. Много завтра будет вдов и сирот.

Из-за туч показалась луна, осветила холмы неласковым светом. Девушка поднялась с колен, потушила огарок свечи, пошла к выходу.

Вдруг третий юнак подскакал к ним бесшумно — копыта коня обвязаны тряпками... Снял чалму, вытер пот рукавом.

— Милош!

— Топлица!

Юнаки отъехали, сгрудились тесно. Только обрывки слов долетают до девушки: — Страшная сила... мы с босняками вместе — третьей части не будет! Выходят на Лаб... Шатер султана...

— Что ты задумал, Милош?! Нет силы такой, чтобы пробиться...

— У меня пропуск — письмо от Мурада...

Душно в шатре... Не спит Лазарь в эту последнюю ночь, слушает окрики стражи. Разведчики приносят дурные вести. Намного враг превосходит сербские силы. Не все еще воеводы пришли. Успеют ли к утру?

Вдруг горькая мысль заставила Лазаря встать с походной лежанки. Встал, откинул полу шатра, вышел наружу. И так захотелось ему поднести к губам рог, протрубить тот условный сигнал, которым не раз призывал он Милоша в битве. Не может быть, чтобы Милош предал. Кому тогда верить? А ведь письмо принесла сама Милица. Быть может... тайный недруг Обилича ввел в заблуждение княгиню? Спит человек этот здесь в моем стане или не спит... Точит саблю? А Милош? Отряд свой оставил в войске... Если он прав — почему же и сам не остался? Эх, знатные люди сербские! Нет у вас единства. Труден будет завтрашний день! Но родина просит защиты.

Ночь и не ночь уже — раннее утро. Смутный свет стирает на небе звезды, сеется, как сквозь сито...

Есть холм в стане сербов, за Лабом: не очень высок, но выше окрестной равнины. Крутолобый холм Ветрник, с проседью ковыля в травах. Иногда пробежит по нему лисица, сядет орел белохвостый. Но хозяин здесь ветер. Поет свои тонкие песни, пригибает ковыль, шевелит травы.

Но вот застучали по склону копыта, пискнула птица в испуге. Проскакал знаменосец. Ветер рванул, затрепал знамя, заиграл золоченой кистью.

Медленно въехал на холм Лазарь, оглядел поле, прикрыв глаза от солнца ладонью. Раскинулось сербское войско по всему течению синего Лаба. Правым крылом уперлось в болотистый берег Ситпицы, левым — в самые горы. На правом крыле — все верные люди. Здесь могут прорваться турки. Слева, у гор, отряды союзников под начальством боснийского воеводы. Сербами здесь командует Бошкович Гргур. Лазарь привстал в стременах. Высоко вздымаются древки знамен с привязанными к ним конскими хвостами. До самого горизонта залита равнина врагами. И вся эта масса переливается, течет, вспыхивают шлемы на утреннем солнце.

Рев боя докатился к подножию Ветрника. Лазарь сжал коленями коня, полетел с холма в самую гущу сражения. За ним — знаменосец и вся свита. Сын Мурада Якуб, узколобий, приземистый, орудуя саблей, прокладывал себе путь в ту сторону, где металось сербское знамя. Туда! Там князь сербский. В этой битве Якуб должен показать отцу, на что он способен. Недаром отец послал войско Якуба сюда, в самую гущу боя.

Вот они сходятся грудь с грудью. Выбитая рукой князя, далеко отлетает кривая сабля Якуба. Если б не преданные беи, не вести бы ему сражения дальше. Пал конь, пронзенный стрелой, князь едва успел выдернуть ногу из стремени. Верные руки подвели другого коня.

— Эй, сербы! — закричал Лазарь, — юнаки! Пришел час показать нашу силу!

Под натиском сербов откатилась назад лавина врага. Бой кипит уже в воде, узкий брод тесен для сечи. Обмелела река — кони не топчут песчаное дно — ступают по трупам павших. Близок, близок уже левый берег! Конь захрапел, вынес князя на отмель.

— Слушайте, Милош и Иво. Кто старший в нашем союзе?

— Ты, побратим.

Ты, Милош.

— Значит, мое последнее слово. Возвращайтесь в войско. Для того, что я задумал, трех жизней не надо.

— Для того, что задумал ты, Милош, ста жизней не жалко! Весело вместе гулять, пропадать вместе тоже не скучно.— Топлица показал в улыбке белые зубы.

— Ну, что же,— Милош обнял товарищей.— Быть по-вашему. На одном стою твердо: в шатер войду один. Помолчи, Иво. Вы будете ждать меня где-нибудь неподалеку. Услышите шум — скачите скорее в лагерь. Я тоже живым не дамся. Надо, чтобы кто-нибудь принес нашим нужную весть...

Высокий шатер Мурада стоит в неглубокой ложине. Янычары¹ в ярких штанах и шелковых кафтанах с обоюдоострыми ятаганам², воины с обнаженными мечами, ряды конной стражи плотным кольцом окружают шатер. То и дело расступается стража, пропуская вестников с поля боя.

Задыхаясь, вошел в шатер гонец Якуба. Упал в ноги, поцеловал туфлю Мурада.— Половина людей перебита, о светлейший! Неверные теснят наше славное войско.

Кривым носком туфли Мурад ударил гонца в переносицу. Кровь закапала на шитую золотом туфлю.

¹ Янычары — гвардия султана.

² Ятаганы — кривые турецкие сабли.



Милош Обилич.
*Старинная
фреска.*

— Позор! — загремел голос султана. — Жалкая кучка неверных теснит слуг аллаха... Передай сыну Якубу — резерв готов вступить в бой.

Стоявший неподалеку везир Али-бей осмелился доложить: — О, великий! Перебежчик из сербского стана, воевода Милош Обилич с двумя воинами просит милости предстать пред твои светлые очи...

Султан поднял широкие брови, тень улыбки скользнула по его лицу: — Милош Обилич? Не тот ли, что бил тебя у Плочника, мой везир? Значит, плохи дела у Лазаря, если бегут от' него такие юнаки. Ветер сражения должен повернуть в нашу сторону... Ввести воеводу!

Милош вошел в шатер в сопровождении двух янычар. На нем был плащ, одетый поверх кольчуги, широкий пояс туго стягивал стройный стан. Смело вошел, поклонился Мураду.

— Дозволь, султан, служить тебе!

Серб-переводчик, согнувшись вдвое, залопотал что-то. Мурад улыбнулся, слегка качнул головой, невнятно ответил.

— Рад тебя видеть в своем войске, отважных! воин, — нараспев протянул переводчик. — Обижен мною не будешь. Немало

уже сербов под моими знаменами. Тому, кто хорошо мне служит, плачу щедро...— Мурад еще что-то сказал, и переводчик подхватил его слова на лету, как подачку:

— С помощью аллаха покорит Сербию наше войско — отдам тебе лучшие земли. Захочешь — будешь молиться своему богу, захочешь — примешь ислам.

Узкая туфля с загнутым носком высунулась из-под края синей парчовой одежды. Поцеловать туфлю султана — великая милость. Вот она близко, вышита золотым галуном, закапана свежей кровью... Трудно, ох, трудно юнаку склониться в поклоне, а надо. Рука под плащом ложится на пояс. А за поясом — острый клинок! Выхватил его Обилич и ударил Мурада. Раз и еще раз! Султан закричал, на мгновение смешалась стража. Милош вырвал из чьих-то рук саблю, ударил наотмашь. Сабля — могучая сила в руках юнака. Упал везир, сражена ближайшая стража... Клубок человеческих тел выкатился наружу.

— Держите! Султан умирает! Послать к Байзиду!

— Эй, к Лазарю, братья! Вы меня слышите? Живо!

Те, кому брошены эти слова, мигом срываются с места. При-

каз есть приказ — только дрогнуло сердце Косанчича: — Топлица, скачи, прикрываю тебя! — И вот они рубятся рядом — Иво и Милош Обилич. Вдвоем против сотни. Первым упал Косанчич. А Милош еще стоит, прислонившись к шатру, отбивает удары. Но сломалась сабля о чью-то кольчугу... скручены руки.

* *

— Царевич Баязид, надежда престола! Я привез тебе страшную весть. Враг смял наши войска. Турки бегут. Султан умирает от ран у себя в шатре.

Остро блеснули глаза Баязида. Решение было быстрым, как молния:

— Снять отсюда всех спахивей¹ и янычар, кроме двух передовых отрядов. Бросить их на левое крыло. Река здесь непроходима. Сербы не ударят нам в спину— Баязид вдруг обернулся, искал кого-то глазами. Подозвал низкорослого турка с лицом, рассеченным шрамом. Когда тот подсказал, Баязид шепнул ему несколько слов... Турок побледнел, опустил голову.

— Слышал приказ? — спросил Баязид грозно.

— Слышал, о повелитель!

На левом берегу Лаба, откуда начинали атаку отряды Якуба, кипит бой. Вытоптана трава на лугу, пыль оседает на свежие раны. Немного юнацких отрядов, но храбро бьются, турок теснят повсюду.

Лазарь второго гонца посылает к боснийскому воеводе. Но тот все медлит. Бой решается здесь, надо бить турок, не давать им передышки... Эх, где же ты, Милош?

Вдруг из толпы сражающихся вырвался Милан Топлица. Подскакал к князю, хотел что-то сказать, но не смог — начал сползать на землю. Несколько рук подхватили его. Лазарь увидел: торчит у юнака стрела под лопаткой.

— Князь, слушай, — прошептали синие губы с последним дыханием.— Милош убил Мурада. Там и Косанчич. Я вот пробился...

— Милош убил Мурада! — гремит надполем сражения. — Победа, братья!

Воинам будто кто-то прибавил силы. Дрогнули ряды вражьего войска. Турки бегут! Но сербов осталась едва половина. Тут все бы решили свежие силы. А помощи нет. Новых гонцов шлет Лазарь. Но босняки еще не сдвинулись с места. Стоят на левом крыле, в безопасности, и другие сербские воеводы, ждут, когда подаст знак к бою Бошкович Гргур, гадают — может, без них Лазарь добудет победу. А князь все еще ждет свежих отрядов, не теряет надежды на помощь. Но вот уже турецкие всадники справа и сзади юнаков: это вступили в бой войска Баязида.

¹ *Спахив* — конница, состоявшая из вассалов султана.

Первым заметил опасность Вук Бранкович, закричал, надрывая голос, повернул своих воинов к броду. Скорее, скорее, только бы укрыться за каменный Голеш! Никто из сербского войска не ушел на правый берег живым. Никто, кроме Вука с отрядом. Путь к броду отрезан. Янычары — пешие гвардейцы в легких одеждах — бросились на тяжелую конницу Лазаря, и пошли в ход ятаганы, подсекая сухожилия коней, убивая воинов.

Свежий резерв турок вступает в бой, сменив разбитое войско Якуба. Сам он, слабея от ран, еще продолжает сражаться. Но вот невысокий всадник с лицом, рассеченным шрамом, придержал коня, натянул тетиву. Пронзенный стрелой Якуб, раскинув руки, упал с седла. Минута — и десятки конских копыт втоптали в землю того, кто только что был соперником Баязида.

Новый султан — Баязид — выиграл битву. Брошенные своими братьями, прижатые к глубокой реке, исхлестанные железным дождем стрел, храбро умирают юнаки. Летят с берега в реку кони и люди, обломки мечей и рассеченные тела. Все принимает в себя глубокий Лаб, замутившийся кровью...

Тают ряды сербских воинов, будто воск на горячем солнце. Вот уже кучка осталась. Упал знаменосец. И нет никого, кто бы принял знамя. Рванулся к древку Лазарь, но тугая петля сдавила грудь, сорвала с коня.

Милош и Лазарь стоят перед казнью рядом. Головы их не покрыты, ремнями скручены руки. Умиравший Мурад пожелал увидеть их смерть.

— Нет уже славного войска, верный мой Милош,— говорит князь.— Нет государства, Сербия наша под турком.

— Дал бы народу оружие, князь, были бы мы с победой. А только народ — он остался живым. Долго будет терпеть, но придет день и час — и погонит незваного гостя...

Легче тем, кто убит наповал. Не тлеют над ними близкие звезды, не болят раны, не сохнут жаркие губы. Выпростать бы из-под коня затекшую руку... перевязать рану... испить бы водицы... Никого. Только бродят волки степные. Выбирают добычу.

Вот и рассвет над землей. Пала роса на горячие щеки. Запахло рекой, ветерком потянуло. Никого! Нет, идет полем девушка в белом платочке. Остановится, переложит юнаку затекшую руку, напоит водой, перетянет платочком рану. Солнце уже высоко, рукава тяжелеют от крови.

— Кого же ты ищешь, сестрица?

Девушка наклоняется низко, подносит к побелевшим губам тыкву с водой: — Ищу своих братьев — Обилича и Топлицу. И еще жениха — Косанчича Иво.

Ой, сестрица, Косовка-девица!
Видишь, копыа лежат боевые,
Где лежат они выше и гуще,
Там юнацкая кровь пролилася,
Там коню будет крови по стремя,
А юнаку по шелковый пояс!
Там погибли три славных юнака.

...И снова идет девушка полем. И вот уже она не одна. Тут и там замелькали платки, выходят женщины и дети — из окрестных селений простые люди. Плач стоит над широкой равниной...

Битва на Косовом поле запечатлелась в памяти народной. Веками создавались прекрасные песни о героическом сопротивлении сербского народа турецкому завоеванию. В них поется и о Милоше:

Жив он будет в песнях и сказаньях,
Сколько жить и Косову и людям.

Герои, прославленные в этих песнях, поныне служат примером героизма, а сами песни о Косовом поле стоят в ряду лучших произведений мировой литературы. На их основе и написан этот рассказ.

Сотни лет страдали южные славяне под игом турецких феодалов. Лишь в XIX веке Россия помогла народу Сербии добыть в бою независимость.

ЖАКЕРИЯ — ВОССТАНИЕ ФРАНЦУЗСКИХ КРЕСТЬЯН

Жакерия... С содроганием и страхом, с негодованием и яростью вспоминали о ней короли, владельцы поместий и замков, надменные епископы и аббаты — владыки богатых монастырей. Те же чувства пробуждались и у любого французского дворянина при мысли, что покладистый, многотерпеливый Жак-простак может оказывается, разогнуть спину, выпрямиться и могучей рукой занести дубину над головами господ.

Зато крестьянские парни с бьющимися сердцами расспрашивали стариков о грозном восстании. Еще недавно оно полыхало на обширном пространстве к северу от Парижа — в плодородной равнине Бовези, в прославленной ярмарками Шампани, в Пикардии и Вермандуа, а также в сердце страны, в древней колыбели Французского королевства — Иль-де-Франс.

«Жак-простак!» Называя так скромного труженика-земледелца, гордые сеньоры вкладывали в это прозвище безмерное пренебрежение к подневольному человеку. Они всегда испытывали неясный страх перед этим Жаком, который на самом-то деле вовсе не был простаком, легко поддающимся обману. Недаром такая злоба звучит в песнях французского поэта (трубадура) Бертрана де Борна¹, не стеснявшегося признать, что он наслаждается, видя убожество крестьянской жизни, лишения и обиды деревенского люда.

И голос де Борна не был единственным. «Ну-ка,— в тон ему писал другой дворянский поэт,— заставляйте их (крестьян) платить... забирайте их лошадей, уводите коров и телят... пригоняйте побольше, ничего не оставляйте им». Третий такой же служитель муз требовал: «Пусть они (крестьяне) едят чертополох, терновник, колючки и солому, и то по воскресеньям, а по будням старую гороховую ботву; пусть они вместе со скотом пасутся по пустошам».

Однако и тогда были люди, понимавшие, что соленый крестьянский пот и слезы полуголодных деревенских тружеников — источник безбедной жизни их господ. Об этом правдиво писал

¹ См: «Книга для чтения по истории средних веков», ч. 1, очерк «Средневековая деревня и замок».

французский поэт еще в XII веке: «Они влачат горькую жизнь, бедствуют, страдают, нищенствуют. Но поистине я не знаю, как могли бы другие существовать без них!»

А вот и голос самих крестьян, дошедший до нас через века в песне-стоне:

Мы, крестьяне — такие же люди, как и они,
У нас такие же руки и ноги, как у них,
И такое же большое тело.
Мы так же можем страдать, как они,
Набраться бы только мужества!
Сомкнем же теснее наши ряды...
Будем держаться вместе!

Собираясь в лесах, куда они убегали от гнета и нищеты, крестьяне скрепляли клятвами тайные союзы против своих угнетателей. Не раз на протяжении веков во Франции вспыхивали пожары крестьянских возмущений. Они полыхали то в Нормандии, то в Бретани. В середине XIII века, нарастая словно снежный ком, ринулась лавина восставших «пастушков» на поместья и замки. Она докатилась до самого Парижа, напугав короля и высшее духовенство... И, наконец, в 1358 году грянула Жакерия. На то были свои причины.

Почему король, его советники и сеньоры задумали превратить крепостных сервов в лично свободных вилланов?

«Одни из крестьян так подчинены своим сеньорам, что эти сеньоры могут распоряжаться всем их имуществом, имеют над ними право жизни и смерти, могут держать их в заключении по своей воле, за вину или без вины,— и никому за них не отвечают, кроме как одному богу»,— так писал юрист того времени Бомануар о сервах. (Сервами тогда было большинство крестьян.) Сер» считался полной собственностью сеньора, который был вправе в любое время обременить его хозяйство какими угодно поборами.

В XIV веке крестьяне все сильнее страдали от того, что сеньоры пытались любыми способами взять от них как можно больше денег. Рыцарям частенько приходилось наведываться в город, посещать рынки и ярмарки. Их пленяли там груды заманчивых товаров, разложенных на прилавках. Их глаза разгорались от пестрого зрелища: тут были не только мечи, изготовленные местными мастерами, но и заморские, из дамасской стали клинки, отделанные золотом или слоновой костью доспехи, пряности, ткани, драгоценности, золоченая посуда... Все это, конечно, можно было купить! А где взять деньги? Да с того же Жака-простака! Spина-то у него широкая, все выдержит — так говорили меж собой обитатели замков..

Весь вопрос заключался в том, как вытянуть из тощего крестьянского кошелька добавочные деньги на новые покупки.

Над этой задачей долго и упорно ломали головы алчные сеньоры и опытные королевские советники. Тогда-то и родился хитроумный замысел, который, как им казалось, должен был заставить крестьян вполне добровольно и даже охотно собрать и быстро выплатить своим сеньорам столько денег, сколько они никогда еще не платили.

Когда один знатный сеньор стал расспрашивать об этом замысле королевского советника, он услышал такие слова:

— Если личная крепостная зависимость превращает серва в собственность сеньора (с которой тот может поступать, как ему заблагорассудится), если, в силу этой зависимости, серв оказывается навсегда прикованным к месту, которое он не вправе покинуть, если так уж унижительно положение крепостного...-г тут советник остановился и, подняв кверху указательный палец, многозначительно спросил: — то что же из этого вытекает?.. А?

Тугодум-сеньор лишь недоуменно развел руками.

— Из этого с полной очевидностью вытекает,—назидательно пояснил советник,— что сервы, чтобы избавиться от своего унижительного положения, ничего не пожалеют, снимут с себя последнюю рубашку и внесут требуемый выкуп за свою свободу!..

— Все это хорошо,— усомнился сеньор, поначалу явно не разобравшись в красноречивых словах своего собеседника.— А не окажется ли так, что мои сервы, после того как они внесут выкуп и станут свободными, никогда больше не будут мне ничего платить?

Тут королевский советник, востроносый сухонький старичок, даже подпрыгнул на месте и, возмущаясь недогадливостью собеседника, с ожесточением хлопнул себя по бокам...

— Что вы, граф,— воскликнул он,— ведь вы за добрые деньги продадите мужикам только свободу. Это, конечно, даст им право уходить от вас на все четыре стороны, да уйти-то от кормилицы-земли некуда! А земля, она ведь по-прежнему останется вашей. Стало быть, /сервы после уплаты выкупа превратятся в лично свободных вилланов. Как и все прочие вилланы, они, сидя на вашей земле, будут за пользование ею платить оброк и нести барщину...

Весной 1315 года население французских деревень было взволновано ордонансом¹ короля Людовика X. Его именем герольды возвещали, что крестьяне могут освободиться от личной зависимости. Ордонанс начинался торжественными словами: «По некоторым обычаям, с незапамятных пор установленным и в нашем королевстве хранимым... множество нашего простого народа впало в крепостную зависимость и разные другие зависимые состояния,

¹ Ордонанс — указ.

что весьма нам не нравится... мы... повелели и повелеваем, чтобы повсюду в королевстве нашем, поскольку это в нашей власти, такие состояния несвободы были приведены к свободе».

Начало этого документа создавало обманчивое представление, будто король искренне сожалеет и скорбит, видя, что многие его подданные лишены свободы.

Казалось, будто король, побуждаемый голосом справедливости и чувством сострадания, стремится всех освободить от неволи. Но такое впечатление опровергалось последними строками ордонанса. Они раскрывали истинный смысл королевских намерений, показывая, что король заботился лишь о том, чтобы навязать крестьянам выкупные платежи за предоставляемую «свободу».

Вскоре за звучным ордонансом последовало и деловое распоряжение: Людовик X предписывал штрафовать тех крестьян, которые упорствовали в нежелании платить деньги.

— Нет, уж лучше нам оставаться под властью нашего господина, чем вносить столько денег за свободу. Да и где взять такую сумму? — рассуждал вслух крестьянин Рено из деревни Мюльсе.

— Надо продать зерно в городе, — сказала его жена.

— Конечно, это можно было бы сделать, но выручка будет слишком ничтожной. Ее не хватит даже для выкупа одного члена нашей семьи.

— Почему же, отец? — спросил у Рено его пятнадцатилетний сын.

— Потому, — отвечал Рено, — что наш долг и без того велик. Наш добрый граф отнял у нашей деревни луг и лес — все, чем мы еще пользовались совместно. Где пасти нашего быка? Где взять для него корма на зиму? А если у нас не будет быка, то как вспашем мы весной нашу землю?

— Это верно, — вторил Рено старый дед Жан, — семья растет, а земли у нас мало. Что же ты соберешь со своего небольшого надела, если, лишившись быка, не пропадешь как следует землю?

Невеселый семейный совет, повторившийся в тот вечер, Рено на этот раз закончил мрачными, но решительными словами:

— Пусть уж все остается по-старому. Свобода, которую нам продает наш сеньор, не для нас!

— И в самом деле. Давно ли за свое освобождение заплатил большой выкуп Пьер Жермон из нашей деревни, — говорил вечером тот же Рено соседу, — а уж и вовсе выбился из сил. Сыновья его даже ходят на заработки в монастырь — там большие виноградники. Жена и дочь с утра до ночи гнут спину на пашне и в



Французский крестьянин с плугом.



Филипп Валуа в воинском снаряжении.

Чего стоила их призрачная свобода, если пользование господской землей означало все те же барщины и оброки... Обманутая и отныне ограбленная деревня бедствовала и негодовала!

Бедствия Столетней войны

XIV век принес деревне не только эти бедствия. По Франции прошла чума, прозванная «черной смертью». Ютившиеся в грязных хижинах деревенские жители Франции заплатили ей страшную дань множеством человеческих жизней.

Но еще более губительными оказались последствия Столетней войны. Так стали называть войну между Англией и Францией, начавшуюся в 1337 году и длившуюся до 1453 года. Эта война принесла Франции лишь непрерывные поражения, голод и разруху. Войска англичан и французов топтали поля, сжигали хлеб на корню и в скирдах, уничтожали запасы.

«Виноградники не возделывались; поля не обсеменялись и не вспахивались; быки и овцы не ходили по пастбищам; церкви и дома носили следы всепожирающего пламени и представляли собой груды печальных, дымящихся развалин. Глаз не услаждался, как прежде, видом зеленых лугов и желтеющих нив, но наталкивался всюду на сорные травы...» — в таких печальных словах монах-летописец, современник событий Жан де Венетт изобразил гнетущую картину всеобщего запустения, которую являла собой Северная Франция к концу второго десятилетия Столетней войны.

А между тем король вводил все новые и новые денежные поборы: война требовала денег!

Горечью переполнились все сердца после беспримерного разгрома французских королевских войск в 1356 году. Это случилось при Пуатье, в том самом месте, где за шесть столетий до того

огороде, урожай с которых почти целиком везут на рынок, чтобы выручить деньги. Видно, нет крестьянам радости от королевской свободы — каждый грош отдают они в счет выкупа...

Слово «свобода», неожиданно прозвучавшее в королевском указе 1315 г., взволновало тысячи крестьян. Но вскоре они почувствовали себя обманутыми. Горше всего пришлось тем, кто ценою жестоких лишений и крайнего напряжения сил кое-как собрал деньги и внес требуемый выкуп. Они стали лично свободными вилланами. Но их земля по-прежнему принадлежала сеньору.

был навсегда остановлен франками грозный натиск арабов-завоевателей.

Теперь на том же поле король Франции Иоанн II Добрый, а с ним и цвет французского рыцарства были постыдно окружены и взяты в плен англичанами. После Пуатье простой народ увидел, что все его лишения, все жертвы, понесенные ради защиты страны, были напрасны.

Неизбежным спутником Столетней войны стал разбой, принявший во Франции широкий размах. По обычаям того времени, наемные солдаты, составлявшие немалую силу как в английском, так и во французском войске, не получали жалованья во время перемирий и в промежутках между походами. Соединяясь в большие отряды, такие наемники разбойничали, захватывали замки и укрепления.

Крестьянин был беззащитной жертвой как вражеских, так и французских вооруженных банд. В народе их называли бригандами.

Бриганды жестоко истязали крестьян. Они жгли деревни, пытали жителей — били их кнутом, отрубали им руки, ноги, выкалывали глаза, бросали в подземелье, требуя выкупа. Бриганды лишали крестьян крова, превращая их в бездомных нищих.

Вскоре англичане выпустили из плена многих французских рыцарей, взяв с них слово, что они заплатят за свое освобождение большой выкуп. Эти дворяне, возвратившись в свои поместья, дожимали крестьян всевозможными поборами. Иногда они объединялись с бригандами, потворствовали им и получали за это часть их разбойничьей добычи. Не раз дворяне вместе с бригандами грабили своих крестьян до нитки, превращали деревни в сплошные развалины. Все это переполняло чашу народного терпения.

Народ о своих врагах

В то время ходила в народе басня о волке и собаке.

«Была некогда,— говорили деревенские люди,— очень сильная собака, к которой её господин питал полное доверие и поручил ей охранять стадо овец от волка. Со временем волк сделался близким другом собаки, которая позволяла ему безнаказанно уносить овец, делая вид, будто преследует его и хочет отнять овцу. Когда же волк и собака оставались один на один вблизи леса и вдали от глаз пастуха, они вместе лакомились овцой...

Такая уловка повторялась часто, пока, наконец, эта проклятая собака вместе с волком не покрала... всех овец своего господина»...

Под волком, конечно, подразумевались чужеземцы — англичане и бриганды, под овцами разумелись сами многострадальные крестьяне, а собака олицетворяла французских феодалов.

Как возникла басня о собаке-предательнице?

Безымянными авторами этой замечательной басни были простые крестьяне. Неграмотность не мешала им быть наблюдательными и суровыми обличителями тех, кто был виновен в страданиях Франции.

Здравый смысл народа с поразительной ясностью проявился в этой умной басне. Монахи и священники всегда уверяли скромных земледельцев в том, что король отечески печется о них, духовенство молится за весь народ, дворянство обороняет всех вооруженной рукой. Простой же народ обязан трудом своим обеспечивать как тех, кто защищает его с мечом в руке, так и тех, кто заступает за него перед богом. Трагедия Столетней войны показала, что кичливые дворяне меньше всего думали о Франции, а тем более о своих крестьянах, которых они сами нередко грабили совместно с бригадами.

Негодование, вызванное пережитыми невзгодами, чувство скорби за Францию, поверженную и залитую кровью, воедино сливались в сознании крестьян.

Народ верно оценил обстановку. Если деревенские люди и прежде ненавидели сеньоров и дворян, то отныне к прежней ненависти присоединилось справедливое возмущение их предательством.

После двадцати лет бесславных поражений, после позора Пуатье, дворяне продолжали грабить беззащитные деревни, все еще оправдывая подобные действия лживыми словами о защите страны, о необходимости собрать средства для продолжения войны и для выкупа короля из плена.

Но в крестьянских сердцах зрела решимость подняться, наконец, против своих тиранов. Началом этой борьбы стали совместные выступления нескольких деревень против ненавистных бригадов.

Восстание парижан

Война нанесла сильнейший урон городам Северной Франции, и особенно Парижу. Военные действия и грабежи подорвали торговлю. Непомерные налоги разоряли столичных ремесленников и бедноту. Роптали и богачи, недовольные застоєм в торговых делах.

Многие мастера были вынуждены закрыть свои мастерские и рассчитать подмастерьев. Между тем под прикрытие городских стен Парижа со всех сторон бежали люди, гонимые бесчинствами англичан и бригадов. Город переполнялся бездомными и нищими, искавшими работы. Для новоприбывших зачастую не оказывалось ни жилья, ни работы, ни пропитания. Полуголодные, они коротали дни на узких, грязных улицах, спали на берегах Сены, питались отбросами и погибали, сраженные голодом и болезнями.

После пленения короля регентом (временным правителем королевства) считался его 18-летний сын и престолонаследник — дофин¹ Карл. Чтобы раздобыть средства для выкупа отца, он приказал чеканить неполноценные монеты. Это вызвало немедленное вздорожание продуктов, которых с каждым днем становилось все меньше.

В эти тревожные дни доверием недовольных завладел Этьен Марсель. Был он богатым торговцем и старшиной парижских купцов, да к тому же нес обязанности прево².

Этьен Марсель был не только богатым, но честолюбивым и хитрым человеком. После злополучной битвы при Пуатье он пустил в ход свои ораторские способности, свое влияние и деньги. Ему удалось завоевать симпатии ремесленников и мелкого люда обещанием снизить им налоги, покончить со своеволием дворян и навести порядок в делах управления государством.

Все это позволило Марселю стать признанным вождем парижан. Под его руководством началось укрепление столицы.

В октябре 1356 года в Париже были созданы Генеральные штаты³. Перед штатами в тревожную для страны минуту сразу же встали неотложные вопросы. Дворянские представители находились в подавленном состоянии, переживая поражение при Пуатье. Да их и было немного. Горожане составляли большинство. Молодому регенту, дофину Карлу пришлось обратиться к Генеральным штатам за разрешением ввести новые налоги.

Штаты предъявляли ему встречные требования: лишить должностей тех королевских чиновников, которых они назовут, заключить их в тюрьму и конфисковать принадлежащее им имущество. Кроме того, штаты потребовали от Карла, чтобы он отныне правил при помощи советников, которых они ему назначат из всех трех сословий, с тем, чтобы эти советники не только контролировали короля, но и могли бы «распоряжаться в королевстве так же, как и король».

Юный дофин после долгих колебаний отказался выполнить эти требования и распустил Генеральные штаты. Тогда парижане стали вооружаться. Зимой в Париже начались волнения. Видя, что положение безвыходно, Карл в феврале 1357 года вынужден был снова созвать штаты. И при новом созыве преобладали депутаты от горожан. Решив взять власть в свои руки, они добились издания «Великого мартовского ордонанса». Ордонанс провозглашал, что отныне штаты могут собираться без приглашения короля и решать все вопросы государственного управления. Они вправе назначать,

¹ Дофин (франц.) — наследник престола, сын короля.

² Прево — королевский чиновник, который ведал рынками, мерами, весами, причалами и мостами; ему подчинялась городская полиция, он же определял размер налогов.

³ Так назывались съезды представителей от трех сословий, собиравшиеся с начала XIV столетия.



Французские горожане. XIV век.

отстранять и наказывать чиновников. Была создана особая комиссия, которой поручили пресекать все злоупотребления чиновников, карать их штрафом, тюрьмой и даже предавать смерти.

Генеральные штаты соглашались предоставить дофину нужную ему субсидию (денежную помощь) лишь после того, как он примет предложенную ими реформу управления. Это означало, что регенту, по сути дела, предстояло подчиняться Генеральным штатам.

Казалось, Этьен Марсель добился своей цели. Но в недавно еще едином лагере парижан стал намечаться раскол. Налог, разрешенный штатами, был распределен неравномерно. Главная его тяжесть падала на малоимущие слои, а также на жителей других городов Северной Франции. Мастерские столицы убеждались, что Этьен Марсель вершит все дела лишь в интересах богачей. Парижское купечество почти ничего не вносило в казну. Такая несправедливость создала глубокую трещину и во взаимоотношениях столицы с прочими городами.

Налоги поступали плохо. Уже летом 1357 года члены комиссии, как говорит хроника, «стали терять свое влияние и могущество их уменьшилось», ибо «многие добрые города... не хотели платить». А. вскоре «дофин сказал купеческому старшине... что впредь он желает править сам и не хочет более опекунов». Иначе говоря, регент и его окружение решили больше не считаться с Генеральными штатами. Наперекор им они принялись возвращать на прежние должности чиновников, ранее отстраненных комиссией штатов.

К тому времени из тюрьмы был освобожден Карл Злой, король Наваррский. Этот честолюбивый и коварный феодал приходился внуком Людовику X и сам стремился стать королем Франции. Много лет он находился во вражде с домом Валуа. Карл Злой выступил против дофина Карла. За ним пошла часть дворян, недовольных политикой Валуа. Нашлись его сторонники и среди горожан. Искусный политик и красноречивый оратор, он, прибыв в Париж, привлек на свою сторону многих жителей. На помощь к Карлу Злому спешили отряды наваррцев, которых вел к Парижу его брат.

Этьен Марсель вступил в переговоры с Карлом Злым. Богатые горожане рассчитывали свергнуть династию Валуа и возвести на престол Франции нового государя. Они надеялись, что Карл Злой будет «хорошим королем», умеющим ладить с Генеральными штатами.

Париж поднимается против дофина

Стало известно, что дофин собрал недалеко от Парижа верных ему дворян. Это побудило Этьена Марселя обвинить дофина в предательстве, и 22 февраля 1358 года утром он велел всем парижским ремесленникам собраться вооруженными на площади у дворца. Их собралось около 3000 человек.

Парижане ворвались во дворец и по приказу Этьена Марселя на глазах у дофина убили двух виднейших королевских советников — маршалов Шампани и Нормандии. Все считали их виновными в позорных военных неудачах Франции.

Дофин, чрезвычайно испуганный всем, что он увидел, просил купеческого старшину спасти его... Тот сказал ему: «Монсеньер, вам нечего бояться»,— и надел на него свою шляпу с цветами города Парижа — красным и синим.

Трепеща от страха, дофин вышел с Этьеном Марселем на балкон, и народ, видя на голове Карла шляпу, украшенную цветами Парижа, поверил, будто он заодно с парижанами.

Вскоре дофин бежал из Парижа.

В апреле — мае 1358 года войска Карла заняли важнейшие укрепленные пункты на подступах к столице. Дофин решил взять мятежный Париж измором. Все пути к столице были перекрыты, и подвоз продовольствия в город оказался прерванным. Области, прилегающие к столице—Иль-де-Франс и Бовэзи, были заняты войсками дофина Карла. Он приказал сеньорам укреплять свои замки, и они сгоняли для таких работ крестьян.

Измощенные лица крестьян выражали озлобление. Давно ли заставляли их чинить мосты? Теперь опять согнали на восстановление крепостных стен, да еще в такое время, когда нужно было пахать и сеять. Мало того, солдаты, размещавшиеся в этих замках, по приказу своих «капитанов», без зазрения совести грабили соседние деревушки. У крестьян забирали зерно, скот, рыбу, муку, сено.

Тогда-то и произошел случай, переполнивший чашу терпения крестьян и вызвавший восстание.

О Жакерии рассказывают враги и друзья

Но пусть расскажут о событиях их свидетели и участники. Перед нами «Большие французские хроники», составленные при королевском дворе. С 1350 года их вел королевский канцлер¹, чье поместье разрушили повстанцы. Вот что он пишет: «...В понедельник 28 мая [1358 года] взбунтовались людишки в Бовэзи... и устроили сборище для злого дела. И напали на многих дворян...

¹ *Канцлер* — должностное лицо, ведавшее канцелярией королевства, всей его перепиской, составлением государственных актов и распоряжений.

и девятерых из них умертвили — четырех рыцарей и пять оруженосцев... Движимые злобой, каждодневно умножаясь в количестве, убивали всех знатных мужчин и женщин... И разрушали или сжигали все дома дворян, которые им попадались...»

А вот другая хроника. Ее автор — знаменитый «певец рыцарства» Фруассар. С нескрываемой ненавистью и презрением описывает он, как «эти злодеи», «черные, низкорослые и плохо вооруженные», «собравшись без вождя... громили и сжигали все на своем пути, убивали всех дворян, которых встречали... Кто больше всех творил насилий и мерзостей, о которых и помышлять-то не следовало.., те пользовались среди них наибольшим почетом и были у них самыми важными господами...»

Но до нас дошли и другие повествования. Наиболее интересное из них — хроника, написанная монахом, бывшим крестьянином. Имя его — Жан де Венетт. «Что сказать мне? — пишет Жан де Венетт.— Самая отчаянная нужда царила повсюду, особенно среди крестьян. Сеньоры переполняли чашу страдания, отнимая у них имущество и их бедную жизнь. И вот в то время приключилось неслыханное происшествие. Именно летом 1358 года проживавшие в Бовзи крестьяне, видя бедствия и утеснения, которые со всех сторон им учиняли, с оружием в руках поднялись против французской знати...»

Две совершенно разные оценки одних и тех же событий. Что же произошло в действительности? Попробуем разобраться, сравнивая разные источники. Тут и крестьянские жалобы, и листы судебных исков, и королевские грамоты, и снова хроники — рассказы многих очевидцев восстания французских крестьян.

Восстание разгорается

В день, названный автором «Больших французских хроник», крестьяне деревни Сен Ле д'Эссеран взяли за оружие. В эту деревню нагрянула одна из солдатских банд, собранных под знаменем дофина. Она, по обыкновению, принялась отбирать у жителей припасы и всякое добро. Крестьяне решили дать им отпор.

На помощь землепашцам из Сен Ле д'Эссераи поспешили жители соседних деревень. Опасаясь мести дворян, они перешли в наступление, призвав всех присоединиться к ним для борьбы с ненавистными феодалами.

Крестьяне из Сен Ле направились в ближайшие деревни, а в дальние разослали гонцов. Везде зазвучали речи о том, что знать ничего не делает, а только утесняет земледельцев, живет за их счет, что пора покончить с этим и совсем уничтожить повинности. Многие призывали отомстить господам, которые унижали и оскорбляли сервов и вилланов. Долготерпению крестьян пришел конец.

Вначале восставших было немного. Они «собрались и пошли в беспорядке, не имея никакого оружия, кроме палок с железными наконечниками и ножей». Но вскоре их стало около 6 тысяч. Восстание расширялось. Начавшись в Бовэзи, оно перекинулось на Иль-де-Франс, Пикардию, Шампань и другие области.

Прошло немного времени — и возмущение разлилось по многим областям Северной Франции. Всюду горели замки сеньоров, летели в огонь документы, в которых были записаны повинности. Крестьяне рвали пергаментные листы на части, а потом предавали пламени. Не щадили восставшие и богатые монастырские обители: тунейдцам-монахам пришлось искать спасения за городскими стенами. Крестьяне воспользовались и хлебными запасами монастырских амбаров и добрыми конями, что стояли в монастырских конюшнях.

Сразу же после начала восстания крестьяне избрали себе вождя. Это был Гильом Каль (Шарль). «Жаки сделали его своим генеральным капитаном, а его помощником поставили одного рыцаря, бывшего госпитальера, видевшего войну».

Хроника говорит, что и «Гильом Шарль видел войну». «Капитан жаков был воин статного телосложения и красивый лицом», Он неплохо знал военное дело и умел трогать живым словом крестьянские сердца. Гильом завел печать, издавал приказы, писал грамоты. По его почину крестьяне, неопытные в военном деле, стали насильно вербовать в свои ряды рыцарей, давая им звание «капитанов». Впоследствии некоторые из этих «капитанов» молили короля их помиловать, говоря, что были вынуждены командовать под угрозой смерти.

Дворян Северной Франции объял страх. Многие с приближением Жака-простака спасались бегством. Это прозвище, до сих пор произносившееся с презрением, теперь вызывало ужас. «Рыцари, дамы, оруженосцы и их жены бежали.., унося на шее детей на 10 или 20 миль дальше, туда, где они могли считать себя в безопасности, а жилище и имущество свое оставляли на произвол судьбы».

Пламя восстания пылало не только в деревнях и поместьях. Возбуждение передалось и в города. «Мало было городов,— читаем мы в «Больших французских хрониках»,— которые не поднялись бы против дворян». Кое-где городская беднота создавала свои отряды, которые выступали навстречу крестьянам и соединялись с ними. «В городах и местечках, по которым они проходили, жители их, как мужчины, так и женщины, ставили на улицу столы и угощали жаков». Конечно, на сторону жаков прежде всего становилась ремесленная беднота. Богачи, боясь за свою жизнь и имущество, встречали их настороженно и враждебно.

В городе Амьене произошел такой случай. На помощь жакам ушло свыше сотни горожан. Богатые жители страшились совместных действий бедноты и жаков. Зная, что восставшие уничтожают

дворянские замки и отбирают у феодалов богатства, они стали опасаться, что городская беднота, увлеченная примером крестьян, также посягнет на дома и богатства купцов и именитых мастеров. Богачи выслали особый отряд, чтобы вернуть амьенцев, ушедших к жакам. Тем временем амьенские бедняки совместно с Жаками активно участвовали в разгроме одного замка. Отряду, посланному богачами, пришлось вступить в бой с амьенской беднотой, которая в этом столкновении потерпела поражение. Многие амьенцы, вставшие на сторону крестьян, по приказу мэра были казнены, а город Амьен отказался помогать жакам.

Наглухо закрыли городские ворота при приближении жаков и богачи города Санлй. Однако тамошняя беднота толпой устремилась из города и помогла жакам разрушить несколько окрестных замков. В нормандском городе Кайене появился сторонник крестьян, который прикрепил к своей шляпе маленькую деревянную соху и смело призывал своих сограждан примкнуть к восставшим. Но недолго звучали эти речи... Вскоре труп смельчака был найден возле рынка — с кинжалом в груди. Богатые люди поспешили убрать опасного для них человека.

Жаки так и не нашли надежной опоры в городах. Городские власти действовали очень осторожно, хотя и были не прочь использовать восставших крестьян для своих целей.

Отсутствие поддержки со стороны горожан ослабляло крестьян. Гильом Каль, человек умный и проницательный, видел, что его армия недисциплинированна, плохо вооружена, что успехи первых дней отчасти объясняются внезапностью крестьянского возмущения, растерянностью дворянства, застигнутого врасплох и к тому же подавленного военными неудачами. Каль понимал, что плохо вооруженным хлебопашцам, не имевшим никакого понятия о военном деле, очень трудно одержать победу над рыцарями. И он видел выход в том, чтобы прочно связать крестьянское восстание с восстанием парижан.

Тем временем из Парижа на помощь Гильому был послан отряд в 300 человек под руководством старшины парижских монетчиков Жана Вальяна. Этьен Марсель просил жаков «разрушить и сравнять с землей все крепости и замки, опасные для города Парижа». То были укрепления между реками Сеной и Уазой, мешавшие подвозу продовольствия к столице.

Жаки с готовностью откликнулись на эту просьбу. Под руководством парижан в междуречье Сены и Уазы они разгромили все, что могло служить врагу.

Обеспечив Парижу благодаря содействию крестьян подвоз продовольствия, сам Этьен Марсель не предпринял ни одного шага, который помог бы крестьянам или облегчил бы их положение.

В то время как крестьяне овладели крепостью Эрменонвиль, в их лагерь прибыл гонец. Он сообщил, что против жаков идет дворянское войско; ведет его Карл Злой.

После первых недель испуга и растерянности дворяне начали собирать силы и готовиться к подавлению жаков. При этом французские дворяне объединились и с английскими рыцарями, сторонниками дофина, и с наваррцами Карла Злого. Перед лицом общего врага — жаков — бывшие распри были отброшены и забыты. В час тревоги взоры дворян обратились к опытному полководцу и политику — Карлу Злому. Вот что писал ему один дворянин: «Сир, вы первый дворянин в мире, не потерпите же, чтобы дворянство погибло! Ведь если эти люди, именующие себя Жаками, продержатся долго, а добрые города им помогут, дворянство ими будет уничтожено». Читая эти строки, мы словно слышим отзвук страха, смертельную тревогу, овладевшую дворянами.

Взяв с дворян клятву, «что в его делах они не будут ему перечить», Карл Злой выступил против жаков во главе отряда в 400 человек — рыцарей и английских наемников. Об этом и сообщил жакам гонец, прискакавший в Эрменонвиль. Вскоре они своими глазами увидели дворянское войско. Наступил решающий час.

В минуту опасности жаков покинул отряд парижан, отступивший в город Мо, что на правом берегу реки Марны.

Главные силы во главе с Гильомом Калем были тем самым не только ослаблены. Предоставленные самим себе, они оказались лицом к лицу с успешным оправиться сильным и опытным противником.

Но Гильом Каль все еще продолжал рассчитывать на помощь парижан. Из Эрменонвиля он повел восставших в деревню Мело, где стояли главные силы повстанцев. Здесь Гильом Каль держал речь к крестьянам.

«Вы знаете,—сказал вождь жаков,—что дворяне идут на нас, а они — люди сильные и опытные в военном деле. Если вы мне доверяете, пойдемте к Парижу. Там займем какое-нибудь укрепленное место и будем тогда иметь от горожан поддержку и помощь». Но крестьяне отклонили предложение своего капитана. Воодушевленные своими первоначальными успехами, они думали, что и сами достаточно сильны, чтобы разбить дворян. И так велика была их уверенность в своей правоте и силе, что Каль не смог их разубедить.

Поневоле оставшись на месте и готовясь к натиску сильной рыцарской конницы, Каль соорудил большое кольцо из повозок и вместе с помощником-госпитальером разбил своих людей на два отряда по полторы тысячи человек в каждом. Тех, у кого имелись луки и арбалеты, он выставил вперед. Люди, не имевшие ничего, кроме топоров, были оставлены в середине замкнутого кольца. Особо был выделен отряд конницы.

Карл Злой, подойдя к Мело, располагал отрядом в 1000 человек. Увидев укрепленный лагерь жаков, стройный боевой порядок, заслышав звук трубы, доносившийся из лагеря, Карл Злой

пришел в смущение. До этой минуты он не сомневался, что сумеет разбить жаков. Но теперь, рассматривая издали кольцевое укрепление из повозок, он убеждался, что его нельзя атаковать, не понеся больших потерь.

И вот из рядов рыцарей вышли вперед трое. Один из них высоко поднимал белый флаг в знак мирных намерений. Подошедшие парламентары просили самого Гильома Каля явиться для переговоров к их предводителю. Доверчивый вождь жаков, не заподозрив вероломства и даже не обеспечив свою безопасность заложниками, пошел в лагерь коварного наваррца. Здесь глава крестьянского войска был вероломно схвачен, и тотчас Роберт Сэркот, начальник английских наемников, ударил с фланга на крестьян, не ожидавших предательского нападения и застигнутых врасплох, и разбил их. Так 10 июня 1358 года при Мело, в долине Уазы, дворяне силой и коварством одолели главные отряды восставших крестьян.

Дворяне, захватившие Гильома Каля, хотели не только убить его, но и надругаться над крестьянским полководцем. На его голову был надет докрасна раскаленный перевернутый вверх ножками железный треножник. Окружившие Каля дворяне глумились над ним и кричали: «Вот как мы коронуем крестьянского короля!» Затем последовала свирепая расправа над Жаками. Рыцари мстили за недавно пережитый страх, беспощадно убивая уцелевших. Хроника говорит, что до 24 июня было уничтожено 20 тысяч крестьян. Не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей. В районе недавнего восстания сжигались целые деревни. На укрывшихся в лесу крестьян устраивались облавы с собаками, как на диких зверей.

За поражением крестьян последовал и разгром парижского восстания. Недавние сторонники отвернулись от Этьена Марселя. Парижане возмущались тем, что он открыл ворота города союзнику англичан Карлу Злому. В конце июня 1358 года купеческий старшина был убит одним из своих прежних приверженцев.

Никогда крестьянское восстание не достигало такого размаха, как во время Жакерии, о которой не могли забыть ни угнетенные, ни угнетатели.

Стихийно развернувшись, Жакерия охватила сотни разобщенных деревень, вовлекла в борьбу множество почти безоружных, не обученных военному делу крестьянских отрядов.

Подсказанная справедливым возмущением решимость «истребить всех до одного сеньоров» не могла заменить такой программы, которая ясно освещала бы путь борьбы крестьян за свое освобождение.

Но главной бедой поднявшегося крестьянства было то, что в войне с хорошо вооруженным, имевшим боевой опыт дворянством оно оказалось лишенным союзников.

В ту пору верховодившие во французских городах богачи еще не представляли собой антифеодальной силы. Лишь четырьмя столетиями позднее французская буржуазия увидела в феодализме своего смертельного врага и во имя победы над ним повела за собою крестьянство...

Этьен Марсель и люди его круга вели с феодалами выгодную торговлю, ладили с ними и не осуждали феодальных порядков, так как оберегали свои собственные привилегии в городах, которыми управляли. Самостоятельное крестьянское движение внушало им страх и казалось опасным,— ведь крестьяне оказывали влияние на городскую бедноту.

Этьен Марсель был не прочь использовать помощь жаков в своих целях, но вовсе не хотел объединяться с ними и оказывать им серьезную поддержку. Его посланец в крестьянском лагере Жан Вальян всячески старался удержать карающую руку крестьянского возмездия, спасая дворян от гнева жаков.

Когда после разгрома Жакерии дворяне залили кровью невинных жертв беззащитные деревни, растерявшийся купеческий старшина горько сетовал по этому поводу, но его же рукой написаны строки, в которых он просит не относить ни его, ни его друзей к «подлым» (то есть презренным) людям, так как последние живут не в городах, а в деревнях.

Городские богачи XIV века, как видим, еще не были грозной для феодалов силой позднейшего времени. Бедный люд тогдашних городов: подмастерья, строители, грузчики, извозчики, неполноправные и подавленные засильем городских верхов, горячо сочувствовали повстанцам, но они были совсем не похожи на позднейший сплоченный организованный пролетариат, знавший, за что ему надо бороться, и понявший, как это следует делать.

Жаки потерпели поражение. Но восстание не прошло бесследно.

ЖАННА Д АРК — ГЕРОИНЯ ФРАНЦУЗСКОГО НАРОДА

Призвание

По дороге в Вокулер шли двое спутников. Старший — по виду крестьянин — нес на плече палку с котомкой.

Рядом с ним уверенно шагала рослая девушка лет семнадцати, одетая в заплатанное красное платье. Путники оставили позади уже не один десяток лье. Они проходили по унылой местности, опустошенной войной. С полей доносился запах гари. В деревнях среди пепелищ одиноко торчали обугленные печные трубы. Иногда навстречу попадались пьяные бургундские солдаты, копьями подгонявшие пленников со связанными руками.

— Дядюшка Дюран,—взволнованно обратилась девушка к своему спутнику после одной из таких встреч,— до каких пор эти люди будут разбойничать на нашей земле?

— Англичане и их союзники бургундцы заняли Париж. Ты ведь знаешь об этом, Жанна. Они осадили Орлеан. Скоро, наверное, возьмут и его. Тогда вся Франция будет в их руках...

— Им не погубить нашу прекрасную Францию! Жалость к ней кусает меня за сердце, как змея. Но я твердо знаю, что все англичане будут изгнаны с французской земли, кроме тех, кто найдет на ней смерть!

— Я тоже так думаю, Жанна. Говорят, в Нормандии поднялись все крестьяне. Они, как могут, вредят англичанам: нападают на обозы, уничтожают их гарнизоны. Если б только дофин дал оружие всем, кто хочет сражаться! Но что может поделывать наш дофин, коли он даже не законный король Франции...

Дофин... Острая жалость охватывала девушку при его имени. Она вспомнила бегство своей семьи по дорогам войны в Невшатель. Не раз родные рассказывали ей, как в ту пору на городской площади королевский глашатай объявил народу:

— Послушайте, люди! Наш король Карл VI признал своим наследником английского короля Генриха V...

В толпе недоуменно пожимали плечами:

— Кто же теперь будет нами править?

— Покуда — наш король. Да ведь он, поговаривают, безумен. И то правда: лишить престола родного сына! А королева Изабелла хороша: сговорила с англичанами — предала Францию!

— Вот они-то и заставили нашего короля подписать с ними мир в Труа. По этому миру получается, что если король, не дай бог, умрет, то корона перейдет к годонам¹.

Позор! Что станет тогда с нашей доброй Францией? — сокрушался пожилой купец.

Большинство людей на площади угрюмо и настороженно молчали...

Жанна слышала от дядюшки Дюрана, что король умер вскоре после мира в Труа. Родина потеряла независимость.

Дофин жил теперь, покинутый соратниками своего отца, то в небольшом городке Бурж, то в замке Шинон. Эта часть Франции была еще свободна от англичан.

Болезненный и безвольный, неспособный защитить страну, дофин утешался в своих невзгодах охотой и пирами.

К нему-то и решила прийти на помощь девушка по имени Жанна д'Арк. Дофин представлялся ей бедным принцем из детской сказки, которого выгнала злая мачеха из родного дома. Рассказывали, будто принц этот встретил девушку, и она спасла его от неминуемой гибели. «Как знать,— мечтала Жанна,— может быть, именно мне суждено спасти дофина Карла, покинутого его родителями?»

— Дядюшка Дюран, как ты думаешь, если я сумею убедить господина капитана дать мне вооруженных людей и приду с ними к дофину, поверит он мне?

— Все это пустое, Жанна...

— А ты слышал, что говорят в народе: Францию погубила женщина — изменница королева Изабелла, а спасет девушка.

— Как не слышать: все только и толкуют об этом. Передавали мне (он понизил голос, хотя никого не было вокруг), будто девушка та родом из Лотарингии.

Жанна вспыхнула. Ее затаенная мечта находила подтверждение в народной молве: ведь и она родилась на границе Лотарин-



Жанна д' Арк. Скульптура.

¹ Годоны (франц.) — презрительная кличка англичан.

гии и Шампани, в деревне Домреми. «А что если и вправду это мое призвание? Я должна спешить на помощь родине и дофину! Став королем Франции, он прогонит англичан,—думала Жанна.— Я буду около него в назначенный час, хотя бы мне пришлось для этого изранить свои ноги до колен!»

Эта мысль придавала Жанне силы, помогала преодолевать нелегкий путь. Не раз ей приходилось просить у прохожих кусок хлеба. При этом она думала: «Не стыдно получать милостыню, не стыдно и давать ее во имя любви к богу и людям».

Девушка была набожной, как большинство людей того времени. Она родилась между 1410—1412 годами в крестьянской семье. С детства Жанна жила в тревожной обстановке войны. По ночам просыпалась от звуков набата, криков и плача женщин. Неделями полыхало зарево пожаров и черный дым застилал горизонт.

Когда ей было 13 лет, на ее родную деревню напала шайка бургундцев. Крестьяне сражались самодельным оружием, кольями, вилами, топорами. После неравной схватки грабители угнали весь скот, унесли с собой крестьянское добро, одежду и продовольствие.

Жалость и возмущение Жанны становились все настойчивее и мучительнее. Она любила мечтать о подвигах, забравшись на вышку старой, заброшенной островной крепости. В долгие вечера, сидя за прялкой, она прислушивалась к простодушным рассказам матери о чудесных деяниях мучеников и мучениц за веру и счастье людей. Изображения этих святых она видела в своей деревенской церкви. Часто на опушке леса, где она пасла овец, перед ней вставали неясные образы святых и будто бы слышались их голоса. Теперь ей стало казаться, что голоса эти призывают ее совершить патриотический подвиг — спасти Францию от нашествия англичан.

На самом деле это был ее внутренний голос, призывавший к действию,— голос ее совести, зов ее народа. Религиозная девушка приняла его за голос бога.

Жанна не раз слышала, что крестьяне храбро дерутся в партизанских отрядах. Среди имен их предводителей называли и имя отважной женщины — Агнесы.

Когда в Домреми дошла весть об осаде Орлеана, Жанна окончательно решила участвовать в войне. Не простясь с родными, покинула она свою деревню. И вот она в пути вместе со своим провожатым — дядей Дюраном.

Смело предстала девушка перед Робером де Бодрикур — комендантом ближайшей крепости — Вокулер. Спокойно заговорила с ним о делах государства.

— На самом деле Франция не принадлежит дофину, но мой господин повелевает дофину стать королем и изгнать англичан.

— Значит, ты хочешь пойти к дофину?

— Да, монсеньер.

— Чтобы короновать дофина?

— Да, монсеньер.

— А кто твой господин, который велит тебе короновать дофина?

— Царь небесный!

Робер де Бодрикур долго смеялся.

— Нет, вы только подумайте, какая приткая! Она хочет короновать дофина!

Потом смягчился:

— Дурочка, я и сам бы рад помочь нашему дофину. У самого душа за него болит. Да что поделаешь.— Снова расхохотался.— Царь небесный! Вот пусть он тебе и даст солдат. Учить меня вздумала!

Обратился к Дюрану:

— Отведи девочку обратно к отцу. Пусть он надает ей хороших затрещин!

И снова в путь по обезлюдевшей, разоренной стране.

Отказ осторожного и недоверчивого Бодрикура не сломил решимости Жанны. Через девять месяцев, в январе 1429 г., она окончательно покинула родную деревню.

От Вокулера до Орлеана

Капитан де Бодрикур угрюмо молчал. «Житья не стало от этих бургундцев»,— думал он, невольно вспоминая маленькую «святую» из Домреми.

В последнее время в городе много толковали о ней как о будущей спасительнице родины. Горожанам невольно передавалась горячая убежденность юной патриотки.

«А может быть, они и правы, что ей верят?»—колебался Бодрикур.

В его дверь настойчиво постучали. На пороге стояла девушка в красном заплатанном платье. Она была не одна. Рядом с ней стоял рыцарь из Меца по имени Жан. Их окружало несколько человек. Были среди них и лица духовного звания. Один, поклонившись, что-то шепнул капитану. Жанна оправила платье, спокойно улыбнулась. Потом несколько торжественно произнесла:

— Господин капитан. Да будет вам ведомо, что господь бог несколько раз возвестил мне свою волю: идти к дофину, истинному королю Франции. Дофин должен дать мне войско, я сниму осаду с Орлеана и поведу его в Реймс, чтобы там короновать дофина.

Бодрикур продолжал колебаться:

— А что тебе от меня нужно?

— Я пришла попросить вас проводить меня к дофину.

Рыцарь Жан подтвердил ее просьбу:

— Никто не сможет спасти Французское королевство, кроме нее. Она и сама говорила мне, что предпочла бы сидеть за пряхкой возле своей матери. Но нужно, чтобы она шла. Я поклялся ей, что провожу ее к королю!

Затем все заговорили разом, убеждая капитана дать Жанне вооруженный отряд.

Бодрикур все еще колебался. Он по-прежнему не верил крестьянской девушке. Требования ее были необычны. Но чем дольше продолжалась их беседа, тем больше убеждался он в ее здравом смысле и непоколебимой уверенности, а главное — в поддержке ее сторонниками дофина.

— Когда вы хотели ехать к дофину?

— Сейчас ехать было бы лучше, чем завтра, но выехать завтра будет лучше, чем откладывать на послезавтра!

Прошло несколько дней — и согласие капитана было получено. Отряд снаряжался недолго. Горожане вскладчину купили Жанне лошадь, крестьяне снабдили ее на дорогу хлебом и сыром.

13 февраля 1429 года маленький отряд из семи человек выехал за городские ворота Вокулера. Жанна по-крестьянски крепко держалась в седле на своей коренастой лошадке. Волосы она остригла по-мужски — в кружок.

Мужская одежда, сапоги с длинными голенищами и шпорами, короткий меч и щит делали ее неотличимой от спутников. Озорные девичьи глаза, улыбаясь, глядели на капитана де Бодрикура. Он кивнул ей головой из толпы провожавших и вздохнул:

— Ну что ж... Езжай с богом. И будь что будет. В добрый час!

А путь предстоял долгий и опасный. За Луарой разбойничали шайки дезертиров. Поэтому передвигаться приходилось по ночам, а пережидать — то в придорожной канаве, то в холодной хижине, покинутой ее обитателями. Копыта коней вязли в жидкой грязи расползающихся дорог. Всадники переправлялись вброд через разливавшиеся в половодье реки.

— Сумеешь ли ты выполнить то, что обещаешь, Жанна? — спрашивал не раз Жан из Меца.

— Не бойтесь. Я все сделаю... Я должна идти на войну. Увидите, как ласково примет нас дофин в Шиноне.

На одиннадцатый день вдали обозначились зубчатые стены замка Шинон.

...Без особого волнения вступает Жанна в парадную залу. Ее слепит свет сотен факелов. Но она найдет, конечно, дофина в пестрой толпе придворных. А он старается скрыться за их спинами от пытливого взгляда девушки. Место дофина, по уговору с ним, занял один из пажей. Этот маскарад устроен для того, чтобы испытать проницательность «ясновидящей». Дофин колеблется, как ему поступить. Слух о новоявленной «святой», уже признанной простыми людьми Франции, достиг его уШей. «Хорошо

вое оружие, покуда не нашла в одной часовне старинный меч. Жители города Тура подарили Жанне походную одежду. Из Тура Жанна выехала в Блуа, где расположилась армия дофина.

В Блуа отовсюду стекались люди, прибывало продовольствие, скот, оружие, порох. Армия в семь тысяч человек готова была двинуться на помощь осажденным орлеанцам.

Солдаты верили, что Жанна принесет им счастье.

За время трудного пути выносливость и простота Жанны завоевали ей всеобщую любовь. Жанна спала в открытом поле, на голой земле, не снимая кольчуги, и разделяла с простыми воинами их скудную пищу. Она живо интересовалась военным делом, оружием, сразу же оценила решающую роль артиллерии и проявляла к ней особый интерес. Жанна ввела в *Еойске* строжайшую дисциплину. Ежедневно ожидала она приказа дофина — двинуться к Орлеану. Наконец, 28 апреля 1429 года, этот приказ был получен.

Блуа соединялся с Орлеаном двумя дорогами. Жанна потребовала, чтобы войско и обоз с продовольствием для осажденных двигались по той дороге, которая непосредственно выведет к английским позициям.

— Люди ждут нас. Мы пробьемся в Орлеан с боем!

— Обещаем тебе, Жанна.

Однако нерадивые французские полководцы, не разведав обстановки, повели войско по другой дороге. Она показалась им более безопасной. На второй день пути приблизились к Орлеану. Но он был отделён от французской армии водами Луары. Гневно обратилась Жанна к полководцу Дюнуа, сводному брату дофина:

— Вы посоветовали, чтоб меня провели этим берегом реки, а не тем путем, который ведет к англичанам? Видите, все мосты захвачены врагом. Мы не сможем переправить армию на рыбацких лодках!

— Ты права, Жанна, придется вернуться обратно в Блуа, а потом направиться по другой дороге. Но ты вместе со мной войдешь в город сегодня же. Защитникам Орлеана нужен хлеб, но ты им нужнее хлеба!



Карл VII — дофин, позднее король Франции. Портрет Ж. Фуке

Жанна с небольшим отрядом переправилась на лодке через бурную реку. На других лодках перевезли продовольствие. В темноте им незаметно удалось обойти английское укрепление.

— Скорее! — торопила Жанна. — Ведь горожане томятся в осаде уже двести дней!

Освобождение Орлеана

Орлеан был одним из самых больших и цветущих городов страны. В нем находилось до 15 тысяч жителей. Город имел большое военное значение как последний оплот французов в центре страны. Если бы английским войскам удалось взять Орлеан, путь на юг был бы открыт и вся Южная Франция скоро оказалась бы в их руках. Тем не менее осада города была для них сложным делом. Стены его, толщиной до 3 метров, поднимались ввысь на 6—10 метров.

Предместья города охранялись несколькими крепостями. Самая мощная из них — форт Турель — была построена у одного из мостов и защищала Орлеан со стороны Луары. Взять город можно было лишь длительной осадой, одолев его население голодом.

Орлеанцы тщательно укрепили городские стены. Они создали отряды народной милиции для охраны стен и башен, участвовали в постройке прикрытий для артиллерии на городских стенах, пробили бойницы. Горожане возили камень для пушечных ядер из далеких каменоломен, изготовляли тысячи стрел и дротиков. Даже беднейшие жители не отказывались жертвовать последние гроши на оборону.

Англичане все теснее смыкали кольцо вокруг Орлеана. Их пушки разрушили множество домов и водяных мельниц. Город оказался без хлеба. Пала крепость Турель. Орлеанцы защищали ее 12 дней. Наравне с мужчинами женщины отбивали атаки, обливая врагов кипящим маслом и осыпая их раскаленными углями. Соседние города посылали осажденным оружие и продовольствие. Между тем капитаны городского гарнизона не торопились переходить к активной обороне. Ведь только длительная война сулила им обеспеченную жизнь. Наемные солдаты слонялись без дела, мародерствовали, промышляя грабежом мирных горожан.

Но и положение англичан было трудным. Их предводитель граф Солсбери был убит ядром. Армия его рассеялась по окрестным городам и селам в поисках пропитания. Английские лучники уходили из-под стен Орлеана, опасаясь, что зима застанет их в холодных землянках.

Однако никто из французских капитанов не стремился использовать удобный момент для контрнаступления. Они боялись доверять это и простому народу. Горожане теряли веру в своих защитников — рыцарей и солдат, роптали:

**Въезд Жанны
в Орлеан.**



— Нас предают! У нас есть оружие, а нам не позволяют вступать в бой с годонами!

Приближалась весна 1429 г. Полководец Джон Тальбот привел новую армию англичан. Они окружили Орлеан полукольцом укреплений. Горожанам необходимо было переходить к решительным действиям. Но у них не было вождя. В последнее время город жил слухами о девушке-воине, которой предстояло спасти Орлеан от осады.

Вечером 29 апреля 1429 года Жанна д'Арк въехала в Орлеан. Ее латы сверкали при свете факелов. Белое знамя с королевскими лилиями развевалось над ее головой. Народ восторженно встречал смелую девушку.

— Веди нас в бой, мы готовы выступить! — восклицали орлеанцы.

Женщины поднимали к Жанне своих маленьких детей. Все стремились подойти к ней поближе, чтобы разглядеть ее. В этот момент один факельщик случайно поджег знамя Жанны. Не сходя с коня, она быстро и ловко загасила огонь. Толпа рукоплескала ей: все в ней казалось чудесным.

Ее крестьянское происхождение и доброта сразу же завоевали симпатии простого люда. Народ обрел в ней вождя. Двери дома, где она остановилась, были открыты для всех.

Рассказывали, что дофин предлагал ей за службу поместья, но она отказалась от них.

На другой день после прихода Жанны городская милиция перестала повиноваться капитанам гарнизона. Огромная толпа собралась на улице, ожидая знака Жанны к выступлению.

Но Жанна сначала благоразумно попыталась вступить в переговоры с англичанами. Они осыпали ее ругательствами и угрозами.

Еще с дороги Жанна отправила Тальботу для передачи королю Англии письмо с требованием возвратить ключи от всех захваченных англичанами французских городов. Она писала: «Если вы, король англичан, не сделаете этого, то я как военачальник выгоню ваших воинов из Франции, где бы их ни настигла, и они уйдут из нее волей или неволей». Письмо осталось без ответа. Вопреки всем законам войны, англичане заковали в цепи посла Жанны и приговорили его к сожжению как сообщника ведьмы. Теперь, когда Жанна появилась в Орлеане, английские солдаты были охвачены суеверным ужасом. Их убеждали, будто колдовские чары Жанны заставят горожан перейти в наступление.

4 мая из Блуа пришла долгожданная армия французов.

Дюнуа отдал приказ наступать на крепость Сен-Лу. От народного ополчения это скрыли. Однако в городе тотчас же узнали об этом. Шум, крики и звон набата разбудили Жанну. Узнав в чем дело, она облачилась в доспехи и вскачь понеслась туда, где слышалась перестрелка.

«Остановитесь! — кричала она отступавшим солдатам.— Не показывайте врагу спину! Мы обязательно победим!»

Жанна в первый раз участвовала в бою, но она сразу же увлекла за собой людей, стала их командиром. Победа французов была уже близка. Вдруг они заметили, что большой отряд англичан движется на помощь гарнизону Сен-Лу. И тут впервые Жанна проявила свои способности военачальника: она приказала ополченцам, стоявшим в резерве, развернуться и выставить пики навстречу надвигавшемуся отряду.

Несколько мгновений враги неподвижной стеной стояли друг против друга. Не выдержав, англичане дрогнули и отошли.

Наступление французов на этот раз продолжалось более трех часов. Важное военное укрепление Сен-Лу было взято. Это была первая победа французов за долгие месяцы осады. После нее обстановка под Орлеаном изменилась коренным образом. Верхнее течение Луары было уже в руках горожан.

Жанна принимала участие во всех военных приготовлениях, помогала создавать дисциплинированные отряды ополченцев. Часто навещала она храбрых орлеанских пушкарей. Городская артиллерия состояла из 70 с лишним орудий: кулеврин и бомбард¹. Руками самоотверженных городских мастеров-пушкарей создавались орудия. Эти же руки приводили их в действие. Меткой стрельбой прославился пушкарь Жан, весельчак и балагур. Его заметили англичане и избрали своей мишенью. Чтобы обмануть бдительность врагов, он по нескольку раз в день на глазах у них валялся на землю при падении английского ядра, притворялся мертвым и давал себя унести. Вскоре он, живой и невредимый, появлялся в самом неожиданном месте и вновь поражал врага огнем своей кулеврины. Жанна радовалась каждой его остроумной выдумке.

Ополченцы отвечали Жанне любовью и доверием. После взятия Сен-Лу люди поверили в близкую победу.

Слава Жанны перешагнула стены Орлеана. Тайными тропами по ночам в осажденный город пробирались крестьяне из дальних сел. Жанна все чаще набирала из них новые отряды солдат. До поры — до времени дворяне брезгливо терпели простонародье в рядах рыцарской армии. Но не доверяли ему.

5 мая вечером собрался военный совет: Дюнуа, Ля Гир, Гокур — глава орлеанского гарнизона. Не пригласили только Жанну: боялись, что через нее простолюдинам станут известны их планы.

Военачальники рассчитывали использовать народное ополчение как приманку для англичан: отвлечь на него огонь противника на правом берегу Луары, а тем временем дать возможность рыцарям напасть на Турель.

После военного совета Жанне лишь частично сообщили замысел этой операции. Но она сразу разгадала обман.

— Скажите мне по совести, что вы задумали? Я умею хранить и более важные тайны.

— Успокойся, Жанна,— отвечал Дюнуа,— все, что было сейчас сказано,— правда. Впрочем,— перестроился он на ходу,— если англичане придут на помощь своим людям на этой стороне, то мы переправимся через реку и ударим по Турели.

Только это Жанне и требовалось узнать. Она и сама предполагала, что готовится штурм Турели: без взятия этого форта

¹ *Кулеврины и бомбарды* — метательные орудия XV века. Короткоствольная бомбарда метала камни. Метание чугунных ядер потребовало удлинения ствола. Появились кулеврины со стволом длиной в 12 калибров (калибр — диаметр канала ствола орудия),

невозможно было освободить город от осады. Приготовления военных не укрылись от внимания горожан.

С самого утра 6 мая вооруженные ремесленники устремились к городским воротам Орлеана. Они усиленно охранялись. Начальник гарнизона Гокур пытался остановить толпу:

— Не могу я вас пустить: не приказано.

— Как это не приказано? Кто может помешать нам выкурить годонов из Турели! — раздалась выкрики.

— До каких пор нас будут держать в стороне от дела? — неистовствовал чернобородый кузнец с кувалдой в руке.

— Не приведет это к добру, если вся чернь вооружится, — ворчал, стоя в стороне, монах.

— Не отпирайте им! — требовали рыцари из отряда Дюнуа.

— Надо позвать Деву, она прикажет отворить нам ворота!

Народ послал за Жанной. Она гневно потребовала у охраны, чтобы открыли ворота: — Вы очень злы, мешая этим людям выйти отсюда. Но, хотите ли вы этого или нет, они выйдут и сделают свое дело так же хорошо, как и в прошлый раз!

Толпа, ободренная голосом Жанны, бросилась на солдат.

Гокур подчинился. Поддавшись общему настроению, видя вокруг лица, полные решимости, он настезь распахнул ворота и крикнул горожанам:

— Ступайте за мной, я буду вашим капитаном!

Ремесленники построились в отряды. К ним присоединились солдаты гарнизона. Гокур с Жанной возглавили колонну. Позже об этом событии было записано в одной из хроник: «Так Жанна с одобрения и согласия граждан Орлеана, но против воли и желания всех королевских начальников и капитанов вырвалась (из города) и перешла Луару».

В результате этой отчаянной операции к концу дня еще одно важное укрепление англичан — монастырь августинцев — перешло в руки французов. Этот случай показал горожанам, что они — та сила, которая освободит родину от вражеского нашествия.

Война становилась народной. Тысячи простых людей стекались под знамя Жанны д'Арк — крестьянской девушки из Домреми. И эти люди вместе с ней довершили освобождение Орлеана.

На 7 мая, после долгих колебаний, военный совет назначил штурм Турели. К этому его вынудили горожане.

На рассвете войска французов двинулись к переправе через Луару. Вооруженные отряды горожан плотным кольцом окружили Жанну. Она подбадривала их:

— Мужайтесь! Не отступайте! Вы вскоре займете Турель!

Уже после полудня она первая приставила лестницу к крепостной стене. В этот момент стрела вонзилась ей в плечо. Прошло немного времени. Девушка, преодолевая боль и усталость, снова приказала облачить себя в латы.

В ее отсутствие верный ее друг Жан д'Олон придумал следующий маневр: он предложил укрепить белое знамя Жанны на стене еще не захваченной вражеской крепости. Он рассчитывал, что солдаты, отстаивая это знамя, возьмут с бою крепостной вал. Ведь в этом знамени и горожане и солдаты видели олицетворение своего боевого счастья.

Жан д'Олон и солдат Васк, прикрываясь щитами, осторожно поползли по крепостному рву со знаменем в руках.

— Это мое знамя! — удивленно крикнула Жанна и стремительно бросилась в ров.

Прошло мгновение — и белое знамя Жанны д'Арк уже развевалось на гребне крепостной стены.

— Все это принадлежит вам, входите сюда! — крикнула Жанна.

Увидев знамя над Турелью, ополченцы и солдаты приступом взяли крепостной вал.

Англичане отступали по мосту через Луару. Их было более шестисот. В этот момент горожане подвели под мост баржу, наполненную серой, смолой, паклей и старой рухлядью, облили ее маслом и подожгли. Десятки англичан погибли на пылающих досках моста. Их капитаны, отступавшие последними, нашли смерть в волнах Луары. На следующее утро, 8 мая, англичане без боя оставили свои последние позиции.

209 дней длилась томительная осада Орлеана. Многие уже теряли надежду на победу. Всего лишь через девять дней после прихода Жанны Орлеан был освобожден.

Казалось, произошло чудо. Это чудо совершил народ — кузнецы, ткачи, оружейники, каменщики, вдохновленные мужеством девушки-полководца, ее верой в победу.

Ведомые ею, горожане увлекли своим порывом солдат и победили. Наступил перелом в Столетней войне. Народ Франции взял в свои руки дело освобождения родины от чужеземцев.

На вершине славы

День 8 мая стал для жителей освобожденного Орлеана праздником победы. И праздником народной героини Жанны д'Арк. Отныне имя Орлеанской девы принадлежало истории.

Жанна после триумфа, устроенного в ее честь благодарными орлеанцами, отправилась в Тур к дофину.

После победы над Орлеаном дофин успокоился. Слабый и нерешительный, стесненный в средствах, Карл не хотел больше платить жалованья своим солдатам. Они разбрелись по домам.

Между тем Жанна упорно думала выполнить второе обещание, данное ею дофину: помочь ему короноваться в Реймсе. Со времен

Хлодвига ¹ стало обычаем короновать в этом древнем городе королей Франции. Лишь это коронование могло превратить дофина Карла Валуа в законного короля Франции. Коронация в Реймсе означала отказ от условий договора в Труа — от подчинения английской короне. А это было равносильно провозглашению независимости Франции.

Однако, прежде чем короновать дофина в Реймсе, надо было отвоевать город у англичан. На этом и настаивала Жанна д'Арк. Но ей чинили препятствия королевские советники. Их беспокоило влияние Жанны на дофина, любовь и уважение к ней простых людей Франции. Знатные феодалы боялись укрепления власти дофина, который раньше был игрушкой в их руках. А более всего они боялись своего народа.

Для народных масс король был символом свободной и независимой Франции. Простым людям он казался защитником от произвола сеньоров. Жанна выражала волю простых людей Франции. Она требовала от дофина завершить начатое дело освобождения страны от англичан.

Однажды, когда Карл остался один, она смело вошла в его покои.

— Дорогой дофин,—сказала она,—не собирайте больше длительных совещаний. Немедленно отправляйтесь в Реймс, чтобы достойно принять там корону.

Дофин озабоченно молчал.

Между тем к Жанне стекались все новые воины. Оставив свои дома и хозяйства, крестьяне шли в армию, которой руководила крестьянская девушка. К ним присоединялись ремесленники, снаряженные на средства городов. Обедневшие рыцари закладывали свои полуразвалившиеся замки, покупали оружие и становились в ряды народной армии. Те, у кого не было денег на коня и доспехи, шли воевать простыми лучниками и копейщиками.

Таким образом, к концу мая в армии освобождения было уже около 12 000 бойцов. Жанна сама руководила приемом новобранцев. К ней прибывало вооружение, на ее имя города посылали средства для предстоящего похода. Орлеан, ставший арсеналом Франции, послал для нового похода артиллерию, направил для строительства укреплений каменщиков и плотников.

Под знамя Жанны встало столько людей, что с их помощью можно было бы вскоре изгнать всех англичан из Франции. Но коннетабль² Ля-Тремуйль боялся принимать в армию всех добровольцев из народа: память о Жакерии³ еще была жива. «Кто знает,—думал он,—не превратится ли Жанна в нового Жака?»

¹ См. очерк «Хлодвиг, король франков» («Книга для чтения...», ч. 1. М., 1969).

² *Коннетабль* — в средневековой Франции главнокомандующий,

³ См. очерк «Жакерия»,

Покуда дофин и его советники раздумывали, города на Луаре своими силами вели освободительную войну. Жанна отправилась к ним на помощь. Со знаменем в руках во главе отряда вступила она в предместье города Жаржо. К солдатам присоединились крестьяне. Тем временем англичане предложили перемирие: они ожидали подкрепления. Навстречу Жанне выслали парламентаров. Она резко прервала их речи:

— Пусть англичане наденут кольчуги и уходят из Жаржо, чтобы спасти свою жизнь! Если же они не хотят этого, то будут захвачены врасплох!

Сражение продолжалось. Оно закончилось победой французов. Со взятием Жаржо все верхнее течение Луары было освобождено от англичан. Французская армия, опираясь на поддержку городов, одержала ряд значительных побед.

В конце июня дофин собрал военный совет. Мнения резко разделились:

— Только не в Реймс! — твердили наиболее осторожные. — Путь ведет через Шампань, а там в каждом городе засел гарнизон англичан.

— Города Шампани нас ждут и окажут помощь. Бургундцы их вконец разорили.

— Но ведь повсюду отцы города принесли присягу англичанину и бургиньону

— Вот увидите, они сами принесут ключи от своих городов. Стоит только им пообещать не касаться их добра и привилегий, — убеждал дофина Реньо де Шартр. Реймское архиепископство некогда было его владением. «Вот уже пятнадцать лет мои доходы идут проклятым годонам! Сейчас или никогда», — подумал он, а вслух произнес: — Дева права: только поход на Реймс позволит нам выиграть войну.

Дофин, наконец, решил. Поход был объявлен.

Путь в Реймс был открыт благодаря победам луарской армии и Жанны.

Города Труа, Шалон и Реймс после небольших колебаний открыли ворота дофину. Для приличия они испросили перед этим помощи у своих хозяев — бургундцев и англичан. Но едва ли они желали получить ее. Вот что писали жители Труа магистрату города Шалона: «Мы будем бороться до самой смерти в случае подкрепления, но не дай бог, чтоб это подкрепление было нам прислано!»

Перед тем как открыть ворота дофину, город Труа для видимости послал несколько ядер в сторону французов. В то время как армия дофина входила в главные ворота, гарнизон бургундцев без боя уходил через другие. Жанну поразило печальное зрелище: бургундцы уводили с собой французских пленников, хотя их

¹ Так называли в народе герцога Бургундского.

король уже победоносно шествовал по улицам города. Жанна в гневе схватилась за рукоять меча:

— Наши люди останутся здесь! Или вы сами не выйдете отсюда!

Она приказала запереть ворота и потребовала у дофина выкупа пленников. Скрепя сердце Карл раскошелился.

По настоянию Жанны солдатам запретили грабить мирное население Реймса, когда французские войска вступили в город.

17 июня 1429 года дофин торжественно короновался в Реймсе. Он поклялся управлять справедливо и благородно. Затем на него надели рыцарское вооружение, а поверх него накинули мантию, отделанную горностаем. Архиепископ надел на голову короля драгоценный венец. Жанна в своих доспехах стояла рядом с королем. В руках ее было белое боевое знамя.

Такой ее и запомнили тысячи солдат, горожан, крестьян, пришедших на коронацию. Это был день торжества Жанны и их общего дела — освобождения Франции. Но до конечной победы над врагом было еще далеко.

В этот день для народа был устроен всеобщий праздник. Жители Реймса веселились и пировали на дворах под навесами и прямо на улице. На главной площади стоял бронзовый олень, до краев наполненный вином. Всякий мог подходить и черпать из него ковшом. Во время празднества король хотел наградить Жанну за все ее заслуги:

— Проси у меня всего, чего ты желаешь, Жанна!

— Ваше величество, мне ничего не надо, кроме доброго коня, оружия и жалованья для моих людей. Это у меня есть. Но велите освободить крестьян моей деревни от налогов.

— Повелеваю, — неохотно буркнул Карл.

Находясь в Реймсе, незадолго до коронавания Карла Жанна продиктовала герцогу Бургундскому письмо, призывая его пойти на мир с королем и явиться на его коронацию. Убежденный не столько словами, сколько ее победами, могущественный герцог заключил перемирие с Карлом VII.

Предательство

В Реймсе у Жанны произошел знаменательный разговор с отцом и дядей Дюраном, приехавшими ее повидать:

— Ты ничего не боишься, Жанна?

— Я боюсь одного — предательства.

Над Жанной собирались тучи.

Жанне завидовали при дворе. Боялись ее популярности. Давно уже тайно плели нити заговора, чтобы погубить Жанну.

Душою заговора стал Ля-Тремуйль, любимец короля. К нему присоединился Реньо де Шартр. Мнимый союзник Жанны, обхо-

длительный архиепископ предал ее, получив обратно свои владения. Оба эти человека внушали королю недоверие к Жанне:

— Ваше величество, не кажется ли вам, что Дева слишком самонадеянна и непослушна?

— Вы слышали, она заявила, что хочет вернуться в деревню к родителям? Как вы к этому относитесь, сир?

— Ее нельзя отпускать: она слишком много сделала. Чернь любит ее и пойдет за ней в огонь и в воду.

— Сегодня она грозит англичанам, а завтра,— Реньо вздохнул,— как знать, и нам, быть может, станет угрожать... Ведь и наши рыцари порой ведут себя с крестьянами не лучше бургиньонов!

...Партизанское движение охватывало страну. В Бретани 12 тысяч крестьян, вооружившись колющими и рубящими, со своими предводителями выступили против англичан. Такие самостоятельные действия зависимых людей всполюшили дворян. По этой же причине король отказался от похода в партизанский край — Нормандию. Он предпочел, чтоб англичане сначала справились с патриотами, которые оставались в глазах знати всего лишь мятежными мужиками.

Растущая слава крестьянской девушки все более страшила Карла VII и его советников. Коронование совершилось, и, по их мнению, роль Жанны была сыграна. Началась длинная цепь предательств по отношению к героической крестьянской девушке.

Не раз Жанна порывалась освободить Париж. Король отказывал ей в войске. За спиной Жанны он договорился с бургундцами, что Париж покуда останется в их руках.

Герцог Бургундский получил право выступить против всякого, кто осмелится напасть на столицу Франции. В таких условиях попытка Жанны с небольшим отрядом взять приступом Париж была безумием. В неравном бою 8 сентября девушка была тяжело ранена. Напрасно Жанна звала короля на помощь. Он не пришел, хотя находился всего в семи километрах севернее Парижа.

Король «честно» выполнял условия перемирия с врагами. Он уже отрекся в душе от своей спасительницы.

Раненую Жанну заставили уехать из Сен-Дени, предместья Парижа. Оттуда она хоть могла видеть в ясные дни столицу своей Франции. Девушку держали под домашним арестом под видом заботы о ее здоровье. Томительно потянулись месяцы вынужденного бездействия. 9 месяцев... Жанна не могла больше этого вынести!

Весной 1430 года Жанна внезапно исчезла. Она появилась севернее Парижа у крепости Компьен, осажденной врагами. 23 мая с небольшим отрядом верных соратников, в числе которых был и ее брат, Жанна участвовала в вылазке. Бургундцы численно преобладали. Они повернули отряд Жанны вспять и оттеснили его к крепостному мосту. Напрасно Жанна убеждала своих людей

вступить в последний бой. С каждой минутой кольцо врагов смыкалось все теснее и теснее. Наконец Жанне остался один выход: прорваться к крепостному мосту. Она с надеждой повернулась в сторону крепости, но мост был поднят, ворота заперты. Жанна и горсточка бойцов оказались стиснутыми между крепостью и бургундским отрядом. Жанна отбивалась до последней минуты. Рыцари стащили девушку с коня: им было приказано взять ее в плен живой.

Так Жанна была предана своим королем. Она была еще раз предана Гийомом де Флави, комендантом Компьена. Соратник Ля-Тремуйля, он заранее получил от него тайные указания, как избавиться от Девы.

Потянулись долгие месяцы плена и заточения, наполненные одиночеством. Не раз перед мысленным взором Жанны возникал Компьен.

...Мост поднят —

отрезан путь к отступлению,

Покинута Жанна д'Арк у Компьени.

«Но где же король мой.

мною коронованный?»

Паду оклеветанной и окованной.

Один за другим предают любимые

Меня, обреченную и гонимую...»

Заточение, суд, казнь

«Жанна в плену!»—эта весть молниеносно разнеслась по Франции. Весь народ оплакивал свою Жанну, покинутую королем. Женщины молились о ее спасении.

Жанна уже полгода томилась в тюрьме у бургундцев. В круглой башне замка Бореувар не на чем было остановить взгляд: однообразные унылые ряды камней. Но, глядя на подтеки, трещины и пятна плесени, Жанна пыталась оживить камни силой своего воображения. Ей казалось, будто она видит людские лица, то радостные, то печальные... По утрам будил ее грубый окрик солдата: «Вставай, ведьма!» Иногда более суток она не слыхала человеческого голоса.

Между тем король не сделал ни малейшей попытки освободить Жанну. Он мог ее выкупить — деньги у него были. Но он равнодушно допустил, чтобы бургундцы продали ее англичанам. Сумма была назначена огромная. Она равнялась выкупу за голову короля. Англичане в продолжение 2 месяцев собирали эти деньги в завоеванной ими Нормандии. А король Франции продолжал молчать... В его руках находились знаменитые английские полководцы Гальбот, Фальстаф, Сеффольк. Он мог их обменять на пленницу, но не пожелал этого сделать. В последний раз он предал своего славного «капитана», как он любил когда-то называть

Жанну. Не только Карл VII, но и французское духовенство и сам римский папа отступились от Жанны.

С церковных кафедр прихожанам читали послание архиепископа Реньо де Шартра. Народу пытались внушить, что Жанна сама повинна в своем несчастье. «Она не сделала того, для чего ее послал господь, но проявила собственную волю... Она не слушалась ничьих советов и все делала по своей прихоти», — этими словами архиепископ невольно признавал глубокий разлад между Жанной и королевским окружением. Но он умалчивал о причинах этого разлада. Не прихоть, не каприз обрекли Жанну на неудачу, а отсутствие поддержки со стороны короля. Стремясь силами простых людей овладеть Парижем, Жанна навлекла на себя ненависть знати и была предана ею в руки врага.

Самостоятельность действий и суждений девушки из народа сначала насторожила, а затем и разочаровала ее знатных покровителей. Особенно пугало их возникновение в народе своеобразного культа Жанны, почитания ее героических подвигов. В ее честь воздвигались часовни, устраивались процессии, скульпторы придавали изображениям святых черты сходства с девушкой из Домреми.

Над феодальной церковью нависла угроза приобрести в лице Жанны народную святую, к тому же живую и действующую независимо. Это не входило в планы служителей церкви, как и короля. Поэтому-то они и вздохнули с облегчением, когда девушка попала в плен при их попустительстве или прямом содействии.

Когда Жанна узнала, что ее продали англичанам, она добровольно искала смерти. В течение нескольких дней Жанна отказывалась принимать еду. В одну из ночей, в полном отчаянии, она выпрыгнула из окна своей темницы. Ее подобрали. Жанна гневно выкрикнула: «Лучше мне умереть, чем попасть в руки англичан!»

Жанну в тяжелом состоянии перевели в башню Старого замка близ Руана. Ее держали теперь в железной клетке с длинной плотной цепью на шее и на ногах. Даже ночью она не знала покоя: к постели ее приковывали за пояс и за ноги. Стражники грубо оскорбляли девушку: плевали ей в лицо, избивали. Она молчаливо и презрительно сносила все.



Жанна в тюрьме.

Приближался день суда.

Англичане решили, что все средства хороши, лишь бы представить Жанну колдуньей. Ведь в таком случае и ее победы, и коронация дофина оказались бы в глазах людей делом рук дьявола. Жанну отдали в руки инквизиторов. Судили ее ученые богословы Парижского университета, сторонники англичан. Они готовы были пустить в ход всю свою книжную мудрость и крючкотворство, чтобы объяснить успехи Жанны колдовством. Во главе суда англичане поставили преданного им епископа Кошона. Это был смертельный враг Карла VII. По его воле Пьер Кошон потерял свое епископство — Бове. Англичане подарили ему — в ожидании его услуг — богатое Руанское епископство. Суд над Жанной д'Арк назначен был в Руане.

20 февраля 1431 года, закованная в цепи, девушка предстала перед судьями в мрачном здании суда. Ее окружали одни враждебные лица. Ни один сторонник французского короля не был допущен в свидетели. С первых же слов судьи стали перебивать и оскорблять Жанну.

— Высокие господа,— обратилась она к ним, стараясь сохранить хладнокровие,— задавайте мне вопросы один после другого...

Она разбивала своими простыми и искренними ответами коварные и хитроумные построения 60 ученых богословов. Когда они расставляли Жанне свои сети, она отвечала с простодушным крестьянским юмором. Ей никогда не изменял здравый смысл.

— Не приказывала ли ты, Жанна, устраивать молитвы и службы в свою честь? — пытались поймать ее на слове.

— Нет, но если они молились, то сделали неплохо.

— А знаешь ли ты, несчастная, что когда люди тебе целовали руки, они совершали идолопоклонство?

— Не знаю. Они меня благодарили, как умели. Я ведь им, беднякам, помогала и старалась их поддержать...

Некоторые судьи невольно начинали чувствовать симпатию к Жанне. Но не того добивался Кошон. И не того жаждали англичане. Их приводила в ярость мысль о том, что «проклятая колдунья» может остаться в живых. Английское правительство не пожалело денег на выкуп Жанны. Не пожалело оно золота и на подкуп судей. Деятельность членов трибунала, состоявшего из французов, щедро оплачивалась. Она обошлась англичанам не меньше выкупного платежа за Жанну. Правда, платили деньгами, награбленными во Франции.

Английский король не бросал денег на ветер. Кошону было приказано не затягивать следствие.

С родины Жанны стали прибывать показания ее односельчан. Все они откровенно и чистосердечно свидетельствовали в ее пользу. Вскоре девушка заметила, что ни эти, ни некоторые ее собственные показания не вносятся в протокол. Жанна предчувствовала близкую гибель. «Только не отречься, только не предать

дело своей жизни!»—думала она, выстаивая долгие часы допросов.

Мужество не оставляло ее.

— Хотела ли ты просить мира у герцога Бургундского?

— Мир можно получить лишь на конце копья! — вызывающе бросила девушка судьям.

Никакие угрозы не могли заставить Жанну признать, что она посланница дьявола.

— Верили ли люди в то, что ты послана богом? — беспрестанно спрашивали ее судьи.— Не знаю,— отвечала девушка,—но если и не верили, я послана им — все равно! — В каждом вопросе для Жанны таилась хитроумная ловушка. Надеюсь, что, ослепленная ненавистью к англичанам, Жанна допустит промах и «впадет в ересь», судья с простодушным видом задавал ей вопрос:

— Ненавидит ли бог англичан?

— Мне ничего не известно о любви или ненависти бога к англичанам...— находчиво отвечала девушка, почувствовав подвох,—но я твердо знаю, что все они будут изгнаны с французской земли, кроме тех, кто найдет на этой земле смерть.

Кошон, отчаявшись, подослал к Жанне своего шпиона — Луазелера — в одежде священника. Он дал ему поручение исповедовать ее. Луазелер прикинулся земляком Жанны и давал ей советы, которые могли погубить ее на суде.

В протоколе нет записей о том, что ее били и пытали. Но известно, что девушке показали страшные орудия пытки.— Признайся, что ты колдунья, отрекись от ереси! — требовали палачи. Жанна осталась непоколебимой.— Если вы изломаете у меня все суставы и разлучите душу с телом, вы не получите от меня другого ответа! А если бы я дала вам иной ответ, я потом всегда стала бы утверждать, что вы вырвали его у меня силой!

Тогда решено было прибегнуть к последнему, самому сильному средству — запугать Жанну казнью. Солнечным майским утром к тюрьме, громяхая, подъехала страшная телега смертников. Палач в черной маске повез Жанну через весь город на кладбище.

Как воронье, окружили девушку судьи и попы в своих черных одеждах. На могилах пробивалась молодая трава. Листья деревьев были совсем свежие, в каплях росы.

Кошон поднялся на возвышение. Медленно и торжественно он стал читать 12 пунктов обвинительного приговора.

«Еретичка! — думала взволнованно Жанна, — сочли ересью, что оставила дом и пошла защищать родину! Ересь — что в мужской одежде воевала с годонами, ересь — что предсказывала победу!»

Голос епископа звучал все суровее. Перед Жанной сливались в одну злобно Хохочущую рожу враждебные лица английских солдат,



Медаль в память Жанны д'Арк.

— На костер колдунью!

— Сжечь еретичку!

Она заткнула уши. Смерть представлялась ей неминуемой. А так хотелось жить и увидеть свою родину свободной от врагов. Девушке не было еще и двадцати лет...

— Отрекись, Жанна, — настойчиво шептал Луазелер.

— Предайся в руки церкви — и ты спасешься от англичан. Согласись носить женскую одежду. Тебя помилуют.

— Я желаю подчиниться церкви!

Девушка на мгновение повзвизгивала в свое избавление и, не

глядя, поставила подпись на отречении. Как выяснилось потом, ей подсунили другой документ. Он содержал еще более тяжкие обвинения.

Кошон обещал перевести Жанну в церковную тюрьму, затем — в тихий монастырь. Но он и не собирался сдержать свое обещание. В этом был коварный расчет. Его хозяева — англичане — требовали казни Жанны. Им необходимо было для этого поймать девушку на повторении «еретических заблуждений». Кошон не сомневался в том, что Жанна отреклась в минуту слабости и уже сожалеет об этом. «Стоит только вызвать у нее чувство протеста — и она снова впадет в ересь. И на этот раз ей не уйти от костра!» — думал он.

Девушку бросили снова в ту же темницу, откуда ей так хотелось вырваться. Снова надели оковы. Обрили голову. Швырнули женское платье. И снова те же самые сторожа-годоны грубо насмеялись над ней.

Внешне спокойная, Жанна тревожно прислушивалась к голосу своей совести: «Зачем ты отступила? Зачем подчинилась церкви? Видишь, они обманули тебя. Предала свое дело? Нет, лучше костер, чем покориться этим людям!»

...Через два дня после отречения по городу поползли слухи: Жанна снова надела мужское платье. Рассказывали, что у нее отобрали женскую одежду и подкинули мужскую. «Что ей оставалось делать», — жалели ее люди.

— Кто заставил тебя это сделать, Жанна? — спросили ее судьи, входя в камеру.

— Я сделала это по доброй воле...

— Ты понимаешь, что тебя ждет костер?

— Я боялась костра, но теперь я больше не боюсь.

— Зачем ты сделала это?

— Я скорблю о предательстве, которое совершила, согласившись отречься, чтобы спасти свою жизнь.

Эти слова Жанна подтвердила на последнем допросе. Она отказалась от своего отречения, которое вырвали у нее в минуту слабости.

30 мая 1431 года в 8 часов утра Жанну вывели из тюрьмы. Палач медленно повез ее к месту казни — на площадь Старого рынка. Народ скорбно провожал девушку в последний путь. Прорывались возгласы возмущения:

— Она страдает за нас!

— Невинная мученица...

Сотни крестьян и ремесленников из предместий Руана пришли проститься с Жанной.

Дорогу на костер охраняли 120 английских солдат и 800 — место казни.

...Жанну поставили на высокий помост. Сквозь гул множества голосов девушка едва расслышала лицемерные слова проповеди: «Жанна, иди с миром. Церковь больше не может тебя защищать...»

Вдруг к Жанне бросился человек в рясе. Это был предатель Луазелер, которого Кошон подсылал шпионить за подсудимой. Он упал на колени, бормоча:

— Прости меня, Жанна, если можешь...

...Судья хочет огласить приговор. Но англичане отстраняют его и торопят палача:

— Исполняйте свой долг.

В толпе слышатся рыдания.

Пламя костра постепенно охватывает девушку. Она стоит прямо и гордо. Глаза ее сухи.

Костер разгорается выше, выше.

Минута прощания.

Тише, тише...

Проходят враги, палачи, каратели,

Друзья проходят,

проходят предатели,

К потомкам взывают:

«Прощенья, прощенья!»

Но нет предательству

отпущенья!

...Кто-то из толпы отбрасывает горящие поленья, чтобы народ мог лучше видеть свою героиню.

Любовь Жанны д'Арк к Франции была сильнее огня. Она пылала все ярче и ярче в сердцах простых людей. Эти люди довершили освобождение Франции, начатое девушкой из Домреми. Для французского народа Жанна д'Арк стала символом борьбы за единую и независимую родину. Высокая волна патриотического движения выбросила англичан за пределы Франции.

Суд истории

Прах сожженной «еретички» был развеян над водами Сены, а сердце брошено в реку, чтобы оно не стало предметом народного поклонения.

Прошло четверть века. Но Жанна продолжала жить в благодарной памяти простых людей, ибо за них она отдала жизнь.

Выиграв в 1453 году Столетнюю войну, Карл VII в 1456 году решил по политическим соображениям оправдать себя в глазах французского народа. Он приказал пересмотреть дело Жанны д'Арк.

Были опрошены сотни людей. И многие из тех, кто под нажимом, из страха или из соображений выгоды клеветал на девушку, теперь отреклись от своих ложных показаний. Крестьяне из Домреми, горожане из Вокулера, бывшие солдаты Жанны повторяли почти в тех же самых выражениях, что и двадцать пять лет назад, свои правдивые показания. В их словах, сохраненных для потомков историей, звучит неподдельная любовь к героической девушке. В их рассказах предстает ее неповторимый образ.

Приговор, вынесенный Жанне д'Арк в Руане, был признан судебной ошибкой, двенадцать статей обвинения — ложью. «Составленные бесчестно и с намерением ввести в заблуждение, они искажают ответы Девы и умалчивают об обстоятельствах, которые ее оправдывают», — сказал богослов Гильом Буйе во время реабилитации Жанны.

Приговор этого процесса гласил: «Мы отменяем... (прежние) приговоры... И мы объявляем названную Жанну и ее родных очищенными от пятна бесчестия».

В действительности Жанна уже не нуждалась в оправдании. Она принадлежала бессмертию. Ее жизнь стала легендой, но никакая легенда не сравнится с подлинной историей ее жизни, подвигов и мученической смерти.

Подвиг Жанны д'Арк воодушевлял французских солдат и партизан, изгнавших англичан с родной земли. Имя Жанны стало их знаменем. С ним брали крепости и рушили вражеские бастионы.

Именем Жанны д'Арк называли свои отряды герои французского Сопrotивления в черные годы фашистского нашествия.

И сегодня образ отважной патриотки продолжает сиять красотой великого подвига. Он возвышается над страданиями и смертью.

ЛЮДОВИК XI

Большая кавалькада рыцарей двигалась по дороге, идущей в Реймс. Громкие голоса, смех, дробный топот и ржание коней, неторопливо поднимающихся на пригорок, богатые одежды, разноцветные перья, острые и прямые, прикрепленные по одному к шляпам всадников, сверкающее на ярком солнце убранство коней и дорогое оружие — все это придавало путникам вид оживленный и торжественный.

Это летним днем 1461 года герцог Бургундии Филипп Добрый сопровождал со всей своей свитой нового короля Людовика XI в город Реймс.

Сам Людовик, одетый гораздо скромнее остальных, ехал глубоко задумавшись и сумрачно смотрел вперед из-под низко надвинутой шляпы, как бы безучастный ко всему, что происходило вокруг него. Свита Филиппа Доброго совершенно затмила его, и могло показаться, что король Франции — пышно разодетый, статный Филипп, а не ссутулившийся в своем седле хмурый тридцативосьмилетний Людовик.

Его как будто не захватывало общее приподнятое настроение, не трогал блеск и великолепие кортежа, не занимали грубоватые шуточки рыцарей.

Людовик думал о Франции, о Париже, о других многочисленных городах, графствах и герцогствах страны, об их воинственных владетелях, наконец, об умершем короле — своем отце Карле VII, смерти которого он ждал давно.

Людовик вспоминал свою молодость. Честолюбие побудило его, тогда еще семнадцатилетнего юношу, стать во главе заговора феодалов против короля-отца. Заговор окончился неудачей. Людовик вынужден был вернуться во дворец. Он стоял перед отцом с независимым видом, спокойно выслушивал его резкие замечания и даже осмелился защищать участников заговора и просить их помилования.

— Так вы совсем не раскаиваетесь, сын мой? — спрашивал Карл VII.

— Нет, ваше величество, — с поклоном отвечал Людовик.



Знатный сеньор и дамы.
XV век.

Сколько раз требовал Карл VII, чтобы Людовик возвратился ко двору, то лаской, то силой стараясь привлечь к себе честолюбивого и непокорного сына. Ничего не помогало. В 1456 году Карл VII послал войско в Дофине, чтобы привести сына, но тот бежал к своему дяде Филиппу Доброму, могущественному герцогу бургундскому.

Шумно и весело было при дворе Филиппа: празднества и пиры сменялись турнирами — состязаниями в военной доблести.

Своею храбростью и заносчивыми расчетами выделялся сын Филиппа — Карл. История именует его Смелым, но современники прозвали его более правильно — «безрассудным».

Однако феодалы съезжались к бургундскому двору не только для пиров и рыцарских турниров. Их всех беспокоило усиление короля Франции в конце Столетней войны. Не удивительно, что при бургундском дворе готовились новые походы и зрели коварные планы ослабления королевской власти. Поэтому-то Бургундский герцог заботливо пригрел принца-заговорщика Людовика.

Все это Людовик вспомнил по пути в Реймс, куда его сопровождали злейшие враги королевской власти. В эти минуты вчерашний беглец и мятежник чувствовал, что на его плечи наваливаются те же самые заботы, которые преждевременно свели в могилу его отца — Карла VII.

Людовик думал о том, что население страны никогда не жило спокойно. Засеянные поля вытаптывались рыцарской конницей, учинявшей непрерывные набеги. Города, желавшие свободно дышать после Столетней войны, снова обременялись непосильными поборами, возлагаемыми на них графами и герцогами.

Глядя исподлобья на своих нарядных спутников, Людовик думал о том, что отныне его собственные интересы тесно связаны с борьбой за единство французского королевства. Не ясно ли, что объединить Францию означало сломить феодалов, и прежде всего

— Вон из моего дворца! — хрипло закричал на него разгневанный король, — чтобы я вас больше никогда не видел!

— Так мне уйти, ваше величество? — с ядовитой усмешкой переспросил сын, и после долгой, томительной паузы король, стараясь казаться спокойным, медленно произнес: — Людовик, если ворота для вас узки, я велю проломить стену.

Людовик уехал в свою провинцию Дофине. С тех пор он не видел своего отца, но постоянно боролся с ним, подстрекая против него феодалов, организуя новые заговоры.

сокрушить их нынешнего покровителя — герцога Бургундского и сына его Карла.

— Мы приехали, ваше величество, — обратился к Людовику ехавший рядом с ним рыцарь. Кавалькада вступила в Реймс. Началось коронование.

* * *

У моста, перекинутого через живописную реку, остановились всадники. Усталые кони и пыльная одежда говорили о большом пути, оставшемся за их плечами. Один из прибывших скинул с головы старую войлочную шляпу, отряхнул длинный серый камзол и сказал:

— Ну, куманек, ты пойдешь со мной. А вы, — обратился он к остальным, — въезжайте в город через главные ворота, приготовьте все для меня, да постарайтесь сделать так, чтобы никто раньше времени не узнал о моем приезде.

Тот, кого называли куманьком, был высоким человеком средних лет. Из-под обтрепанных рукавов высывались красные руки. Грубое лицо было обветрено, бледно-голубые глаза смотрели холодно и строго. Он был нетороплив, в нем чувствовалась скрытая сила и уверенность в себе.

Отделившись от спутников, они перебрались через речку и вошли в город.

— Эй, хозяин! — крикнул человек в сером камзоле, — как пройти на рынок?

— Дойдите до того большого дома, а там сверните налево.

Человек в сером камзоле и тот, кого он называл «куманек», шли вдоль прилавков, прислушивались... Их внимание привлек разглагольствовавший купец с окладистой бородой. Короткий, выше колен кафтан его был из бархата, с глубокими разрезами по бокам, оторочен мехом. Спереди у пояса, по моде того времени, висел расшитый треугольный кошелек. Судя по рассказу, этот купец недавно вернулся из Парижа.

— Ну что, видел ты нового короля? — спросил кто-то из собеседников. Окружающие стихли и плотно обступили бородача.

— Нет, — ответил купец, — говорят, он путешествует по городам с небольшой свитой и везде вводит новые законы. Старых советников он отстранил, на все должности назначил новых; многие из них совсем незнатного происхождения.

— А правда ли, что он дал парижскому населению право вооружаться?

Да, — с одобрением ответил купец, — и не только это.



Французские горожане.
XV век.

Он подтвердил все права, которые имели цехи. Я слышал, что и одевается он как простой горожанин.

— Говорят, что он отменил «береговое»¹? — заметил один из стоявших.

— И ограничил право охоты для сеньоров,— добавил человек в сером камзоле, внимательно слушавший весь этот разговор.

— Спасибо новому королю Людовику, — сказал купец,— может быть, при нем полегче будет городам и не так уж будут их разорять сеньоры!

— А хорошо ли идет у вас торговля? — обратился человек в сером камзоле к купцу.

— Да что уж тут,— вздохнул тот.— Наш герцог совершенно нас разорил. На днях опять приезжал и потребовал денег, так как выдает дочь замуж и для свадьбы понадобились деньги.

— Недавно приезжал его сын,— добавил стоявший рядом оружейник,— и забрал у меня, не заплатив, все изготовленное оружие.

В это время никому не известный человек, внимательно осмотревшись, торопливо подошел к человеку в сером камзоле и тихо произнес:

— Государь, ваше величество, все готово!

— Идем! — ответил тот, взглядом позвав за собою спутника.

— Вы слышали! — воскликнул купец. — Он назвал его государем, вашим величеством! — В растерянности он никак не мог надеть на голову шляпу.

— Не может быть! — возражали ему. — Какой же король разгуливает по рынкам?

Гостями города и в самом деле были король Людовик XI и Тристан Пустынный, старшина парижского купечества, вскоре прославивший ближайшим советником короля и человеком крутого нрава.

— Ну как, кум, слышал,— обратился Людовик к Тристану,— все горожане за меня! Опираясь на них, я, пожалуй, смогу обуздать своеволие сеньоров?

Тристан кивнул головой в знак согласия.

На следующий день с рассветом, потолковав с кем нужно, король и его спутники незаметно покинули город.

В полутемном покое Амбуазского замка, под большим распятием, занимавшим весь простенок между двумя стрельчатыми окнами, за дубовым пюпитром с гусиным пером в руке сидел Людовик XI. Он составлял ответное письмо миланскому герцогу

¹ Налог, уплачиваемый феодалу за проезд по воде вдоль берега, который ему принадлежит.

Сфорца, советы и наставления которого высоко ценил, так как считал его опытейшим политиком, искусным дипломатом и непревзойденным мастером интриги.

У этого итальянского политика король Франции учился умению разъединять своих врагов, сеять взаимное недоверие, ловко использовать разлад и таким путем сталкивать лбами своих врагов.

К услугам короля было немало тайных агентов и шпионов. Их содействие, подкуп, хитрость, лесть по отношению к могущественным феодалам помогали Людовику постепенно избавляться от противников политики объединения Франции.

«Одна неудачная битва может свести на нет усилия долгих лет», — повторяя эту фразу, Людовик подчеркивал, что умом и коварством он рассчитывает добиться гораздо большего, чем оружием.

Вскоре после коронации Людовика XI Карл Смелый объединил враждебных королю феодалов в созданной им «Лиге общественного блага». Члены этой лиги объявили, что готовы во имя защиты своей свободы низложить короля-тирана. Красивыми словами о свободе хищные сеньоры прикрывали свое стремление расчленить Францию на части и установить над каждой из них неограниченное господство крупных феодальных сеньоров.

В письме к миланскому герцогу Людовик подводил итог борьбе: рассказывал, как ему удалось перетянуть на свою сторону многих бывших врагов, подкупая их и разъединяя, разрушить лигу.

Заканчивая письмо, король подумал, что ни тонкое коварство, ни деньги не привели бы его, пожалуй, к успеху, если бы на стороне короля не стояло большинство населения Франции. Ведь и горожане, и крестьяне, и даже мелкие рыцари понимали, что крепкая власть государя над единой Францией лучше, чем постоянный кровопролитный разбой вечно враждующих сеньоров.

От этих размышлений короля отвлек легкий шорох. Из-за раздвинутых драпировок показался человек невысокого роста, с длинным горбатым носом и тонкими губами. Небольшие глаза его, в которых светились ум и хитрость, живо и испытующе смотрели на короля. Он шел, скромно одетый во все черное, наклонив свою небольшую, рыжую с проседью голову.

В руках он нес поднос для бритвы и полотенце. Это был королевский брадобрей Оливье, прозванный Дьяволом, любимец Людовика и ближайший его советник. Людовик привлекал к себе людей, вышедших не из феодальной среды, и доверял им. Оливье поставил прибор на низкий табурет и молча начал готовить все необходимое для бритвы. Король понимал своего брадобрю с одного взгляда.

— Я вижу, у тебя есть новости? — Людовик, отложив в сторону недописанное письмо, прищурил усталые глаза и с отки-

нутой головой ждал ответа. Оливье помолчал с минуту, потом произнес:

— Карл Смелый опять затевает восстание против вас, государь.

— Откуда у тебя такие сведения, кум?

— От одного верного бургундца — он получает за это деньги.

— И мой братец, герцог Беррийский, конечно, с ним заодно? — спросил Людовик.

— Да, ваше величество, ведь вы отобрали у него Нормандию, — и вот, как видите, он примкнул к тем, увы, немалочисленным сеньорам, которые считают, что вы отняли у них земли и права.

Сказав это, Оливье взял короля за подбородок и приступил к бритью... Король задумался. Оливье знал, что в такие минуты должна царить тишина, и молча выполнял обязанности брадобрея. Окончив бритье, он встал у окна, ожидая, когда его повелитель заговорит.

— Ну вот что, кум, — нарушил молчание Людовик, — позови сюда Тристана и Балю, я хочу знать их мнение по этому вопросу.

Через некоторое время Дьявол вернулся в сопровождении кардинала Балю и Тристана. Голос Людовика, обычно звучный, сделался глуховатым и низким:

— Этот бургундец собирается напасть на нас. Его поддерживает мой брат, с ним заодно почти все герцоги и графы. У них большое войско. Я хочу знать, куманьки, ваше мнение. Что бы вы посоветовали предпринять? — Сказав это, король обвел глазами своих собеседников.

— Хорошо бы изловить Карла Бургундского, казнить или посадить в клетку, — произнес Тристан, мрачно глядя перед собой из-под нависших бровей.

— Это самое подходящее для тебя, куманек, — возразил Людовик, — но ведь ты сам знаешь, что это невозможно.

— А вы, ваше преосвященство, что думаете? — обратился король к Балю. Кардинал, полный пожилой мужчина с седой головой, одетый в шелковую алую мантию, подбитую горностаем, сказал:

— Ваше величество, я бы посоветовал вам назначить свидание Карлу и лично с ним переговорить.

— Неужели вы думаете, что Карл согласится приехать ко мне? — спросил король, бросая на Балю насмешливый взгляд.

— Но вашему величеству понятно, что он с удовольствием примет вас у себя.

— А ручаетесь ли вы, что жизнь государя будет в безопасности? — произнес молчавший до тех пор Оливье, поднимая на Балю свои живые, пронизательные глаза.

— Если он даст честное слово, что не посягнет на жизнь ко-

роля, то он его выполнит. Ведь он считает себя настоящим рыцарем, а рыцарь держит свое слово,— ответил Балю.

Король внимательно посмотрел на Балю, как бы сомневаясь в его искренности.

— Ну что же, ну что же...— с некоторым колебанием произнес он,— я подумаю, можете идти.

Личная встреча с Карлом Бургундским была необходима Людовику. Он верил в свою способность умно хитрить.

Карл Смелый, ставший после смерти Филиппа Доброго герцогом Бургундским, был главным врагом Людовика. Он стоял поперек его дороги. Владения Карла Смелого оставались очень обширными и почти подходили к Парижу. Для Франции таилась смертельная опасность в существовании этого большого государства. Оно представляло собою как бы клин между владениями короля и Германией. Если бы удалось договориться и поладить с Карлом, то дело сплочения Франции в единое королевство было бы значительно облегчено.

В конце концов Людовик решил поехать на свидание с Карлом. Местом свидания была назначена Перонна. Карл дал честное слово, что жизнь короля будет в безопасности. Отправляясь в Перонну, Людовик взял с собой лишь небольшую свиту. С ним ехали Оливье, Тристан, кардинал Балю, ученый советник Филипп де Комин и небольшой отряд охраны. Никто не догадывался, что у королевского казначея — сеньора де Бон были припрятаны десятки тысяч ливров для подкупа сановников Карла.

Карл Смелый казался могучим и высоким по сравнению с хилым Людовиком XI. Его большая голова гордо сидела на крепкой шее. Большие живые глаза смотрели прямо в лицо собеседнику. Выдвинутый вперед подбородок и резко очерченные губы говорили скорее об упрямстве, чем о силе воли. Поверх лат с плеч Карла длинными складками ниспадал плащ, расшитый золотом и скрепленный пряжкой, сверкающей бриллиантами. «Это стоит не менее двух тысяч дукатов»,— подумал де Бон. Одежда свиты Карла также отличалась богатством.

Людовик поселился в небольшом, хорошо защищенном замке.

Грандиозным пиром почтил Карл Смелый гостя-короля. Вернувшись в отведенный для него замок, Людовик устало опустился на кресло. Около него столпились его приближенные.

— Как вы себя чувствуете, ваше величество? — спросил Оливье, снимая с него одежду.

— Слишком много врагов,— ответил тот,— как бы не вышло чего-нибудь плохого.— И он начал перечислять всех, присутствовавших на этом пиру.

Он не мог назвать ни одного, кто был бы к нему доброжелательно настроен. Одни не могли сочувствовать королю, постепенно прибиравшему их земли к своим рукам. Другие, которых он когда-либо случайно или умышленно оскорбил, были его личными

врагами. Третьих он заподозрил в измене, и Тристан долго пытал их. Некоторым удалось бежать... Все эти недовольные Людовиком нашли приют при дворе Карла Смелого и жаждали отомстить королю. Теперь все они собрались в Перонне, и это вызывало опасение у Людовика.

Уже несколько дней прошло после прибытия Людовика к Карлу Смелому. Велись переговоры, выработывались условия мира. Однажды вечером, когда король стоял на коленях и молился, держа свою шляпу с нашитыми на нее иконками, в комнату вошел Оливье. Он с нетерпением ожидал, когда Людовик окончит молиться.

— Что случилось? — спросил король, с тревогой взглянув на возбужденное лицо Оливье и медленно поднимаясь с колен.

— Ваше величество, мы погибли! — шепотом произнес Оливье. — Льеж восстал.

— Как восстал, когда? — в испуге вскричал Людовик, и лицо его покрылось смертельной бледностью.

— Это известие только что дошло до Карла. Он беснуется, говорит, что бросит вас в темницу.

— Боже мой, что делать, что делать? — заметался король по комнате. — Ведь он выполнит свою угрозу, как ты думаешь, Оливье?

Льеж был большим торговым городом, расположенным в долине реки Маас. Его населяли многочисленные ремесленники, город вел оживленную торговлю. Как и другие города Фландрии, он входил в состав герцогства Бургундского. Бургундские герцоги, постоянно нуждаясь в деньгах для своей многочисленной свиты и военных походов, угнетали подчиненные им города, отменяли привилегии цехов, вымогали непосильные налоги с купцов и ремесленников. Города, стремясь стать самостоятельными, часто отваживались поднимать восстания против своего герцога. Людовик XI, желавший всеми мерами подорвать могущество Карла Смелого, побуждал горожан к восстаниям. По всем городам, принадлежавшим Бургундии, были разосланы под видом купцов, монахов и странствующих цыган королевские агенты, разжигавшие там недовольство и обещавшие помощь короля в час восстания. В Льеже королевские агенты уже давно подготавливали восстание. Но король не мог предполагать, что оно начнется в то самое время, когда он будет находиться в Перонне. Преждевременно вспыхнувшее восстание поставило его в критическое положение. Зная вспыльчивый характер Карла, он опасался за свою жизнь.

Известие о восстании привело Карла Смелого в неопишемую ярость. Он узнал, что Людовик обещал Льежу помощь. Сначала он хотел заточить короля в подземелье и никогда не выпускать его оттуда. Вокруг замка, где жил король, была расставлена сильная стража. Никого из свиты короля не выпускали наружу. Король и его приближенные почувствовали себя пленниками... В гнетущей

тишине напряженного ожидания прозвучал голос Филиппа де Комина.

— На весах происходящих событий я взвешиваю мысль вашего величества, взвешиваю слова ваши: «Кто не умеет притворяться — не умеет властвовать».

— Что же дальше? Продолжайте! — еле слышно произнес Людовик...

— Похоже на то,— пояснил де Комин,— что тот, кто притворяется, сам себе расставляет западню...

— Вы хотите сказать, сир,— криво усмехнулся Людовик,— что на сей раз я угодил в собственную западню... Когда расставляешь десятки капканов, не мудрено попасть в один из них, но ведь в игре участвует не одна только, а все расставленные нами ловушки!

— Соображения вашего величества,— со вздохом ответил де Комин,— окажутся верными лишь в том случае, если собственный капкан не прихлопнет нас теперь же!

Людовик долго молчал, низко опустив голову... Наконец, прищурившись, задумчиво глядя куда-то вдаль, он медленно проговорил полусшепотом:

— За ошибку в игре, за просчет в наших действиях, за нехоти раскрытое притворство всегда приходится расплачиваться... Задача в том, чтобы суметь расплатиться чужими интересами, чужими жизнями, и тогда за нами еще останется последнее слово в далеко не законченной игре!

Дверь неожиданно распахнулась. Герцогский камерарий, отведав с сумрачным видом поклон, сообщил, что Карл зовет Людовика на совещание.

Когда король удалился, вся его свита собралась в одной комнате. С нетерпением ожидая возвращения своего господина, Оливье взволнованно ходил из угла в угол. Тристан, внешне спокойный, стоял прислонившись к стене, скрестив руки на груди. Кардинал Балю был бледен, его губы слегка подергивались, и он со страхом поглядывал то на Оливье, то на Тристана, то на дверь, через которую должен был вернуться король. Балю казалось, что Людовик подозревает его в измене. По телу кардинала пробегала дрожь, когда он думал, что его тайная связь с Карлом может всплыть наружу.

Наконец появился король. Быстро, мелкими шажками, с торжествующим видом вошел он в комнату и, ни слова не говоря, опустился на колени и стал молиться. Окончив молитву, он встал.

— Ну, куманьки, кажется, мы выберемся живыми из этой мышеловки. После того как у Карла прошел первый приступ гнева, советники объяснили ему, что, заточив в темницу приехавшего в гости короля, он вызовет такое возмущение во всей Франции, которое грозит немедленной войной. И вот Карл решил выпустить

меня из своих когтей, навязав нелегкие условия... Я согласился на все...—Нервно передернув плечами и сатанински ухмыляясь, Людовик продолжал:

— Ладно, пусть принцы получают обратно свои владения!.. Ведь потом их можно будет отобрать опять... Только бы выбраться отсюда, а там посмотрим, кто кого!

— А как же Льеж, ваше величество? — неожиданно прервал рассуждения короля Оливье.

— Ах, да, Льеж!.. Я должен буду усмирять его вместе с Карлом. Он настоял, чтобы в момент расправы над Льежем на моей шляпе красовался бургундский крест.

— Но ведь Льеж ожидает вашей помощи? На его знаменах написано: «Да здравствует король Франции!»

— Ничего не поделаешь, кум,— резко бросил король, метнув взгляд на Оливье. При этих словах в его глазах под нависшими бровями появился недобрый огонек.— Мне надо любой ценой выбраться отсюда, это важнее судьбы Льежа!

— Вот это, друг Оливье,— вмешался де Комин,— и означает «расплатиться чужими интересами и чужими жизнями»!

Устало махнув рукой, король сказал: — Я хочу спать, ступайте все, кроме Оливье.— Повернувшись к Тристану и, как бы спохватившись, Людовик, зевая, процедил: — Кум, тебе предстоит работа: после нашего отъезда отсюда кардинал Балю будет посажен в клетку.

Повернувшись спиной и направившись к кровати, он успел заметить, что кардинал Балю еще больше побледнел и, пошатнувшись, ухватился за косяк двери. Присутствовавшие вспомнили, что мысль заключать королевских врагов в клетки была впервые подана самим кардиналом. Тристан ласково взял Балю под руку и вывел его из комнаты.

Расправа над Льежем была ужасна: Карл не брал пленных, убивали всех мужчин, женщин, детей; убежавших преследовали.

Вскоре после возвращения Людовик собрал в Туре совет нотаблей (представителей сословий¹), и те освободили короля от обещаний, которые тот дал в Перонне. Они сослались на то, что клятвы были у короля вырваны угрозами.

Почти 10 лет прошло после пероннских событий. Многие за это время изменилось. Но главный враг Людовика — Карл Смелый был жив. Всю жизнь мечтавший создать Бургундское королевство, независимое и от Франции и от Германии, Карл шел напролом даже в тех случаях, когда было мало надежд на победу. Теперь он завяз в войне со швейцарцами, которые разбили его в нескольких битвах.

¹ В то время во Французском королевстве признавались права трех сословий: духовенства, дворянства и так называемого третьего сословия, куда входили горожане.

Старый Лувр: его постройка была начата в 1204 г., расширение произведено при Карле V, а в XVI веке он был снесен и на его месте был построен новый Лувр.

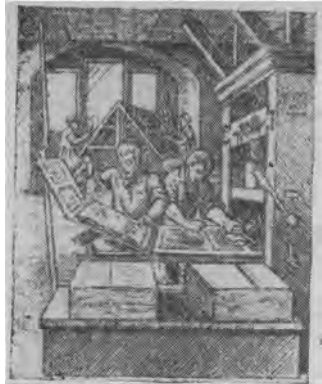


Многие из союзников Карла, видя, что он терпит неудачи, стали переходить на сторону французского короля. А сам Людовик, пользуясь безрассудством и прямолинейностью Карла, всевозможными интригами увеличивал затруднения герцога, подкупал его военачальников, натравливал на него швейцарцев.

Французское королевство крепло, постепенно включая в свой состав все прежние независимые герцогства и графства. Какие только способы не применял Людовик, чтобы объединить Францию! Брат Людовика, Карл, владевший Гиенью и Пуату, умер, земли его перешли к французской короне. Очень многие были уверены, что Людовик отравил своего брата, и даже рассказывали, что он угостил его однажды отравленной грушей.

И дочерей своих он выдал замуж с таким расчетом, чтобы еще более округлить свои владения. Старшую дочь Анну он просватал за наследника Бурбонского дома Божэ. Бурбоны владели территорией, расположенной в центре Франции, и теперь она отходила к королю. На младшей дочери Жанне, когда ей было еще 9 лет, король силой женил принца Орлеанского.

Однажды зимним утром Людовик шел по узкому, мрачному коридору замка. Он только что осматривал свою многочисленную парню в сопровождении егерей. Король любил охоту, это было его почти единственным развлечением.



Первые французские печатники.

Людовик был мрачен. Вчера издохла одна из любимых его борзых, за что на рассвете Тристан по королевскому приказу повесил несчастного егеря. К тому же Людовику сегодня немного нездоровилось, он морщился и кривил губы больше обычного. На этот раз предстояло много дел..

Войдя в комнату, Людовик минуту помедлил, стараясь согреть озябшие старческие руки, потом дал знак

Оливье, что пора приступить к тому, что было намечено.

— Получены новые книги из типографии, ваше величество. А также приехал купец из Лиона,—негромко доложил Оливье.

— Начнем с книг,— решил король.

Оливье хлопнул в ладоши. Вошел слуга и положил книги на стол. Это были богато изданные тома священного писания, только что вышедшие из рук знаменитого мастера Ульриха Герингса, приехавшего из Германии.

Типографии впервые появились во Франции при Людовике XI. Король очень интересовался этим новым делом.

— Оливье, награди мастеров!

Окончив просмотр книг и сделав ряд замечаний об их оформлении и шрифте, король приказал позвать купца. Вошедший купец почтительно поклонился королю и поцеловал ему руку.

— Так, значит, ремесленники в Лионе начали выделывать шелковые ткани, как я им приказывал?

— Да, ваше величество,—поклонившись, ответил купец..

— А привез ли ты образцы?

Купец развернул небольшой узел и извлек оттуда несколько кусков шелка, засиявшего всеми цветами радуги. Король щурился, рассматривая шелка на свет, пробовал их на крепость.

— Эта ткань слишком узка,— заметил он ворчливо, и купец согнулся в глубоком поклоне.

Внезапно в коридоре, прилегающем к двери, послышался шум и торопливые шаги. Король вопросительно взглянул на Оливье. Тот быстро вышел узнать, в чем дело.

Вернувшись, он подал королю бумагу, привезенную гонцом. Король быстро развернул свиток и, не отрываясь, прочел его. По мере чтения лицо его светлело и становилось все более веселым. Прочтя бумагу до конца, не говоря ни слова, Людовик встал на колени и начал молиться. Оливье сделал знак купцу, чтобы тот вышел.

Король схватил Оливье за руки.

— Пресвятая дева! Пресвятая дева! Знаешь ли ты последнюю

новость, друг Оливье? — радость переполняла Людовика.— Мой дорогой родственник Карл наконец-то свернул себе шею! Он дрался со швейцарцами у Нанси и погиб. Труп его еле нашли! Мой верный Компобассо сумел вовремя ударить по Карлу!

Компобассо был один из военачальников Карла. Его подкупил Людовик, и в разгар битвы тот перешел на сторону швейцарцев.

— Ну, Оливье,— продолжал король,— ведь теперь у меня нет уж больше сильных врагов! Вели наградить как можно лучше гонца, принесшего мне столь счастливую весть.

Людовик торжествовал... На радостях он дал обед, пригласив на него всех вельмож, которых мог созвать. За столом он с таким удовольствием рассказывал о гибели герцога, что у оторопевших гостей останавливался кусок в горле.

Так, в 1477 году оборвалась жизнь Карла Смелого. Он был душой всех интриг, направляемых против короля и против единства Франции. Теперь Людовик XI мог, наконец, вздохнуть свободно. Основная территория Бургундии вошла в состав королевских владений. Объединение Франции было в основном закончено.

Необычайного могущества достиг Людовик. Вся Франция принадлежала ему. Побеждены были его враги, стране уже не грозили разорительные междоусобные войны сеньоров. Франция стала сильнейшим государством Европы.

В этой борьбе король сильно состарился, хотя ему не было еще 60 лет. Он поседел, черты его лица заострились. Одетый в старенькую потертую одежду, торопливыми, мелкими шагами, точно в лихорадке, расхаживал король по своей комнате. Высохшее некрасивое его лицо без бороды, с большим кривым носом над жесткими тонкими губами было иссечено сетью морщин. Только глаза все по-прежнему зловеще и пронизательно смотрели из-под нависших бровей. Было в нем что-то лисье. Все так же любил он запутанные интриги, еще с большей жестокостью расправлялся со своими противниками. Он перестал, как прежде, разъезжать по Франции. Прекратились посещения замков, выезды на богомолье и на охоту. Он почти безвыездно жил в своем любимом замке Плесси ле Тур, расположенном недалеко от города Тура, в долине реки Луары.

Сильно был укреплен этот замок. Он представлял собой настоящую крепость из серого, местами обомшелого камня. Три ряда зубчатых стен окружали королевскую твердыню. Над стенами высоко возвышались мрачные остроконечные башни, отчетливо вырисовываясь на голубом небе. Замок окружал глубокий ров, наполненный водой. Со скрипом опускаемый подвесной мост вел к тяжелым железным воротам с крепкими запорами.

Густой лес почти примыкал к замку. Но перед ним была оставлена свободная площадка, чтобы стража видела приближающихся. По всему лесу были вырыты волчьи ямы, расставлены ловушки, и не поздоровилось бы тому, кто захотел бы туда проникнуть.

На многих деревьях висели трупы. На стволах обычно вырезалась королевская эмблема — лилия, в знак того, что казнь совершена по велению Людовика. Это Тристан со своими подручными вешал тех, кого заподозрили в преступлениях против короля.

За много лье вокруг обходили этот замок местные жители, суеверно крестясь и боязливо озираясь.

В мрачные минуты Людовик посещал своих узников. Он спускался в сопровождении Оливье и Тристана в обширное сырое подземелье, расположенное глубоко под замком, где заключенные сидели в тяжелых железных клетках, едва достигающих в вышину человеческого роста. Три шага в длину, два в ширину — вот и вся площадь клетки. Некоторые клетки были настолько малы, что заключенные могли находиться в них только в полусогнутом состоянии. В такой клетке десять лет просидел кардинал Балю. Его выпустили, по приказанию Людовика, когда он стал уже совсем старым и слепым.

Людовик брел между клеток, осматривая заключенных, поднося факел к лицу пленника. Он громко разговаривал со своими спутниками, делая вид, что не слышит жалоб и стонов, раздающихся из клеток.

Часто расхаживал король по узким коридорам и полутемным залам своего замка. Почти никого не допускал он к себе; даже придворным стал труден доступ к нему. Кому мог довериться Людовик, видевший и сеявший в своей жизни столько измен, предательств и заговоров? И раньше про него говорили, что он носит всех своих советников на спине своего коня. Как паук, один плел он сети в своем уединенном углу. Его окружали лишь преданные ему люди. Выходцы из низов, ненавистные знати, всем ему обязанные, они получали от короля высокие чины и звания.

Часто и подолгу молился король, стоя на коленях и целуя оловянные иконки, прикрепленные к полям его шляпы. Он просил бога о том, чтобы тот продлил ему жизнь: наследник малолетен и слаб и, кажется королю, не сумеет удержать в руках государство, только что объединенное с таким трудом.

Устав от забот, опасений и тревожных дум, король пытался развлечься. Скромный в своих личных расходах, Людовик не жалел денег на приобретение какой-нибудь редкой птицы или диковинного зверя. Король порой целый день забавлялся охотой на крыс, дрессируя специально для этого собак, учил их выслеживать эту необычную для них дичь. Громко по пустым залам раздавался тогда лай собак и писк крыс. Но после такой мрачной забавы Людовик снова возвращался к государственным делам, стремясь по-прежнему лично руководить всем.

Король внимательно следил за судебными процессами и сам подписывал жестокие приговоры. Часто он, запершись в библиотеке, углублялся в изучение законов, читал книги, привезенные из Италии. Он хотел составить единое законодательство для всей

Площадь собора Парижской богородицы в XV веке.



страны, но так и не успел до своей смерти кончить этой работы. Многое сумел осуществить этот неутомимый, но жестокий человек. Франция перестала быть раздробленной страной. Ни один из феодалов уже не мог грозить войной королю или затеять ее с соседом. Никто не смел, как прежде, предлагать свои услуги английскому королю или сговариваться с германским императором.

Право объявлять войну или заключать мир отныне принадлежало исключительно королю. И только король Франции мог теперь вступать в переговоры с иностранными державами, принимать иноземных послов и направлять представителей Франции к чужеземным дворам. Людям конца XV века было ясно, что прошла та пора, когда каждый феодал считал себя независимым и делал все, что ему угодно. Но по-прежнему тяжким и несправедливым оставалось существование зависимого и угнетенного крестьянства, по-прежнему господствовал над деревней произвол сеньоров, интересы которых, как и в давние времена, оберегала королевская власть. Дорого обошлись деревне мероприятия Людовика, потребовавшие больших налогов. Богатые города поддерживали сильную королевскую власть своей казной и своими ополчениями.

Дальновидный Людовик XI понимал, что основой укрепления и расцвета Франции станет рост городов и их благосостояния, расширение торговли и промышленности. Он привлек в свою страну умелых итальянских мастеров, сделал Лион центром французского шелкоделия, поощрял книгопечатание, заботился об изготовлении более дешевых легких тканей. Стареющий король прилагал особые усилия к тому, чтобы нужные Франции металлы добывались в самой стране, чтобы в ней успешно развивалась металлургия. Людовик затевал создание средиземноморской торговой компании, надеясь отнять первенство у итальянских купцов.

Ширились королевские планы, но с каждым днем король все более дряхлел. Жизнь его оборвалась 30 августа 1483 года.

Это произошло много столетий назад. Китайский император гневался. А когда «сын неба» (так называли властителя Китая) изволил гневаться, ни один его подданный не мог быть спокоен за свою голову. Вот теперь император велел казнить гонца, прибывшего из Цзиньдэчжэня. В этом городе помещался императорский фарфоровый завод. Мастера его получили строгий приказ из Пекина: изготовить огромную вазу самой причудливой формы.

В сказании про эту вазу не говорится, зачем понадобилась она «сыну неба». Может быть, на потеху ему требовались новые уродцы. Их было немало при дворе императора и в домах китайских феодалов и чиновников. Далеко не все из них рождались такими. По приказу властителя в большую фарфоровую вазу сажали маленького раба, отнятого у матери. Младенец рос в вазе, и тело его приобретало такую же причудливую форму. Нормальный здоровый ребенок превращался в страшилище. Такие уродцы прислуживали на пирах. Императоры и феодалы хвастались ими перед своими гостями как диковинкой. Фарфоровая ваза — это чудесное создание человеческого гения — становилась орудием подлого преступления.

Мастера фарфорового завода, конечно, не знали об этом и честно старались выполнить пекинский заказ. Прежде всего они уверенно взялись за изготовление фарфоровой массы. Из чего же получалась эта масса?

Главная составная часть фарфора — такая же глина, из какой делают обыкновенные горшки. Конечно, на фарфоровом заводе можно использовать далеко не всякую глину. В природе есть глины, которые называют тощими, и есть другие, которые зовутся жирными. Тощие глины труднее поддаются формовке, но зато при обжиге формы изделия из этой глины почти не искажаются. К тощим глинам относится и каолин (что означает по-китайски «фарфоровая глина»). Слово «каолин» вошло в языки других народов. Откуда оно взялось?

По-китайски гаолин — это «высокие холмы». Так называется цепь невысоких гор в нынешней провинции Хэнань. В древности там и добывалась белая глина для производства фарфора.

Каолин имеет много достоинств.

Прежде всего он обладает белизной, Эта белизна отличает обожженный фарфор (до покрытия его глазурью, о чем пойдет речь ниже) от всех других глиняных изделий.

Но есть у каолина один большой недостаток. Даже при очень сильном нагреве он плохо сплавляется.

Поэтому, чтобы изготовить настоящий фарфор, одного каолина мало. Китайские мастера поняли это очень давно, но выход из положения нашли не сразу. На помощь китайским умельцам снова пришли родные горы. В Китае имеются залежи породы, которую называют «фарфоровым камнем».

Эта горная порода состоит из полевого шпата и кварца, камень имеет сероватый или желтоватый оттенок.

Если его раздробить и истолочь, а затем тщательно промыть порошок в воде, он становится белым, как очищенный от примеси каолин.

При очень высокой температуре (плюс 1800 градусов) фарфоровый камень плавится и приобретает такую же прозрачность, как стекло.

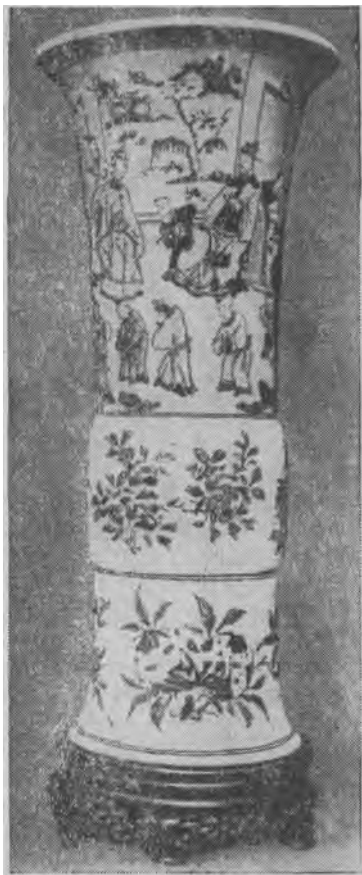
И если смешать молотый фарфоровый камень с измельченным каолином, то получится масса, которая отлично сплавляется. А фарфор из нее после обжига станет не только белым, но и прозрачным, звонким. Именно это и отличает его от всех других изделий из глины.

...Итак, когда в Цзиньдэчжэнь пришел императорский заказ, мастера принялись за дело. У них всегда был запас каолина.

Посмотрим, как происходила его обработка.

Сначала глину разминали, потом долго разбалтывали в чане, наполненном водой. Вода уносила разные примеси, а очищенная белая глина оседала на дно. Полученную таким образом массу затем прессовали. Этим приключения каолина, однако, не завершались. Глиняное тесто несколько лет хранили под землей. Благодаря этому оно становилось мягким и податливым.

Большие кирпичики фарфорового камня отправляли на фарфоровые заводы. Здесь в большом чане с водой их в размельчен-



Китайская фарфоровая ваза.

ном виде смешивали с глиняным тестом, извлеченным из-под земли.

Содержание чана пропускали через тонкое сито из конского волоса, а затем через мешок из плотного шелка и разливали в глиняные сосуды. Спустя некоторое время воду сливали. Влажную смесь заворачивали в полотно, клали на особый стол и прессовали кирпичами. Затем эту смесь перекладывали на каменные плиты и переворачивали деревянными лопатками, чтобы из нее легче было лепить нужные предметы.

Только после этого за фарфоровую массу принимались искусные китайские мастера. При помощи гончарных кругов и простейших токарных станков они изготовляли самые разнообразные изделия. Между гончарами существовало строгое разделение труда. Один сосуд проходил через руки семидесяти рабочих. Через столько же рук прошла и ваза, изготовленная в Цзиньдэчжэне по заказу императора.

Ваза, казалось, удалась на славу. Своей причудливой формой она напоминала сказочную птицу. Но до конца работы было еще далеко. Нужно было хорошенько просушить вазу, а на это требовалось около года.

По прошествии года вазу покрыли глазурью. Именно она после обжига делает поверхность фарфора гладкой, блестящей и непроницаемой. На императорских заводах изделия из фарфора расписывали выдающиеся художники.

После того как изделие было расписано, его помещали на несколько суток в печь, похожую на дом. Площадь этого «дома» составляла 120 квадратных метров, высота — 3 метра, глубина фундамента — 3 метра.

Изделия, приготовленные для обжига, ставили в коробки из огнеупорной глины, которым не страшен жар накаленной печи. Эти коробки и укладывали в печь.

Затем отверстие печи закладывали кирпичами и замазывали глиной. Открытой оставляли только самую топку. На верху печи имелось несколько небольших отверстий, закрываемых черепками. Их осторожно отодвигали, и опытный мастер внимательно следил за обжигом.

Обжиг продолжался несколько суток. Но и после того как он заканчивался, изделия приходилось оставлять в печи еще до трех суток; коробки из огнеупорной глины настолько накалялись, что проникнуть в печь сразу было невозможно. Когда же рабочие, наконец, входили в печь за готовым фарфором, им предварительно приходилось смачивать одежду холодной водой и надевать перчатки из десяти слоев ваты. А почему нельзя было еще повременить? Да потому, что жар, оставшийся в печи, надо было также использовать. После того как из неостывшей печи извлекали готовые изделия, в нее ставили новую партию фарфора, но уже не для обжига, а для подсушки.

В сказании говорится, что императорская ваза треснула во время обжига, при высокой температуре. Эту-то весть и привез в Пекин гонец, поплатившийся за нее головой.

Император послал на фарфоровый завод другого гонца со строгим повелением: изготовить не одну, а десять одинаковых ваз: если даже девять из них треснут при обжиге, одна все-таки украсит его дворец. Если же вдруг произойдет самое худшее и жар погубит все десять,— взysкать за это по всей строгости с мастеров: всем головы с плеч!

Когда приказ пришел на завод, мастера сначала не очень тревожились. Иные даже говорили, как милостив к ним император: ведь не может быть, чтобы все десять ваз не удачились.

Фарфоровую массу готовили еще тщательнее, чем в первый раз. А гончары и художники вложили в их создание все свое умение и искусство. Благополучно прошла и сушка. Миновал год, настало время обжига.

Чтобы не рисковать, мастера обжигали вазы не все вместе, а одну за другой. И тут на них обрушилась беда. Всякий раз, как рабочие выносили из печи готовую вазу, на ней оказывались большие трещины. Почему так получалось — никто не знал: то ли ваза была слишком велика, то ли причудливая форма делала ее хрупкой.

За первой вазой последовала вторая, потом третья, восьмая, десятая. И на каждой зияли трещины. В поселке фарфорового завода стоял плач и стон, как во время чумы или нашествия врага. Ибо никто уже не надеялся на десятую вазу. А на милость императора — и того меньше. Все знали, что он угрозу своим на ветер не бросает.

Не чаял остаться в живых и мастер по имени Пу Цай. Но он думал не о себе. Как и другие его соотечественники, Пу Цай верил, что общее дело, за которое человек пожертвует своей жизнью, непременно увенчается успехом.

И вот вместе с другими мастерами он молча, сосредоточенно смотрел, как ставили в печь десятую вазу.

Когда же печь раскалилась и начался обжиг, он стремительно рванулся к открытой топке и, что-то крикнув товарищам, бросился в ее пылавшую пасть и исчез в пламени.

Спасти Пу Цая было невозможно. От героя-мастера в затухавшей печи осталась лишь кучка пепла. Рабочие в одежде, облитой холодной водой, высвободили из огнеупорных коробок ту вазу, ради которой погиб Пу Цай.

На ее блестящей поверхности не было ни трещинки. Ваза украсила собой в Пекине императорский дворец. Мастерам сохранили жизнь. Всем, кроме одного, погибшего за товарищью, за общее дело. Специальная доска с высеченной на ней надписью увековечила память о герою.

Пу Пай, однако, жил только в сказании. Но сказание это —

не просто вымысел! В нем отразилась вся многовековая история китайского фарфора: и тяжелый самоотверженный труд умельцев, и благородство народных мастеров, и низость их правителей.

Китайские мастера росписи фарфора выработали для выражения своих чувств условный язык: так, кисть винограда или бамбук означали почтение к старости; две рыбы, плывущие навстречу одна другой, олицетворяли любовь и верность.

Художники Китая запечатлели на фарфоре любимых героев. Одним из них был поэт Ли Во. Жил он в VII веке нашей эры, но стихи его известны во многих странах и поныне. Его современники — императоры и феодалы прославляли войну, считали ее почетным делом. А поэт Ли Во ненавидел войну, как все крестьяне и ремесленники.

В одном из своих произведений поэт писал:

Над полем боя
Солнца диск взошел.
И птицы
Человечину клюют,
Опять на смертный бой
Идут солдаты.
Здесь воздух
Неподвижен и тяжел,

И травы здесь
От крови лиловаты.
Так обжираются —
Взлететь не в силах.
Те, кто вчера
С врагами бились тут,
Сегодня под стеной
Лежат в могилах...

Правители Китая преследовали Ли Во. Он был приговорен к смертной казни, которую заменили ссылкой в отдаленную область.

Народные художники не могли открыто и прямо выразить свое сочувствие поэту. Они изобразили Ли Во на фарфоре плывущим в лодке с книгой в руке, задумчиво глядящим на воду.

Любимым героем китайских художников, расписывавших фарфор, был и знаменитый путешественник Чжан Цянь, который во II веке до нашей эры вместе с Ганьфу открыл дорогу из Китая в Среднюю Азию (из ста участников экспедиции в Китай вернулись только двое названных). Эта дорога вскоре стала важным торговым путем. Усилия других народов продолжили этот путь до Средиземного и Черного морей.

И так как главным предметом торговли в ту пору являлся китайский шелк, дорогу, связавшую Китай с Западом, прозвали «Великим шелковым путем».

Китайцы первыми стали получать шелк и вырабатывать шелковые ткани, прославившие подлинным произведением искусства. Древнейшие образцы шелка были найдены в захоронениях V века до нашей эры. Около 200 года до нашей эры шелководству научились ближайшие соседи Китая — корейцы, из Кореи оно перешло в Японию. Триста лет спустя шелководством начали заниматься крестьяне Передней Азии. И лишь в XIII веке шелк стали выделывать в Италии — в то время передовой стране Западной Европы.

Так сложилось потому, что вывоз готовых тканей приносил огромные доходы властителям Китая, и они ревниво оберегали от других народов секреты шелководства и шелкопрядения.

Но еще упорнее оберегался секрет получения фарфора. Даже в самом Китае лишь очень немногие знали, из чего и как делается фарфор.

Разглашение каких-либо сведений о производстве фарфора неизменно каралось смертью.

Даже в соседних с Китаем странах настоящий фарфор научились делать очень поздно — не ранее XIV века в Корее, не ранее XVI, а быть может, и XVII века в Японии. Между тем в Китае полноценный фарфор появился уже в VII—IX веках.

Европейцы долгое время не знали, из чего вырабатывается фарфор. На этот счет ходили всякие небылицы. Еще и в XVII веке в Западной Европе рассказывали и писали, будто фарфор делается не то из морских ракушек, не то из яичной скорлупы.

Загадочный фарфор наделяли самыми чудодейственными свойствами. В средние века короли и знатные вельможи иной раз потчевали своих гостей отравленным вином. Они рассчитывали таким путем завладеть землями погубленного ими человека. Считалось, однако, будто фарфор способен обезвреживать любой яд. Поэтому, если вино подавалось в фарфоровых чашах, гости, не боясь подвоха, охотно пили из этих чаш за здоровье хозяина. А от золотого или серебряного кубка нередко отворачивались, ссылаясь на недомогание.

Но, конечно, в этом заключалась не единственная и даже не главная причина увлечения фарфоровыми изделиями. Нетрудно понять, насколько фарфоровая посуда удобнее металлической!

По-разному называют фарфор на различных языках. Большинство этих названий указывает на китайское их происхождение. Всего заметнее это в английском названии «чайна». Ведь слово это по-английски означает одновременно и «фарфор» и «Китай».

Выяснилось, что русское «фарфор» происходит от среднеперсидского «фагфур». Так называли фарфор арабские и иные купцы, вместе с другими товарами привозившие на Русь и китайскую посуду. На среднеперсидском языке «фагфур» означало «сын бога». Так величали в Иране китайского императора, носившего гордое звание «сын неба».

Из средневековых летописей и сказаний видно, как высоко ценился фарфор вне Китая. В странах Среднего Востока китайский фарфор появился уже в IX веке. Гроза захватчиков-крестоносцев султан Салах-ад-дин (Саладин) послал в награду своему любимому полководцу как лучший дар своей сокровищницы не золото, не бриллианты, а 40 изделий из китайского фарфора.

Недаром в XIV веке о фарфоровых изделиях говорили, что они голубые, как небо, блестящие, как зеркало, тонкие, как бумага,

и звонкие, как музыкальный инструмент. Талант и смекалка открывали перед художниками все новые и новые просторы.

В Европе фарфор по стоимости мало уступал золоту. Богатые и знатные дамы даже носили ожерелья из фарфоровых черепков. Владетель Саксонии отдал королю Пруссии целый конный полк в обмен на несколько приглянувшихся ему китайских ваз.

Чем выше ценился фарфор за пределами Китая, тем более выгодно было правителям Китая — императору, феодалам, купцам, рабовладельцам — сохранять в строгой тайне способы изготовления этого драгоценного материала. Его продажа приносила им баснословные барыши. Один лишь императорский завод в Цзиньдэчжэне ежегодно отправлял в столицу Китая 3 тысячи блюд, 16 тысяч тарелок и 18 тысяч чашек, расписанных цветами и драконами... Целое состояние! А ведь в ту пору мастера и художники по фарфору жили в нищете и умирали от тяжких заболеваний, подкошенные работой у раскаленных печей и в пропитанных мелкой фарфоровой пылью мастерских.

Не удивительно, что гончары и химики Западной Европы не щадили сил, чтобы создать собственный фарфор, а короли и герцоги не скупались на подачки и угрозы, обещая то мешки с золотом, то тугую пеньковую петлю.

Казалось, что знаменитый и драгоценный «китайский секрет» (тайну изготовления фарфора) проще всего похитить у китайских мастеров. Дело это было хитрое. Не мудрено, что для его выполнения привлекли пронырливых монахов-проповедников. Предание гласило, что именно они в свое время выкрали из Китая яйца бабочки-шелкопряда и семена тутового дерева (листья его служат пищей шелковичному червю), ухитрившись спрятать то и другое внутри своих дорожных посохов.

Французский монах д'Антреколь сумел не только пробраться на императорский фарфоровый завод, но и заполучить образцы сырья, из которого там изготавливали фарфор. Однако и этот ловкий хитрец не смог раскрыть всю тайну. Бесплодные попытки похитить «китайский секрет» задержали его открытие. Оно стало возможным лишь в XVIII веке, когда за дело взялись не хитрецы-монахи, а люди труда, люди науки. Именно они и в Западной Европе ¹ и в России, независимо друг от друга, раскрыли загадочный состав фарфора и вполне самостоятельно изобрели верный способ его изготовления. И так как в их распоряжении не было чудесного «фарфорового камня», они заменили его смесью кварца и полевого шпата.

В Саксонии, Франции, России нашлись умельцы, применившие новые рисунки, образы, краски, придавшие фарфору новый облик.

¹ О том, как упорным трудом молодого европейского исследователя был, наконец, раскрыт «китайский секрет», рассказывает интересная книга писательницы Е. Я. Данько «Китайский секрет».

Пока еще ничего не изменилось в жизни Гансика. Он мог по-прежнему развлекаться и до обеда и после обеда. Мог подбирать в отцовской мастерской кусочки ремешков и обрезки разноцветной кожи. Если неторопливо разложить их на крыльчке, получаются затейливые узоры. Верхом на палочке можно проскакать по тихой, заросшей травой улочке, рысью обогнуть церквушку святого Якоба, именем которого эта улочка названа, и очутиться на пустыре, отлого спускающемся к речке. Там наверняка встретишь приятелей.

Не плохо бы и сегодня побегать с ними наперегонки, поиграть в жмурки или, собрав мохнатые шарики репейника, затеять перестрелку. Обо всем этом Гансик подумал, выйдя на крыльцо, но все эти планы сегодня его совсем не привлекали. Что же изменилось?

Не изменилось, но очень скоро изменится! Ведь с будущей недели, так сказал отец, Гансик будет ходить в школу господина бакалавра Рингеля. Отец показал ему издали будущего учителя. Он высокий, сухопарый, в коричневой рясе, с откинутым назад капюшоном, вероятно, строгий, а может быть, и злой!.. Все переменится и будет не до игр. ...Даже сейчас как-то не хотелось играть. Гансик задумался. Он уже вчера успел сообщить товарищам о предстоявшем поступлении в школу. У речки, на обточенных водою до блеска деревянных мостках, состоялся совет мудрецов: рыжий Тиль и Вилли в один голос заявили, что в школе скука и Гансику некогда будет ни поиграть, ни половить рыбу. Но особую тревогу вызвали слова бывалого Фрица, ученика сапожника, который, презрительно сплюнув и для пущей важности помолчав, мрачно объявил, что Гансику скоро «будет не на чем сидеть», так как розга учителя лишит его этой возможности.

Конечно, Гансик и виду не показал, что испугался, он даже храбро расхохотался, однако слова Фрица не выходили из головы. Было над чем задуматься... Гансик уселся на крыльце, а когда к нему подошел дворовый пес Браун, он доверчиво поделился с ним своими горестями.



Учитель с розгой. Средневековый рисунок.

Браун воспринял тревоги молодого хозяина сочувственно, и, хотя он очень выразительно вилял хвостом и встряхивал длинными ушами, Гансик не смог понять, что, собственно, ему советует четвероногий друг. Услышав, что его зовут обедать, Гансик со вздохом сказал Брауну: «Знаешь, я еще поговорю с отцом, может быть, он согласится не отдавать меня в школу... Разве я не могу без всякой грамоты стать таким же шорником, как отец?»

Умыв руки, наспех бормоча молитву, усаживаясь за стол, Гансик размышлял над тем, каким путем начать разговор с отцом так, чтобы не рассердить его, а расспросить и, может быть, поколебать отцовское решение.

Пока шел обед, Гансик ничего путного не мог придумать. К тому же отец не любил разговоров за столом. Когда трапеза закончилась, отец внимательно посмотрел на сына. «Вымой хорошенько лицо и уши да причешись,— сказал он,— мы с тобой сейчас пойдем к портному, надо тебя приодеть, чтобы ты выглядел не хуже других школьников».

Полученное распоряжение свидетельствовало о бесповоротном принятом решении, и Гансику стало ясно, что отныне он школьник!

И вот оба Рурбаха — мастер шорного дела Иоганн и его сын — степенно шагали по улице... И тут Гансик решил. Запинаясь, еле сдерживая волнение, он напрямик спросил отца:

— А что, отец, очень нужно поступать в школу?

Рурбах-старший на мгновение остановился, внимательно посмотрел на сына и сказал с глубокой убежденностью:

— Конечно, сынок! Ты думаешь,— продолжал он,— что ремесленнику можно обходиться без всякой грамоты? Однако, сынок, нашему брату она очень, очень нужна, и я крепко жалею, что деревенский священник, который кое-чему учил меня в детстве, не обучил меня грамоте.

Заметив недоумение сына, отец пояснил:

— Видишь ли, в моей деревне, как и в сотнях других деревень, никто, кроме священника, отродясь не держал в руках ни одной книги. Да и священник обычно пользовался лишь молитвенником и очень редко заглядывал в какую-нибудь книгу. Библия да не-

сколько рукописей лежали всегда на запоре в дубовом попитре подле алтаря, и отпирали это хранилище только по большим праздникам.

— Чему же вас учили? — перебил отцовскую речь Гансик.

— А учили нас, как говаривали в то время, «с голоса» — по воскресеньям священник собирал нас, мальчуганов, и заставлял много раз подряд внятно повторять за собою слова молитв. Тех, кто был посмышленее, он принуждал таким же образом заучивать псалмы — церковные песни. Их напев был красивым, он сам собой врезался в память, а заодно с ним запоминались и мудреные, непонятные латинские слова. У меня,— продолжал он,— тогда был тоненький голосок — дискант, и я выводил самые высокие ноты. Священник при торжественной службе пользовался нашим мальчишеским хором. Я и до сих пор помню некоторые псалмы. Хоть голос мой и огрубел, но стоит мне попасть в церковь в день праздничного богослужения, и я невольно начинаю про себя подтягивать ребячьему хору, ну, разумеется, так, чтобы было не очень слышно...

И, как бы спохватившись, мастер Иоганн с горечью заметил:

— Суди сам, много ли толку от учения, которое я получил от деревенского попа. Долбить наизусть молитвы да распевать псалмы — вот все, чему нас научили... Сказывают,—добавил он,—что и вас этому непременно научат, да вся штука-то в том, что не только этому!.. Вас научат читать, писать и считать! — воскликнул отец с большим воодушевлением.

— А какой от этого толк шорнику либо сапожнику и портному? — снова перебил его Гансик.— Ты ведь считаешься хорошим шорником и без всякой грамоты!.. Чем бы тебе помогла грамота, если бы ты ее знал?..

— Ах, Гансик,— возразил отец,— ну, представь, взял бы я, к примеру, больше заказов, нанял бы подмастерьев да завел учеников,— посуди сам, как бы я смог без знания грамоты вести все нужные расчеты и записи?.. Ты смекни: ведь иные мастера становятся купцами, едут в дальние края, покупают там сырье, продают в заморской земле свой товар с большой выгодой и при этом составляют нужные грамоты, ведут всему правильный счет, подписывают договоры, выдают расписки...

Неграмотного человека обведут вокруг пальца, обманут, да он и сам не возьмется быть купцом... Да разве обязательно быть купцом либо ремесленником?.. — Задав этот вопрос, мастер Иоганн остановился и, обводя широким жестом руки невидимый, скрытый за домами тесной улицы горизонт, ответил на собственный вопрос:

— Ты оглянись вокруг: разве не лучше живется священнику, юристу, судье, ученому советнику, городскому секретарю или казначею? А ведь это, сынок, все грамотеи! Среди них встречаются

и нам подобные — сыновья простых ремесленников, сумевшие постигнуть науку, не побоявшиеся школьных трудов!..

Гансик ощутил на своем плече отцовскую руку, почувствовал взволнованность отца, который наклонился к сыну и, заглядывая ему в глаза, почти шепотом произнес:

— Крепко мне хочется, чтобы мой Гансик одолел грамоту, изучил со временем университетскую науку и стал ученым и почтенным человеком!.. Смотри, — прервал он себя, — мы с тобой уже у дверей портного...

Спустя четыре дня портной, как и обещал, прислал новенький костюм. Гансик частенько подходил к старому резному шкафу, тихонько растворял его скрипучие створки и любовался обновкой. За этим занятием его однажды и застал отец.

— Ганс, — сказал он серьезным тоном, — завтра утром всех школьников собирают у ворот святой Магдалины. Ляжешь пораньше, а поутру я тебя разбуду. Только новый костюм одеть еще не придется, — добавил он как бы нехотя, — оденешь что-нибудь старенькое!

— А куда нас поведут и что мы будем делать? — поспешно спросил Гансик, удивленный и словами отца, и тем, что тот впервые назвал его не Гансиком, а Гансом...

— Больно любопытный, — отмахнулся отец, — поведут куда надо!..

Весь вечер Гансик размышлял над загадочной целью предстоявшего путешествия. Но как ни ломал он голову, ничего не понял. Улегшись в постель и сладко зажмурившись, Гансик не переставал мечтать о шумном общегородском сборище всех школьников, где будет и он... Но как ложка дегтя в бочке с медом, досаждала мысль о том, что завтрашнее торжество будет омрачено запрещением одеть новенький костюм...

Рано утром отец разбудил Гансика, мать накормила его сытным завтраком и одела на его плечо перевязь холщовой торбы, набитой всевозможной снедью. Видно, предстоял либо долгий путь, либо немалый труд.

У ворот святой Магдалины толпилось множество мальчиков и подростков. Там и здесь мелькали фигуры учителей, оживленно размахивавших руками и скликавших своих учеников. Отец Гансика вскоре заметил бакалавра Рингеля и подвел к нему оробевшего сына. Представление заняло не более двух минут. Учитель подозвал школьника чуть постарше, вложил в его руку руку Гансика и наказал последнему всюду следовать за старшим товарищем и делать все, что станет делать тот. Когда Гансик оглянулся, отца уже не было.

Всюду стоял несмолкаемый шум. Прошлогодние школьники, впервые встретившись после летних каникул, радостно приветствовали друг друга, без умолку болтали и даже кувыркались за спинами учителей.

Школьник, которого назначили покровителем Гансика, подвел его к группе молчаливо стоявших и растерянных новичков и, наказав не отходить от них, поспешил к своим друзьям.

Бакалавр Рингель, тощий как журавль, близоруко щурился и, сбиваясь со счета, несколько раз безуспешно пытался пересчитать свою маленькую армию. Убедившись, что это нелегко сделать, он приказал всем стать в ряд и не двигаться. Тем временем площадь, примыкавшая к городской стене и воротам святой Магдалины, начала пустеть. Учителя один за другим уводили свои отряды, растянувшиеся в шумную колонну, уходившую к синевшему вдаль лесу.

Вслед за другими повел свой отряд и бакалавр Рингель. Гансика разбирало любопытство. Он давно собирался спросить, куда ведут школяров и что им предстоит делать. Но непривычная застенчивость мешала ему обнаружить свою неосведомленность. Шагавший рядом мальчик незаметно толкнул его локтем и задал тот самый вопрос, который не отважился поставить Гансик. Оставалось озадаченно передернуть плечами и пробормотать: «Не знаю!»

К полудню школяры миновали лес, опушку, снова вошли в лесную чащу и через некоторое время ощутили сырость, которой повеяло от реки. Не доходя до нее, Рингель остановил свой отряд и, вытянув руку по направлению к скрывавшим реку кустам, сказал:

— Вот эту лозу будете срезать и сносить к дубу, где я остановился. Здесь и складывайте. Старшие школьники покажут новичкам, как действовать, с богом!..

Все направились к берегу. Глядя на старших товарищей и подражая им, Гансик и другие новички старательно пригибали к земле красноватые стебли густо разросшегося лозняка и, склоняя их то в одну, то в другую сторону, с трудом рассекали ножами сочные, неподатливые волокна прутьев. Потом, охватив руками пахучую охапку, они волокли ее к дубу и складывали у ног сидевшего на большом корневище учителя. Прошло часа три, и понежному там выросла внушительная красновато-зеленая куча.

По знаку Рингеля работа прекратилась. Раскрасневшиеся, усталые труженики уселись у дуба, извлекли прихваченные из дому припасы и принялись их с аппетитом уплетать. За завтраком последовал отдых. Однако никому не хотелось ни сидеть, ни лежать. В лесу было куда легче прятаться и гораздо занятнее искать друг друга, чем в тесных дворах, где все было хорошо известно и привычно. Рингель благодушно глядел на расшалившихся питомцев. А те, поощряемые его улыбкой, затеяли игру.

Школьник, усевшись на спину другого, становился рыцарем. Вступая в поединок с другим таким же рыцарем, он либо пытался опрокинуть его вместе с «конем», либо норовил стащить противника на землю. Окружающие весело ободряли соперников воз-

гласами и жестами и сами торопились сменить сражавшихся на лесной арене. Кто-то собрал и поджег валежник, и смельчаки поочередно прыгали через костер.

Наконец Рингель подал команду собираться в обратный путь. Появились веревки, и всю кучу лозы разобрали на отдельные туго перехваченные вязанки. Их взваливали на спину и по очереди несли неунывающие путешественники. Пришлось и Гансику подставить спину. Ощувив на ней ношу и удерживая обеими руками поданный ему конец веревки, он, наконец, осмелился робко спросить:

— Куда, зачем мы все это уносим?..

Раздался дружный хохот. Тот самый школьник, заботам которого учитель поручил Гансика, ответил вопросом:

— А что тебе будут всыпать вот сюда?..— При этом он со всего размаха огрел ладонью Гансика ниже того места, на котором покоилась вязанка прутьев.

Полученное разъяснение ошеломило Гансика. Его разом захлестнуло чувство горькой обиды, и на ресницах застыли росинки слез. Но он мужественно сжал зубы, не проронив ни звука.

То, что его станут наказывать розгами, казалось страшно оскорбительным именно потому, что дома Гансика никто не бил. Он с благодарностью подумал о своем отце, который разговаривал с ним то ласково, то строго и при этом всегда так обстоятельно разъяснял свои отцовские требования, что Гансику было как-то стыдно их нарушить и тем самым обидеть отца.

Сгибаясь под охапкой лозы, Гансик впервые подумал о том, что его отец — очень добрый человек. И тут же возник вопрос: как мог этот добрый человек послать своего Гансика туда, где его ожидает розга?.. Этот вопрос снова принес с собою чувство непереносимой обиды.

Когда Гансик освободился от своей ноши, с ним поравнялся опекавший его школяр. Решив продолжить свои пояснения, он важно и напыщенно произнес:

— Хоть ты и участвовал в нашем осеннем празднике, но, как видно, ничего не знаешь,— и, назидательно подняв палец кверху, он продолжал: — Подобно тому, как праздник виноделов зовется «Винодемия», наш праздник именуется «Виргадемия», и считается, что оба праздника сродни один другому. Латинским словом «вирга» обозначаются розги. Говорят, что вино веселит сердце человека, а припасенные нами розги, по свидетельству учителей, помогают нашим успехам и идут на пользу нашей науке.

Гансик почувствовал, что его собеседник щеголяет чужими заученными словами, пытаясь показаться более взрослым и ахти каким ученым. Но Гансик постарался точно запомнить услышанное, чтобы самому разобраться в прозвучавших странных словах.

Настал, наконец, и первый день школьной жизни Гансика. Ложась накануне спать, он боялся, что проспит и опоздает в шко-



Школьники выходят из леса.

лу. Но опасения оказались напрасными. Какая-то сила раньше, чем нужно, будто встряхнула его и заставила, еще не совсем проснувшись, сесть в постели. Вместе с биением сердца нахлынуло чувство внезапно наступившей тревожной перемены. И тут же вспомнилось: надо идти в школу.

В доме уже не спали. В углу на сундучке ждал своего хозяина тщательно разложенный новый костюм. Утро прошло быстро! Провожая Гансика, мать старательно одергивала на нем то рукава, то полы камзольчика и при этом тяжко вздыхала, словно ее сыну предстояло дальнейшее и опасное путешествие.

Ведя Гансика за руку, отец наказывал ему примечать путь, чтобы самостоятельно найти обратную дорогу. Желая ободрить юного ученика, Рурбах-старший заговорил о его учителе. Он начал с того, что давно знает Рингеля как своего земляка и сверстника, который и в юные годы считался добрым парнем.

Вот и теперь Рингель, едва услышав о том, что не так-то легко разом выложить плату за обучение Гансика, охотно пообещал повременить до той поры, когда нужная сумма будет собрана.

— Видишь,— сказал он сыну,— какой добрый человек твой учитель! — и, положив руку на плечо сына, добавил: — Я это к тому говорю, чтобы ты зря не обижался на своего учителя, когда ему доведется тебя наказывать. Ты помни, что без наказания нет познания, без мученья — нет ученья!..

Слова, которыми закончилось отцовское напутствие, возымели совсем не то воздействие, на какое рассчитывал Рурбах-старший. Они не приободрили начинающего школьника, а заставили его, напротив, опустить пониже голову, чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы.

Оказавшись у цели путешествия, Гансик невольно остановился и удивленно вскинул взор на отца. Перед его глазами на деревянном щите, прибитом над дверью, красовалась намалеванная красной краской большущая бычья голова.

— Не удивляйся,— пояснил отец,— весь первый этаж занимает лавка мясника. Об этом-то и сообщает нам бычья голова!.. А мы с тобой поднимемся по боковой лестнице и попадем куда следует.

Школьное помещение занимало второй этаж над лавкой мясника. То была продолговатая двухсводчатая комната. Ее средняя часть разделялась тремя арками, покоившимися на гладко обтесанных деревянных столбах. На них в тяжелых подсвечниках желтели толстые восковые свечи.

В одном конце школьного помещения находилась входная дверь, а в противоположном темнела высокая кафедра. Позади нее виднелась дверца каморки, служившей школьной кладовой.

Занятия еще не начинались, и вошедшим сразу же бросилось в глаза, что ученики разбились на две группы, заметно отличавшиеся друг от друга. С одной стороны бойко перешептывались прошлогодние школьники, непринужденно расположившиеся на скамьях и спешившие обменяться впечатлениями и новостями. По другую сторону арок в напряженном ожидании стояли такие же новички, как Гансик. Они молчаливо озирались, не решаясь заговорить и явно не зная, как себя держать и что делать.

Легкий толчок заставил Гансика присоединиться к этой группе. Оглянувшись, он успел заметить, как закрылась дверь за удалившимся отцом. Окинув взглядом комнату, Гансик сосредоточенно уставился на учителя. Бакалавр Рингель спокойно стоял за кафедрой. Слегка барабая пальцами по темному переплету лежавшей на кафедре книги, он явно чего-то ожидал. Его взгляд время от времени отрывался от учеников и обращался к окну. Так длилось несколько минут, пока тишину не нарушил громкий бой башенных часов. Ожидавший этого сигнала бакалавр Рингель внятно произнес:

— С божьей помощью начнем!..

По его знаку один из старших учеников вышел к кафедре и торжественно прочитал молитву, при первых словах которой все поднялись со своих мест.

Внимание Гансика рассеивалось: арки и поддерживавшие их столбы как бы делили школу на два класса, и каждый из них жил своей жизнью. Надо было очень внимательно слушать учителя и выполнять все его требования, обращенные к новичкам, и в то же время жгучее любопытство заставляло хотя бы краешком глаза пристально следить за тем, что происходило в другой половине комнаты...

Это раздвоение внимания, при непривычке к школьному труду, очень мешало, но любопытство было совершенно непреодолимо!

Сразу же после молитвы учитель сказал новичкам:

— Сидите тихо и ждите!.. Я дам задание старшим, а потом займусь вами.

Ученик, только что читавший молитву (позже Гансик узнал, что это был дежурный), отправился в кладовую, откуда вынес одну за другой две большие пачки навощенных дощечек. Их мгновенно расхватили его товарищи. Раздался голос учителя:

— На левой стороне каждой дощечки написаны буквы, которые вам уже знакомы. Рядом с ними на правой стороне пустое место. Возьмите в руки грифели и подле каждой написанной мною буквы напишите точно такую же букву собственной рукой. Не торопитесь, выводите тщательно все линии, постарайтесь, чтобы начертанные вами буквы ничем не отличались от написанных мною. Начинайте и не смейте шуметь!

Головы учеников старшей группы склонились над дощечками. Некоторые сосредоточенно выписывали буквы, другие, вытягивая шею, заглядывали через плечо товарища в дощечку соседа. Шум сразу смолк. Кое-кто, усердствуя, даже высунул язык... Наблюдения Гансика поневоле прервались, так как учитель остановился возле скамеек, на которых сидели новички, и велел им, не отвлекаясь, смотреть на него и, вслушиваясь в каждое слово, повторять за ним вслед слова латинской молитвы.

Заняв место у кафедры, громким голосом, медленно чеканя каждый слог, Рингель начал нараспев читать молитву «Патер

ностер» («Отче наш»). Первоначально ничего не получалось. Повторяя вразброд непривычные звуки, не понимая слов, новички то спешили, то отставали. Тогда пришлось вызвать одного из новичков и предложить ему повторять слова молитвы следом за учителем. В устах учителя чуждые слуху немецких школьников латинские слова звучали непривычно твердо и ясно. Повторяемые учеником, те же слова вдруг приобретали странно искаженное звучание. Менялись гласные буквы, на немецкий лад смягчались согласные.

Чтобы добиться правильного произношения, Рингель заставил вспотевшего от усилий мальчугана десять раз кряду повторить два первых слова молитвы, а затем таким же точно образом два следующих слова, добиваясь верного звучания.

После отдельного повторения двух первых и двух последующих слов потребовалось повторить все четыре слова вместе. Оказалось, что ученик не смог удержать их в памяти и сумел повторить четыре слова кряду только вслед за учителем.

Однако Рингель был настойчив. За первым настал черед другого ученика, а потом и третьего. Все трое, один после другого, повторяли сначала два первых слова, потом два вторых и, наконец, все четыре вместе. Все это делалось для того, чтобы новички вслушивались в произносимые слова, привыкали к многократно повторяемым звукам и таким путем запоминали начало заучиваемой молитвы. Так прошло довольно много времени. Сначала новизна всего происходившего заставляла напрягать внимание, но вскоре семилетние школяры устали. Слова непонятной речи, повторяемые снова и снова, были похожи на надоедливый и унылый осенний дождь.

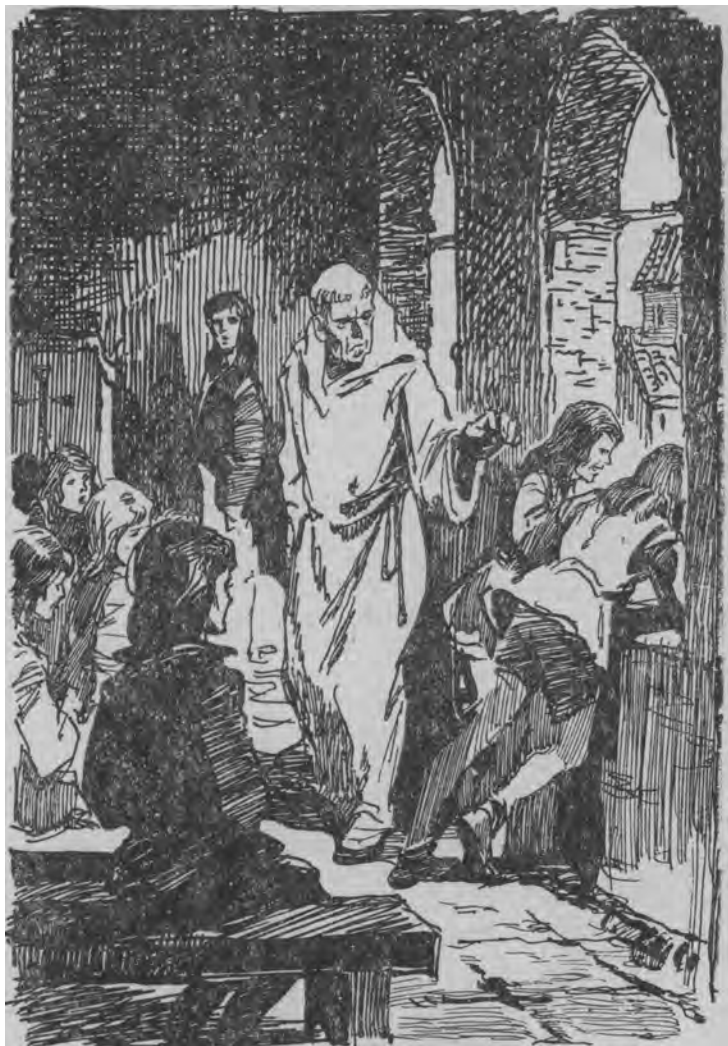
Незадачливые латинисты начали вертеться на скамьях и смотреть по сторонам. Внимание одного, другого и третьего привлекло окно, выходящее во двор. Там и в самом деле происходило нечто интересное.

К железным кольцам, крепко вбитым в стену, было привязано несколько животных. Сначала на привязи стояли три коровы. Занятые жвачкой, они были безучастны ко всему, что их окружало. Через некоторое время появился огромный бык. Из дверей лавки вышел мясник, о чем-то потолковал с доставившим быка крестьянином, после чего они оба старательно привязали быка и скрылись за дверью лавки.

Поведение животных казалось гораздо интереснее непонятных слов заучиваемой молитвы. Оно заинтересовало не только новичков, но и старших школьников.

К счастью, Рингель так усердно чеканил повторяемые слова, что не заметил тех незримых нитей, которые вдруг протянулись от окна к ученическим скамьям.

Все дело испортил бык... Сначала он самым непростительным образом огласил двор негодующим мычанием, разом заглушившим



«На месте преступления!»

все звуки латинской речи. Затем бык грозно потряс головой, пытаясь стряхнуть цепь, потом уперся всеми четырьмя ногами, натянул цепь и вырвал ее вместе с кольцом из стены. Освободившись, он в недоумении постоял с минуту и, наконец, стал буйно метаться по двору...

Зрелище стало особенно интересным, когда мясник с помощниками выбежали на шум из лавки и помчались затворять ворота,

чтобы отрезать беглецу путь возможного отступления... Успеют они или не успеют закрыть ворота?..

В классе сразу раздалось несколько возгласов, не имевших никакого отношения ни к латыни, ни к молитве. Двое мальчуганов, в порыве пылкого любопытства, бросились к окну, разом забыв и о школе, и об учителе...

Ученик, стоявший у кафедры, замолчал, оставшись стоять с разинутым ртом... Бакалавр Рингель побагровел от возмущения. Медленно поднявшись с места, он неслышной поступью подкрался к окну и стремительно схватил за ворот сначала одного, а затем и другого нарушителя порядка. Быстрым движением он швырнул их на скамью, которая тотчас очистилась под его повелительным взглядом. Слов не понадобилось. Рассерженный учитель взглянул на дежурного, движением головы отдав беззвучное распоряжение. Дежурный молнией метнулся в кладовую и мгновенно возвратился оттуда с розгой, тут же перешедшей в руки Рингеля.

Прижав провинившегося левой рукой к скамье, Рингель деятельно орудовал правой, в которой мелькала то взлетающая вверх, то падающая вниз розга. Той же участи, вслед за первым, подвергся и второй виновник беспорядка.

Закончив наказание, бакалавр неторопливо поднялся на кафедру, отослал на место ранее отвечавшего ученика и вызвал трех других, которых заставил медленно и отдельно хором повторять четыре первых слова молитвы. Затем были вызваны трое других, в их числе и Гансик. Подобно предыдущим, вновь вызванные смотрели бакалавру Рингелю в рот, пытаясь точно повторять все вылетающие оттуда звуки.

Дело ладилось плохо. Гансика настолько взволновало зрелище порки, что он поминутно сбивался и, видя, как досадливо хмурится учитель, испуганно умолкал. Но, видимо, и сам Рингель не был расположен вновь прибегать к розге. Он сызнова повторял одни и те же слова и с той же терпеливой настойчивостью добивался их верного произнесения.

После этого был вызван дежурный. Ему было приказано произносить первые слова молитвы, а новичкам хором повторять их. Избавившись таким образом от новичков, Рингель перешел на другую половину помещения и занялся рассмотрением латинских букв, выведенных старшими учениками на покрытых воском дощечках. Время от времени он поднимал ту или иную дощечку, показывая ее всем, и либо одобрял написанное, либо критиковал нацарапанные на воске каракули, сравнивая их с образцом, начертанным им самим.

Вскоре урок закончился, и Гансик медленно побрел домой. Ему не часто доводилось ходить по городу. В тех случаях, когда отец и мать брали его с собой, они мешали ему глазеть по сторонам и не разрешали задерживаться у какой-либо привлекшей его внимание диковинки.

Теперь, идя без провожатых, будучи, наконец, самостоятельным школьником, он вполне мог удовлетворить свое любопытство. Вот бросился ему в глаза большой позолоченный крендель над дверью булочника, а дальше, в тесном переулочке, он заметил висевшие по одной и по другой его стороне два деревянных сапога. Один был синий, а другой ярко-желтый. То были вывески сапожников: издали заметные и одинаково понятные всем.

Гансик подумал, что сапог над дверью можно было бы заметить доской, на которой бакалавр Рингель, вероятно, сумел бы большими буквами написать два слова: «Мастерская сапожника». Но собственная мысль сразу же показалась Гансику смешной и нелепой. Ведь буквы, изображенные на доске, могли бы прочитать одни лишь священники и учителя, да разве еще студенты и школьники — те, что постарше, ну и, пожалуй, еще те грамотеи, о которых говорил отец, и уж наверняка никто больше...

Очень занятыми показались мастерская цирюльника и висевшие над входом в нее таз и нож, — но ноги пронесли Гансика мимо. Он вдруг почувствовал такую усталость, словно провел утренние часы не в школе, а на пристани и был занят не латинской молитвой, а перетаскиванием тяжелых грузов.

После обеда не захотелось встречаться со старыми друзьями. Сразу вспомнился насмешник Фриц, который непременно станет расспрашивать о том, чего Гансику не хотелось ни вспоминать, ни рассказывать.

Ночью Гансика тревожили неприятные сны. Ему снились и школа, и бакалавр Рингель, и бык, но бык почему-то мычал полатыни, а бакалавр Рингель бил его розгой за то, что бык выучил только два первых слова молитвы.

Второй и третий день школьной жизни оказались похожими на первый, а за ними потянулась целая вереница почти одинаковых дней. Интерес к школе угас. Она, напротив, начинала все больше и больше тяготить Гансика. Познакомившись поближе с новыми школьными товарищами, он убедился, что они тоже не любят школу, ругают Рингеля и были бы рады, если бы тот заболел и таким путем подарил своим воспитанникам свободные и беззаботные дни.

Целыми часами, день за днем приходилось делать одно и то же — учить наизусть непонятные слова латинских молитв: сначала «Отче наш», потом молитву богородице ¹ а вслед за ними столь же непонятный «Символ веры» ², который почему-то каждый юный христианин должен был знать назубок, но, очевидно, вовсе не обязан был понимать!

¹ Молитва, обращенная к деве Марии — легендарной матери Христа.

² Символ веры — кратчайшая сводка основных положений (правил) католической веры,

Не осмеливаясь спрашивать учителя, Гансик напрямик спросил отца, зачем, кроме молитв, нужен еще какой-то «символ веры»?..

Рурбах-старший глубокомысленно ответил:

— Я, конечно, не силен в богословии, но тут, Ганс, видишь ли, такое дело: хотя ты латыни еще не понимаешь, но бог-то ее понимает, да к тому же никакого другого языка и не признает. И вот, когда он слышит, как ты по-латыни произносишь символ веры, он убеждается, что ты держишься правильной католической веры, стало быть, как полагается, веруешь в господа бога, в святых и в ангелов...

Поразмыслив над словами отца, Гансик решил, что символ веры — это нечто вроде таких особых слов, которые достаточно произнести, даже не понимая их, чтобы разом отгородиться от неприятности, ну, вроде слов «чур меня!», хорошо ему знакомых и так часто звучавших при игре в догонялки... С богом, видно, тоже надо быть осторожным и не сердить его. Недаром мать так часто говорит о гневе божьем!..

Едва заучили «символ веры», как Рингель стал вдабливать в головы своих учеников один из псалмов. Школьников охватил подлинный ужас, когда они слышали, что таких псалмов, то есть церковных песнопений, ни много ни мало — целых 150!.. Кто-то дерзнул спросить: «И мы будем учить все 150?..» Рингель поморщился, как будто проглотил что-то горькое, и нехотя ответил: «Выучим самые важные!..»

Не только воспитанникам Рингеля, но и самому бакалавру было отчего огорчаться!.. Ежедневно, с железной настойчивостью, он разучивал с учениками новые латинские строки и не успокаивался до тех пор, пока они не запоминались. Однако вскоре обнаруживалось, что, запоминая новую молитву, ученики тем временем забывали прежние. Учитель снова и снова возвращался к этим забытым молитвам, напоминал их, заставлял повторять вслед за собою.

Беда заключалась в том, что лишь немногие быстро вспоминали забытое. Ранее пройденное оказывалось как бы стертым в памяти большинства. И чем больше накапливалось нового материала, тем скорее улетучивалось заученное прежде. Не спасало и упорное повторение. Тем, чья память была слаба, не помогали ни грозный окрик учителя, ни его розга.

Гансик не вызывал учительского гнева. Рингель, напротив, все чаще ставил его в пример товарищам, хвалил за усердие и внимание. Но не только цепкая память и хорошие способности выручали Гансика. Помогал и... страх!

Ни дома, ни в школе он не решился бы признаться в том, что мучительно боится розги. Не боль пугала его, а унижительность постыдного наказания, против которого в нем восставала вся его мальчишеская гордость.

И как ни странно, понемногу менялось и его отношение к своему учителю. Сначала Рингель казался ему слишком строгим и даже злым, а с тех пор, как ему удавалось почти без запинки произносить наизусть требуемые молитвы, он встречал во взгляде Рингеля что-то похожее на благодарность. Он замечал его усталые глаза, росинки пота над бровями и все больше поражался терпению учителя.

Однажды Гансик поймал себя на неожиданной мысли, что сам он на месте Рингеля не стал бы четыре раза подряд вдалбливать упорно молчавшему ученику все те же надоевшие слова молитвы, а, пожалуй, схватился бы за розгу. И тут же мелькнула другая мысль: «Рингель, видно, гораздо добрее меня, да и вид у него какой-то несчастный!»

Рингелю и в самом деле было не сладко. Он знал, что его работа проверяется и, если к концу года его питомцы не будут знать наизусть положенных молитв и псалмов, он, Рингель, может лишиться своей должности.

Чтобы бесплодное возвращение к давно пройденному не мешало усваивать новое, Рингелю волей-неволей приходилось отчислять тех учеников, которым никак не давалась зубрежка чуждой и непонятной им латыни.

Более трети новичков, поступивших в школу вместе с Гансиком, покинули ее к середине года. Гансик и завидовал им, и в то же время жалел их. Нельзя было не завидовать свободе, досугу, веселым играм, которые, как ему казалось, ожидали ушедших из школы мальчуганов.

И все же, думал он, как жаль товарищей, положивших столько трудов, переживших столько тревог и обид, не раз отведавших розгу... Ведь теперь оказывалось, что все это было испытано и перенесено зря, без всякой пользы.

В чем же причина всех неудач: ведь не такие уж глупцы все эти ребята. Взять хотя бы Петера, или Руди, или Ганса, которого, в отличие от меня, называют «толстым Гансом»? Все они шустрые и сообразительные, рассуждал Гансик, но вот непонятная латынь — она им почему-то совсем не дается!

А что было бы — сам собой возник вопрос, — если бы и молитвы и псалмы, ну, словом, все, все, мы могли бы учить не на латинском, а на своем родном языке? Уж тогда-то, — напрашивался ответ, — никто, пожалуй, не покинул бы так скоро школу. Все слова и выражения были бы понятны, и всякий бы их легко запомнил.

А разве старшим ученикам легче?.. Тут наблюдательному Гансику вспомнились небольшие навощенные дощечки. На них с трудом умещалось меньше десятка строчек, которые тут же приходилось стирать, чтобы освободить место для новых слов и строк.

Воображению Гансика внезапно представилась сказочная картина: у каждого школьника своя собственная книга, а в ней

помещается вся изучаемая премудрость! Позабыл что-нибудь — загляни в заветную книгу, которая у тебя всегда под рукой!

А захочешь что-нибудь записать, и у тебя еще одна своя книга, но только с совершенно чистыми страницами — записывай в нее все, что пожелаешь, и не надо торопливо стирать ранее написанное...

Размечтавшийся Гансик, конечно, не мог и догадаться, что со временем у школьников появятся печатные учебники и такое чудо, как тетради. Ему и присниться не могло подобное богатство!.. Ведь в его время еще не существовало книгопечатания, а рукописная книга — та и вовсе бережно хранилась как драгоценность.

Труд умелых переписчиков ценился на вес золота. На создание одного-единственного экземпляра рукописной книги они затрачивали месяцы, а иногда и годы. Столь же ценился и материал, на котором они писали. То был пергамент — тонко выделанная, искусно высушенная и отбеленная телячья кожа. Не мудрено, что Гансику и его товарищам нельзя было и мечтать о букварях, книжках с картинками, хрестоматиях, задачниках и словарях.

За отсутствием букварей и учебников им все приходилось воспринимать на слух, все вызубривать и постигать не зрительной, а одной только слуховой памятью.

Своими успехами Гансик был обязан в первую очередь хорошей слуховой памяти. Тем, кто обладал такой памятью, как это ни странно, удавалось даже постепенно тренировать ее благодаря Непрестанному заучиванию латинских фраз. Некоторые ученики со временем достигали умения безошибочно повторить на память только что прослушанный небольшой отрывок книжного текста.

Хотя Гансик и был на пути к подобному умению, хотя он и умудрялся счастливо избегать розги, все же и его томило гнетущее однообразие одних и тех же занятий.

Снова и снова наплывала на него свинцовая река латинских фраз, которые надо было твердить и запоминать, и казалось — нет этой реке ни конца, ни края...

Однако желанная перемена в ходе занятий приближалась. С уменьшением числа учеников падал и заработок учителя. А ведь Рингелю надо было не только прокормиться, но и оплачивать помещение, снятое под школу. Именно денежные затруднения и побуждали Рингеля торопиться с разучиванием псалмов. Надо было как можно скорее подготовить хор. А для этого завтрашним хористам нужно было прежде всего твердо запомнить слова псалмов, чтобы затем перейти и к усвоению их песенных мотивов.

Слаженный хор школяров служил учителю спасительным подспорьем. Дело в том, что родственники умерших платили особые деньги за то, чтобы в определенные дни ученики пели за упокой души дорогого им покойника. Они верили, что таким путем помогают ему попасть в рай.

Гансик и его друзья с восторгом встретили сообщение, что на следующий день их поведут на урок пения.

Эти уроки протекали не в надоевшем классе, а в ближайшей церкви. В дневные часы там обычно царили полная тишина и полумрак, создаваемый высоко расположенными витражами ¹, через разноцветные стекла которых падали и рассеивались снопы света. Скрещиваясь посередине церкви, они озаряли алтарь и примыкавшее к нему пространство, оставляя в тени дальние углы.

Посреди освещенного пространства, перед легким пюпитром, становился Рингель, сосредоточенно смотревший на лежавший на пюпитре свиток. Гансик, встав на цыпочки, заглянул туда и увидел какие-то непонятные черточки, крючки и точки. Позже он узнал, что это нотные знаки, помогающие учителю держаться нужного мотива.

Прежде чем начать первый урок, Рингель о чем-то пошептался с маленьким ветхим старичком, который, кивая головой и беззвучно шевеля губами, поплелся к органу.

Гансик невольно вздрогнул, когда неожиданно раздались звуки инструмента. Казалось, что тишина не прервалась, а вдохновенно заговорила голосом органа, в котором она сгустилась и сосредоточилась.

Звуки эти плыли, таяли и нарастали, будто звали за собой певцов. На этот зов отозвался Рингель, запевший вдруг что-то знакомое и вместе с тем незнакомое. То были латинские слова давно заученного псалма. Но мертвые прежде звуки латинской речи теперь ожили, согретые зазвеневшей в них мелодией. Несколько школьников, которых учитель ободрял взглядом и движением руки, неожиданно для самих себя присоединили свои голоса к голосу Рингеля. Среди них был и Гансик. Пение постепенно увлекло всех. Это новое занятие было куда интереснее, чем вызубривание латыни.

Не удивительно, что Рингелю стали подтягивать даже те школьники, которые никак не воспринимали мотива. Гансик почувствовал, что легко улавливает подсказанный органом напев и, вместе с учителем, без труда прилагает его к латинским словам давно заученного псалма. Поймав на себе радостно удивленный и ободряющий взгляд Рингеля, он тут же заметил, что этот взгляд мрачнеет и становится досадливо укоризненным, как только Рингель обращает его на тех, кто, правильно повторяя слова, немилосердно фальшивит.

Через некоторое время Рингель разделил своих питомцев на две группы. В одну из них вошли те, кто пел правильно, другую составили ошибавшиеся. Каждую музыкальную фразу один или

¹ *Витраж* — узорчатое разноцветное окно в церкви. Его сложный рисунок составлялся из стекол разного размера и окраски.

несколько раз исполняла первая группа, а вторая должна была прислушиваться и стараться верно за ней повторять.

Отныне занятия в церкви проводились по два-три раза в неделю. Те, кому мотив не давался, относились к ним равнодушно, но Гансику уроки пения пришлись по душе. Только в песне он впервые почувствовал чеканную ясность и красоту латинской речи. Ему нравилось следить за тем, как непонятные слова, казавшиеся прежде лишёнными всякого смысла, приобретают какое-то смутное значение, которое в них вдохнула изменчивая, но всегда прекрасная мелодия органа: то задумчивая и грустная, то торжественно-праздничная, то скорбная и молящая...

Однажды по дороге из школы в церковь Рингель подозвал Гансика, дал ему нести свитки нот и неожиданно спросил:

— Я вижу, тебя волнует музыка. Что же тебе в ней нравится?..

Гансик, вскинув глаза на учителя, с минуту подумав, сказал:

— Мне кажется, будто музыка рассказывает что-то такое, что нельзя выразить обычными словами.

— Ты прав, мальчик,—ответил Рингель.—Человек открывает в звуках свое сердце. В псалмах звучат его жалобы и его боль, бессилие и робкая надежда... Когда-нибудь,—добавил он тихо и задумчиво,—люди станут более сильными и счастливыми, и, может быть, тогда их песни зазвучат по-другому...

Зима была уже на исходе, когда Рингель в первый раз познакомил своих учеников с латинской азбукой. В этот знаменательный день Гансику и его товарищам были розданы дощечки, на навощенной поверхности которых рукою учителя были выведены крупные буквы алфавита.

Каждую из них Рингель называл, поясняя, как ее следует читать. Память учеников, тренированная заучиванием молитв и длиннейших псалмов, быстро постигала азбуку, а вслед за нею и начертанные на тех же дощечках слоги и короткие слова.

Но усвоение азбуки и возня с табличками были лишь подготовкой к знакомству с первой книгой. Гансик с нетерпением ожидал этого, что имело свою причину. Увлечшись пением, он лишь смутно угадывал скрытый смысл затверженных мертвых строк. Теперь это казалось недостаточным. Хотелось понимать каждое слово песни.

И вот бакалавр Рингель принес и торжественно положил на кафедру старинный затрепанный псалтырь, служивший не одному поколению школяров. Всем разрешили подойти к кафедре, посмотреть и даже потрогать рукою резной переплет и желтоватые, истертые по краям, но все еще твердые и гибкие, звенящие при сгибе листы.

Когда Рингель раскрыл книгу, ее первая страница вызвала у столпившихся вокруг учеников шепот удивления и восхищения. Разделенная на два столбца, она была покрыта ровной вязью стро-

чек, по краям обрамленных легким вьющимся орнаментом. Но всеобщее внимание и изумление привлек левый верхний угол страницы, в котором горели яркие, не потускневшие от времени краски. Всмотриваясь, ученики заметили огромную букву, пламенеющую алой киноварью и окаймленную тонким золотым ободком. Эта буква была перевита сочно-зелеными стеблями растений и цветов, которые у нижнего основания буквы стужались, образуя кусты с торчащими из них головами и рогами диковинных животных.

Рингель со снисходительной улыбкой выжидал, давая полюбоваться заглавной буквой. Он пояснил, что пленившая учеников буква и рисунок созданы кистью искусного мастера, и был он не только грамотеем-переписчиком, но и настоящим художником.

Помолчав, он наставительно заметил:

— Вас больше всего привлекает все яркое, нарядное, пышное... На улице вы будете глядеть во все глаза на щеголя-патриция, выступающего с важностью павлина в отороченном мехом бархатном камзоле, с позолоченной шпагой на боку. А на простого ремесленника в поношенной одежде вы и внимания не обратите. А ведь славу города создают не нарядные патриции, а именно скромные люди, о мастерстве которых говорят и в ближних и в дальних краях. Вот и здесь, увидев страницу псалтыря, вы залюбовались цветистым нарядом заглавной буквы, не удостоив своим вниманием простые буквы. Однако эти темные и скромные одноцветные буквы-труженицы и составляют слова и фразы. Благодаря им и сохраняется то, что было написано много веков назад...

Таким было предисловие Рингеля, положившее начало урокам чтения. Однако искусство чтения его ученики одолевали медленно. Пока один из них читал по складам, другим оставалось лишь терпеливо ожидать своей очереди без всякого дела. Могли ли шустрые мальчуганы смиренно усидеть на месте, ничем не занятые? Это было выше их сил! Они толкали локтями друг друга, старались незаметно померяться силами и, упершись ногами в пол, а руками в скамью, пытались столкнуть соседа с места. Рингель, после нескольких окриков, посылал дежурного за розгой, и чтение псалтыря на время прерывалось.

То, что псалмы были заучены наизусть до того, как в руки учеников попал рукописный псалтырь, и помогало, и в то же время мешало научиться читать. Рингель замечал, что ученик, едва читавший по складам, вдруг переходил на скороговорку. Тогда он его останавливал и требовал: «Ну-ка, где на этой странице стоят слова, которые ты так быстро ухитрился прочитать?» И так как ученик растерянно замолкал, он предупреждал: «Если ты еще раз станешь говорить наизусть, вместо того чтобы читать, я тебя угощу розгой!»

Бывало и так, что знание написанного помогало. Дорого стоявший пергамент экономили. И так как гусиным пером не удава-



лось от руки выводить очень маленькие буквы, многие слова писались не всеми буквами, а сокращенно и слово иногда обозначалось только начальной и конечной буквами. Питомцам Рингели не приходилось ломать голову. Прочтя предыдущие слова, они легко вспоминали недостающее слово, которое за ними должна было следовать.

К лету далеко не все научились читать. Поэтому осенью следующего года пришлось вернуться к упражнениям в чтении. Второй год обучения принес и новое занятие: Гансик и его товарищи стали нетвердой рукой выводить на дощечках первые буквы. Однако успехи в письме огорчали даже самых трудолюбивых. Сравнивая собственные каракули с ровными и красивыми строчками псалтыря, они обнаруживали полное различие.

Узнав об этом огорчении, Рингель решил приободрить своих воспитанников.

— Послушайте-ка,— сказал он им,— что рассказывает почтенный автор Ордерик Виталий: «Случилось, что перед страшным судом предстал некий монах, который до своей кончины был писцом. Злые духи перечислили множество его грехов, но святые ангелы показали большую книгу, искусно написанную этим монахом. Каждому греху, сотворенному этим монахом, они противопоставили по одной букве, им начертанной. Букв оказалось на одну больше, чем грехов. И тогда судья велел душе монаха возвратиться в покинутое ею тело. И отправился чудесно оживший

писец с неба обратно на землю, и дано ему было время на исправление...»

Рассказ этот всех удивил, а сидевший рядом с Гансиком мальчик воскликнул:

— Неужели все это правда?..

Бакалавр Рингель поморщился и недовольно ответил:

— Не о том идет речь!.. Соль рассказанного состоит в том, что искусный мастер гусиного пера ценится очень высоко. И на том и на этом свете ему все сойдет с рук... Но чтобы достигнуть такого почета, надо долго и терпеливо учиться!

Прошло время, и питомцы Рингеля научились бегло читать и кое-как писать. Но чувство разочарованности не покидало лучших учеников.

Латинская речь постоянно звучала в классе, продолжая по-прежнему оставаться непонятной. Время от времени Рингель говорил, что означает то или иное слово. Заставляя склонять какое-нибудь существительное, он сообщал его значение и точно так же объяснял значение спрягаемых глаголов. Так начали изучать грамматику. При этом на дощечке можно было наспех записать значение латинского слова. Но записанное вскоре приходилось стирать. Выручить могли только память и упорство.

С некоторых пор Рингель стал задерживаться после занятий, чтобы рассказать более любознательным ученикам что-нибудь интересное.

Память его хранила множество историй, примеров, событий. Она позволяла ему, не прибегая к записям, воссоздавать почти дословно рассказы различных авторов, а в подборе таких рассказов у него, очевидно, был какой-то свой, особый расчет...

«Жил да был некогда,— так начал он один из своих рассказов,— епископ Мейнверк. Несмотря на высокий сан, был он совсем слаб в латыни.

И вот молодой император Генрих II, знавший этот недостаток, решил сыграть с ним шутку. В тексте заупокойной молитвы в двух латинских словах были незаметно подчищены первые буквы. И в час торжественной службы, при большом стечении народа, епископ вместо слов «фамулис» и «фамулабус» прочел громогласно «мулис» и «мулабус». Получилось, что он просит божьей милости не для «рабов и рабынь» божьих, а для «ослов и ослиц»...».

В другой раз Рингель привел отрывок из сочинений кардинала Якоба Витрийского. «Некий святой однажды встретил дьявола, волочившего тяжелый мешок. Святой именем божьим велел дьяволу остановиться и показать, что он тащит. Оказалось, что дьявол побывал в одной церкви, где набил свой мешок слогами и словами, пропущенными священником по невежеству. За весь этот груз, заявил дьявол, священник должен ответить на страшном суде...»

Всех развеселил рассказ о бедном школяре из Парижа, который за плату стал помогать священнику совершать богослужение. Он вскоре заметил, что священник совсем не понимает смысла читаемых молитв. Тогда он сам взялся читать нараспев и при этом повторял те возгласы, которыми в Париже торговцы и разносчики привлекают и заывают покупателей, а незадачливый священник продолжал думать, что богослужение идет совершенно правильно...

В памяти Гансика навсегда запечатлелся рассказ Рингеля о замечательном мыслителе Пьере Абеляре, лекции которого в Париже с увлечением слушали студенты различных национальностей. Всех взволновали гордые слова Абеляра о могучей силе человеческого ума, который способен все понять и мудро разрешить самые сложные споры.

Бакалавр Рингель с особой настойчивостью подчеркивал глубокое презрение, с которым Абеляр относился к жалким грамотеям, ежедневно читающим им самим непонятные латинские фразы. Чтобы ученики лучше поняли мысль Абеляра, Рингель прочел и тут же перевел им строки, написанные этим ученым: «Те, кто теперь обучается в монастырях, до того коснеют в глупости, что, довольствуясь звуками слов, не хотят иметь и помышления об их понимании... А что может быть смешнее такого занятия, как читать не понимая?.. К такому чтецу по всей справедливости применимы известные слова: «Осел с лирой...» Ибо что осел с лирой,, то и чтец с книгой, если он не умеет сделать с нею то, на что она предназначена. И гораздо приличнее было бы таким горе-чтецам заняться чем-либо другим, от чего была бы какая-нибудь польза* вместо того, чтобы без толку глядеть на буквы писания и зря вращать листы...»

Эти строки, прочитанные учителем, вызвали много смеху и очень заинтересовали школьников, а Рингель, почувствовав их интерес, печально и задумчиво сказал:

— Вот я и боюсь, как бы из вас не получились такие же жалкие грамотеи и полужайки, о которых писал Абеляр. Ведь за два года я сумел научить вас лишь чтению и письму да кой-каким началам латинской грамматики. Не помогут вам и те несколько десятков латинских слов, значение которых вам удалось запомнить. Если вы останетесь с таким запасом знаний, то каждый из вас может оказаться «ослом с лирой»... Школа моя — начальная. Скоро я с вами расстанусь, а на ваше место придут новички. Хотелось бы, чтобы вы продолжили науку в капитулярной либо городской школе. Прочувшись там до 15 лет, вы постигнете латынь, она для вас станет живым языком и поможет познакомиться с семью свободными искусствами: грамматикой, риторикой, диалектикой, а затем геометрией, астрономией, арифметикой и музыкой. Но настоящее знание этих предметов может дать только университет.

То была последняя беседа Рингеля. Весеннее солнце заливало своим щедрым светом скамьи и кафедру, напоминая о том, что близится окончание учебного года, а с ним и конец обучения в начальной школе бакалавра Рингеля, с которым Гансику было почему-то жалко расставаться...

Но Гансику вскоре довелось снова повидать старого учителя, но уже после того, как он покинул школу. То была совсем неожиданная встреча. В горницу, где сидел Гансик, с нижнего этажа, из мастерской отца, которая там помещалась, донеслись слова беседы. Сначала Гансик не обратил на них никакого внимания, решив, что отец толкует с каким-то заказчиком... Но вот неожиданно прозвучало его имя, произнесенное не отцом, а посетителем, голос которого был очень знакомым... Гансик прислушался... Сомнений не было. То был голос бакалавра Рингеля.

— Так вот, я и говорю тебе, Иоганн,— донеслось снизу,— мальчик очень способный. Грех оставлять его недоучкой! Надо, если придется, потуже затянуть пояс, урезать расходы, но непременно учить его дальше! Я бы советовал отдать его не в

КЛЮНИЙСКИЕ БЕГЛЕЦЫ

Над крутым обрывом, там, где проезжая дорога огибала лесистые холмы, журчал вырвавшийся из расщелины камня серебристый ручей. Его переливчатая струя, сверкнув на солнце, внезапно погасала, потерявшись в зеленых складках обомшелого оврага. Непрестанная песенка говорливой воды, как бы сливаясь с шелестом листвы, не нарушала, а скорее заполняла собою тишину ясного летнего дня. Она манила путников, звала их остановиться и утолить жажду.

Мелодия ручья и на этот раз заставила замедлить шаги двух запыленных юношей с палками в руках и с дорожными котомками, оттягивавшими плечи. Один за другим они припали к ручью и, не сговариваясь, опустились на землю. Старший, которому было лет девятнадцать, вздохнул и с сожалением посмотрел на своего спутника.

— Что, Жан, устал, видно? — спросил он и, не дожидаясь ответа, добавил: — Пожалуй отдохнем, дорога у нас с тобой дальняя, да и день как будто на исходе...

Юноши вскинули взоры к небу. Солнце уже не заставляло щуриться, заметно удлинились синеватые тени придорожных буков, гуще и темнее стал сумрак под кронами деревьев, а свежее дуновение ветра охлаждало разгоряченные лица уставших путников.

Пьер, так звали старшего, неторопливо извлек хлеб, кусок сыра, нож и соль, достал со дна котомки два румяных яблока и, подбросив их, весело пояснил:

— Это последний дар садов Ключийского аббатства, о котором ничего не знает отец-садовод!.. Да простится нам этот грех, — ведь библия говорит, что бог отдал все земные плоды людям, потомкам Адама и Евы.

Закончив неприхотливый ужин, друзья расположились на разостланных плащах. Они долго молчали, всецело отдаваясь минуте наступившего покоя. Молчание нарушил младший. Приподнявшись на локте, он стал просить старшего товарища:

— Пьер, пока мы не спим, расскажи мне хотя бы коротко о той интересной книге, которую ты перед нашим бегством читал в ключийской библиотеке.

В словах юноши звучал неподдельный интерес, а широко раскрытые внимательные глаза выражали такую настойчивую просьбу, что Пьер, собравшись с мыслями, приступил к рассказу.

— Раньше чем говорить о книге, я скажу о том, кто ее написал. Этот человек — Цезарий Гейстербахский. Представь, он много лет обучал в своем монастыре таких же, как мы с тобой, новичиев — будущих монахов. Стало быть, его книга создана для нас и для таких, как мы. Называется она «Беседы о чудесах».

Читаешь Цезария — и удивляешься. Оказывается, мир полон чудес. Куда ни глянь, всюду чудеса!.. И не только большие чудеса. Цезарий рассказывает и про малые, совсем неприметные для нас. Признаться, не во все чудеса верится, хотя, конечно, Цезарий мудрее, опытнее нас с тобой и глаз у него зорче.

— А ты расскажи, какие именно чудеса знает этот ученый монах,— прервал рассказчика его нетерпеливый слушатель...

— Не торопи меня,— последовал ответ.— Вот, к примеру, большие чудеса. Нежданно-негаданно на острове Кипр всколыхнулась, заколебалась земля, и в глубокие трещины стали проваливаться строения. Сотни людей погибли в тот день под обломками рухнувших зданий. Видно, бог наказал грешников... А недавно на глазах у многих людей сатана похитил солнце, закрыв его черной пеленою. Но бог не дал нечистому украсть солнце, и оно снова выплыло и по-прежнему засияло на радость людям!

Таковы большие чудеса!.. А вот малые чудеса не так уж ясны: то ли мы, темные люди, как слепые кроты, их не замечаем, то ли Цезарий сам что-то примысливает... Да вот сам посуди: заболел человек — чудо! Чудо в том, что дьявол наслал на него напасть. Выздоровел человек — и снова чудо! Бог его исцелил... Так-то оно так, но все же меня берет сомнение: разве не помогают больному врачи и лекарства? И если все зависит от божьей воли, то для чего же существуют врачи? А если, как нас учат, бог посылает человеку болезнь в наказание или в виде испытания и выздоровление действительно зависит только от бога, который посылает его как чудо, в таком случае врачи либо совершенно бесполезны, либо своим вмешательством они прямо нарушают божью волю. Сам посуди: почему бог терпит врачей, каким образом уживаются наука и божественное чудо?

Сказав это, Пьер тяжело вздохнул. Умолкнув и вытянувшись на своем плаще, подложив под голову сплетенные пальцы рук, словно забыв о собеседнике, он несколько минут хмуро вглядывался в потемневшее небо, на котором едва наметились первые звезды. В сумраке быстро надвигавшейся летней ночи Жан видел обращенное к звездам лицо товарища, его сосредоточенный, недоумевающий взгляд, суровую борозду, пролегшую между бровями... Придвинувшись к другу, мягко дотронувшись до его руки, Жан сказал:



«Испытание святого Антония». Средневековый художник стремился показать стойкость «божьего подвижника», терзаемого чертями.

— Прошу тебя, оставь мучительные вопросы, которые мы с тобой все равно не разрешим. Лучше расскажи мне дальше о книжке Цезария. И рассказ возобновился...

— Ты знаешь ведь,—говорил Пьер,—что всякий верующий стремится «спастись»—избежать ада и попасть после смерти в царство небесное. Как трудно этого добиться, показывает в своей книге Цезарий. Праведному человеку мешает дьявол, который всегда тут как тут и всячески норовит вовлечь человека в иску-

шение и грех. О кознях дьявола, о коварных его проделках и сообщает нам книга Цезария.

Однажды, говорится в книге, некий рыцарь решил отправиться на богомолье. И только он сел на коня, как нечистый вспрыгнул сзади на круп лошади, вонзил когти в спину рыцаря и стал стаскивать его с коня. Нерастерявшийся рыцарь осенил себя крестом, перекрестил дьявола, и тот сразу исчез бесследно. Но дьявол, о котором идет речь, был неопытным. Он действовал грубо, без всякой хитрости. Куда опаснее опытные, знающие свое дело черти. Они неистоимы в своих уловках. Как умелые артисты, они принимают любой облик, чтобы неузнаваемыми предстать перед человеком, которого нужно обмануть. Один из таких случаев, по рассказу Цезария, произошел в их монастыре.

В самый канун великого поста к молодому монаху явился слуга из родительского дома и принес ему в подарок от родителей превосходного жареного ароматного гуся. Юный монах решил, что успеет полакомиться им до наступления поста. Но едва он набил рот гусиным мясом, как слышал колокольный звон, возвещавший о наступлении великого поста. А вскоре выяснилось, что никакого слуги из родительского дома не посылали, а гуся принес сам нечистый, принявший облик слуги.

Цезарий пишет, что коварный дьявол способен прикинуться кем угодно: и мужчиной, и женщиной, и птицей, и животным. В любом обличье он обманывает, соблазняет, обещает, нашептывает лживые слова... Но Цезарий учит нас, что надо с верой и надеждой вступать в поединок с дьяволом и побеждать его коварство своею стойкостью. Вот один из примеров подобной стойкости, рассказанный Цезарием. Благодетельная монахиня Вальмунштадтского монастыря вечером увидела за окном своей кельи дьявола, который скалил зубы и знаками выманивал ее на улицу. И тогда решительная монахиня, отворив оконце и плюнув нечистому в лицо, стала поносить его такими словами, что посрамленный дьявол был вынужден отступить...

Много таких поучительных примеров приводит Цезарий, и свою обстоятельную книгу он заканчивает словами, говорящими о его собственной, достойной подражания стойкости... «Вот и я,— говорит он,— дал обет написать эту книгу, а дьявол мне мешает. Он то задувает свечу, то перебрасывает листы, то, наконец,— неистоимо коварство нечистого,— прикинувшись блохой, проникает ко мне в рукав и немилосердно кусает. Но я,— добавляет Цезарий,— зная коварство нечистого, не уступлю ему, не поддамся искушению, не почешу руку, а буду бестрепетной дланью продолжать писать свое сочинение».

Как только закончился этот рассказ, Жан поспешно спросил:

— А тебе, Пьер, когда-нибудь приходилось видеть настоящего дьявола или хотя бы разговаривать с теми, кто вступал с ним в столкновение?

— Признаться, не приходилось! Впрочем,—добавил рассказчик,— мне, как и всякому монаху, доводилось усердно воевать с блохами, и если в них затаились те самые бесы, которые досаждали Цезарию, стало быть, и я участвовал в битвах с силами ада.

При этих словах озорная усмешка тронула губы говорившего, а его юный товарищ весело расхохотался. Друзья замолчали. Легкое шуршание колеблемой ветром листвы да немолчное журчание ручья, поблескивавшего в лунном свете, навевали сон... Неожиданно в дремотную тишину ворвались новые звуки: конское ржанье, приближающийся скрип колес и собачий лай. Скрип оборвался где-то совсем близко, послышалось фыркание остановившихся лошадей, чьи-то неторопливые шаги. Опережаемый лохматой собакой, к ручью шел коренастый монах. Склонившись к воде, он напился, вытер губы рукавом широкой рясы, затем внимательно осмотрелся и дружелюбно осведомился:

— Куда держите путь, сыны мои?..

Казалось, этот простой вопрос застиг врасплох юных друзей. Настороженно выжидая, они старательно вглядывались в остановившегося перед ними человека. В их взорах застыл вопрос: «Кто он, враг или друг?» Широкая грудь пришедшего мерно вздымалась под обветшавшей рясой, складки которой подчеркивали могучее телосложение человека средних лет. В лунном свете блестела выбритая на темени тонзура монаха и золотились завитки рыжеватой курчавой бороды. Его лицо в полутьме казалось строгим, но сверкнувшие в улыбке зубы и разбежавшиеся при этом от глаз лучистые морщинки разом стерли печать суровости, и лицо монаха засветилось добротой. Именно эта ободряющая улыбка побуждала к правдивости, и Пьер ответил:

— Мы из Ключнийского монастыря, а идем в Клервское аббатство, хотим вступить в обитель святого Бернарда.

— Вот тебе и раз! —воскликнул пришелец.—Да ведь нам по пути, я сам из Клерво, возвращаюсь туда от епископа, которому отвозил посланные нашим аббатом птицу и живность... Неплохое местечко вы выбрали,— продолжал монах.— Что ж, тут мы и заночуем, а завтра, с божьей помощью, на заре тронемся в путь. Пойдем, Изегрин,—обратился он к собаке,— надо напоить лошадей.— И, уже поднявшись по откосу, монах обернулся к юношам и добавил: — Вам лучше ехать со мной, чем брести пешком. Кони у нас добрые, довезут!

Не дожидаясь ответа, монах деловито достал осмоленное деревянное ведро, наполнил его у ручья, поднялся к дороге, похлопал лошадей и назидательно сказал:

— Нет, Изегрин, пусть кони еще поостынут, тогда и поить будем, нам не к спеху.— Прошло еще с полчаса, и монах снова очутился рядом с друзьями.

— Хотя святой Антоний и спал на голых камнях,— сказал он,— лучше дремать на мягком сене. Ступайте-ка к повозке да принеси-

те оттуда по доброй охапке сена, сможете поспать во славу брата Мартина. Брат Мартин,— пояснил он, широко улыбаясь,— это я!

Юноши не заставили себя просить и направились к повозке.

Подле них шагал и брат Мартин. Досадливо морщась, он заметил:

— С каких это пор клюнийские братья отходят ко сну без вечерней трапезы, не разжигая костра на привале? В моей колымаге кое-что найдется, право же, найдется...

И вскоре у ручья запылал костер, зажигая веселые отсветы в стеклянном блеске падающей воды, взметая искры к высокому ночному бархатно-синему небу Бургундии... Трещали горящие сучья, шумно бурлила похлебка в подвешенном над костром котле, и брат Мартин нежно поглаживал оплетенный ивовыми прутьями пузатый бурдюк, наполненный искристым вином.

Как только заря расплескала по холмам потоки багряно-золотистого света, победно теснившего сизую голубизну уходившей ночи, юноши услышали у своего изголовья нетерпеливый лай Изегрина. Открыв глаза, они увидели брата Мартина, ворошившего длинным кнутовищем угли погасшего костра.

— Буди, буди, Изегрин, наших клюнийских ленивцев, покажи-ка им, когда начинают день в Клервоской обители,—добродушно ворчал монах. В его рокочущем басы слышалась отеческая теплота, согревавшая сердца двух одиноких юношей, с признавательностью смотревших на посланного им судьбою спутника.

Напоив коней и задав им корм, брат Мартин подтянул подпруги, а усаживая юношей, заботливо взбил сено в повозке. Свистнув Изегрину, он размашисто перекрестился и, причмокнув, тронул вожжами застоявшихся коней. Они нетерпеливо рванулись, и повозка съехала с пригорка вниз, к повисшему над обрывом бревенчатому мосту, снова поднялась на взгорье, опять нырнула в ложбину и покатила по извилистой дороге.

Навстречу едущим проплывали буки и вязы, а вскоре над ними навис зеленый грот сомкнувшихся вершинами раскидистых платанов и на дороге причудливо разостлалось зыбкое кружево бегущих теней и солнечных бликов. За платановой аллеей потянулись пестрые поля, и их душистое дыхание сладко кружило головы. Юношам казалось, что все их невзгоды остались где-то позади и они мчатся вдаль на неведомом корабле на какой-то радостный праздник. Кивком головы указав на маячившую впереди спину брата Мартина, любопытный Жан спросил приятеля:

— Почему этот монах носит бороду, разве ее положено носить клервоским братьям?

— Тут кое-что непонятно,— ответил Пьер.— В их ордене такие бороды носят вовсе не монахи, а конверзы — слуги монастыря. Однако конверзы — люди неграмотные, а наш спутник, сдается мне, грамотей. Право, не разберу — в чем здесь дело? Ломать голову бесполезно, может быть, он и сам растолкует нам эту загадку.

Около полудня брат Мартин остановил лошадей и предложил

юношам сойти с повозки, так как начинался крутой спуск к реке. Вытянув по направлению к ней кнут, он сказал:

— Вот эта река — Сена, в нее как приток впадает Об, на которой стоит наша обитель. Перебравшись через Сену, мы у рожи сделаем большой дневной привал, пообедаем, а оттуда двинемся к нашей цели.— С этими словами брат Мартин подошел к коням, крепко перехватил поводья и, осторожно ступая, повел лошадей под уздцы по крутому спуску. Когда спуск закончился, брат Мартин послал Пьера и Жана собрать валежник и развести костер, а сам распряг лошадей и начал рыться в своей повозке, извлекая оттуда припасенные сокровища: испеченную в золе баранью ногу, лукошко с яйцами и заветный бурдюк с вином. Вскоре у края поляны, окаймленной полукружием отступившего леса, взвился приветливый дымок костра.

Долгое время все сосредоточенно ели, и молчание нарушал лишь Изегрин, с грозным ворчанием расправлявшийся с костями. Покончив с сытной трапезой, путники прилегли и после непродолжительного раздумья брат Мартин спросил юношей:

— Что же побудило вас, сынки, покинуть Ключийскую обитель и пытаться променять ее на монастырь нашего цистерцианского ордена?

— Причина проста, — чистосердечно отвечал Пьер, — вы нас поймете, отец, если мы скажем, что оба мы сироты, оба выросли на монастырских харчах... Нас с детских лет волновали рассказы о подвижниках божьих, добровольно селившихся в пустыне, спавших на голом камне и сопричисленных к святым. Нам, как и многим, хотелось бы, чтобы в час смерти пред нами открылись врата рая и за все земные испытания нас удостоили вечным блаженством в райских садах.

Наше желание укрепляли и проповеди, и церковные книги. Вот и созрело решение идти к спасению тою же самой дорогой,



Путь из Ключни в Клерво.

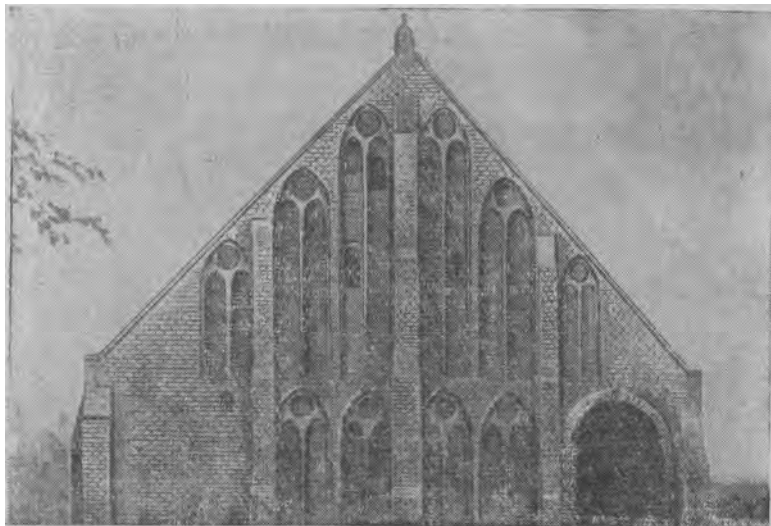


Питомцы монастырской школы готовят заданный устный урок.

которую до нас шли святые мученики, а за ними и скромные монахи. Принятое решение становилось все тверже, когда нам доводилось слышать о насилиях и преступлениях, царящих за стенами монастыря, среди мирян, слышать о рыцарском разбое, о своеволии могущественных баронов, о беззащитности простых людей — крестьян и ремесленников.

Но беда в том, что наш монастырь, хоть и велика его слава, со временем перестал нам казаться святым местом... Хоть в нем каждодневно в положенные часы и звучат молитвы, червь точит наши сердца, и мы уверены — вовсе не дьявол подсказывает нам сомнения. В нашей обители нет ни святости, ни праведности.

Монастырские закрома полны хлеба, погреба монастыря — это целый подземный город. Там трудно протиснуться между сотнями винных бочек и пивных бочонков. Исправно действуют монастырские мельницы, маслобойни, солеварни, давилни винограда. В монастырской трапезной братья часами просиживают за дубовыми столами, одни кушанья сменяются другими, пар вьется над бульонами, над жарким, говяжьим или бараньим, над дичью. Бульканье вина и стук сдвигаемых резных чаш заглушают невнятное бормотанье торопливых молитв, а дородные, лоснящиеся от пота, усердно жующие и чавкающие братья-монахи явно угождают не господу богу, а своему брюху. Кто хоть раз на них посмотрит, скажет, что эти упитанные знатоки вин, ценители яств и хорошей кухни совсем не похожи на людей, о которых расска-



Амбар аббатства. XIII век.

бывает церковь, не похожи на тех подвижников, которые отказывают себе в пище и сне ради загробного мира.

Церковь учит нас, что все люди происходят от Адама и Евы, что все равны перед богом. Но разве наших монахов можно считать братьями крепостных крестьян, принадлежащих монастырю? Да может ли один брат быть собственностью, вещью другого брата?

Ведь наши монастырские крестьяне всю жизнь гнут спину, обрабатывая поля и виноградники монастыря, а со своих скудных наделов они дают оброк тому же монастырю. На исходе лета первый собранный хлеб крестьяне везут на монастырский двор, а их собственный неубранный хлеб тем временем мокнет под дождем.

По праздникам деревенские люди тащат в монастырь то поросят, то домашнюю птицу, то молочные продукты, а сверх всего этого они обязаны чинить мосты, исправлять дороги, пасти монастырский скот, обносить изгородями монастырские сады...

И кажется нам, отец, что иссушенные трудом, голодом и зноем крестьяне скорее попадут в рай, чем тучные монахи, равнодушные ко всему, кроме еды и напитков. Вот мы и не хотим уподобиться этим отъевшимся, глухим к чужому горю лодырям. И ежели им суждено попасть прямехонько в ад, нам с ними не по пути, мы не желаем угодить туда вместе с ними.

Эту непривычно длинную для него речь Пьер произнес с жаром, его голос то дрожал, то пресекался от волнения, слова сопровождались тревожными жестами. Сомнения и мысли, давно



У костра на берегу Сены.

его удручавшие, как бы прорвались наружу. Высказавшись, он уронил голову на грудь, надломленный собственным порывом.

Жан смотрел на оратора сочувственно и восхищенно, Изегрин глазами и хвостом выражал полное одобрение, а брат Мартин застыл в неподвижности, откинув назад голову и задумчиво провожая взглядом плывущие в небе облака.

Когда он медленно перевел взор на окончившего свою речь Пьера, его глаза выражали горечь и сострадание. Прищурившись

и сосредоточенно глядя на догоравший костер, брат Мартин заговорил, словно припоминая, тихим приглушенным голосом:

— Примерно такие же речи многие честные люди вели много-много лет назад. Как и вы, они единодушно упрекали монастыри в дурных обычаях и грехах. В ту пору и церковь, и сам папа были не на шутку встревожены не столько этими толками, сколько тем, что паломники стали реже посещать монастыри и сильно убавился приток доброхотных подношений, получаемых церковью и монастырями. Надо было во что бы то ни стало доказать, что не все монастыри плохи, что не все монахи чревоугодники и ленивцы. Тогда-то и появился аббат Вернон, создавший новый монастырь, явно отличавшийся от всех прочих строгим уставом, суровым обликом монахов, презирающих дела мирские и отдающих все свое время, все свои помыслы и заботы труду и молитве.

Ученики аббата Вернона и сменившего его аббата Оддона долгое время вырубали леса, выжигали мелколесье, расчищали дикие места под пашню и сами своим соленым потом орошали каждую борозду на нетронутой плугом земле. Зарю утреннюю и зарю вечернюю встречали клюнийские монахи все вместе в собственноручно сколоченной ими бревенчатой церкви, где, стоя, они проводили долгие часы молитвы.

И вот как будто оправдались надежды благочестивых основателей новой Клюнийской обители. Вширь и вдаль разнеслась молва о праведной жизни монахов-тружеников. И потянулись в Ключни богомольцы и паломники. Их становилось все больше и больше, и они несли в Ключническую обитель не только свои горести и беды, жалобы и надежды, грехи и просьбы о божьем прощении. Заодно с ними они приносили и свои дары: и с трудом сбереженные гроши, и злодейски добытые червонцы. Десятки и сотни людей завещали Ключническому монастырю земли вместе с сидящими на них крестьянами...

И по мере того как росла слава Ключни, становились просторнее его амбары и погреба и все выше и выше поднимались окружавшие его горделивые стены. Отныне за этими крепкими каменными стенами укрывалось от грозных преследователей немало баронов и рыцарей, и все они отдавали монастырю еще не отнятое у них добро, тот вклад, за счет которого монастырь охотно их кормил и оберегал. С каждым годом росли богатства Ключни, а с ними росло и число подневольных крестьян, принадлежавших монастырю и своим трудом содержавших монастырскую братию. Прославленный и разбогатевший Ключнический монастырь стал совсем не таким, каким он был при первых своих аббатах. И уже не в собственноручно сколоченной деревянной церкви молились монахи, а в торжественном, богато убранном храме. Все изменилось — и вот передо мной два беглеца из Ключни...

Не удивляют меня, сыны мои, ни ваши чувства, ни ваше бегство. Пусть и вас не удивляет судьба покинутой вами обители.

Надобно и вам поразмыслить об этой судьбе, прежде чем стучаться в ворота другой монастырской обители, которая, может быть, и не лучше!

Слова брата Мартина разом всколыхнули все сомнения и думы юношей, пробудили щемящую тревогу...

На этот раз молчание прервал младший из путешественников.

— Мы слышали, отец,— сказал Жан,— что ваш монастырь цистерцианских братьев не похож на Клунийский. Ведь в вашем монастыре царит строгий дух святого Бернарда и у вас нет собственных, принадлежащих монастырю крестьян и, стало быть, монахи живут трудом своих рук, а не за счет деревенских бедняков. Вот мы и хотим разделить с вашими братьями их труды и вместе с ними спастись!

Ответа долго не было. Брат Мартин задумчиво гладил спящего Изегрина. Горькая улыбка блуждала на его лице, и тревога все сильнее сжимала сердца юношей. Наконец брат Мартин оторвал взор от Изегрина и заговорил...

— Слышали ли вы когда-нибудь о «конверзах» или «бородатых братьях»? Так называют смиренных и, увы, многочисленных слуг монастыря. Они ходят в монашеском одеянии, внешне лишь борода отличает их от бритых монахов. Но они редко посещают богослужение и только по воскресеньям слушают аббата, который скорее ругает их, чем проповедует. Их не учат ни чтению, ни письму, их не обременяют молитвами, чтобы не отвлекать от трудов в поле и винограднике. Связанные монашеским обетом, они не могут иметь семьи, и все их время, все их силы уходят на то, чтобы бритой монашеской братии жилось вольготно и бестревожно. ...Ты, сынок, упомянул о строгом основателе монастыря — святом Бернарде,—продолжал брат Мартин,—так вот, каждое слово этого аббата тщательно записывалось, и в мою память навсегда врезались суровые его слова, сказанные одному из несчастных конверзов: «У тебя не было ни чулок, ни башмаков, ты ходил полуголым, холод и голод мучили тебя. Ты прибежал к нам и мольбы твои открыли тебе двери аббатства. Христа ради приняли мы тебя,— точно ты равен ученым и самым знатым, находящимся в нашей среде, и у тебя есть пища, и одежда, и все, что надо».

Резким движением руки, как бы отметая только что прозвучавшие слова, брат Мартин добавил:

— Жестоки и лицемерны эти слова. Голодных людей, скитавшихся в лесах и преследуемых прежними господами, этих отчаявшихся беглецов святой Бернард принимал в свой монастырь не для того, чтобы сделать их равными монахам дворянского происхождения, а лишь затем, чтобы превратить в пожизненных бесправных и безответных слуг и вечно попрекать куском хлеба. Эти презираемые монастырские холопы обязаны забыть отца и мать, отречься от родных и близких ради угождения аббату и его белоручкам-монахам. Безродные и покорные, лишенные семьи, преж-



Монастырский скрипторий.

двременно дряхлеющие люди с потухшим взором и бояливой оглядкой — таковы конверзы, угрюмые невольники святой обители.

Начав совсем тихо, с опущенной головой, брат Мартин постепенно дал волю своему голосу, в котором звучало мрачное негодование. Множество мыслей, неясных догадок, опасений рождалось при этом в головах обеих юношей, но прежде всего возникал один вопрос, который тотчас же задал Пьер:

— Брат Мартин, если «бородатые братья» — конверзы — люди неграмотные, то как же вы, человек, складно говорящий, много знающий и явно сведущий в грамоте, попали в их число?..

— Что я смыслю в грамоте,— ответил брат Мартин, усмехнувшись,— это вы заметили верно! Слыхали ли вы, что такое скрипторий? Так называют самое замечательное место в монастыре. Если трапезная и кухня — это желудок прожорливого монастыря, то библиотека и скрипторий — его мозг! В скриптории переписывают наново старые рукописи, там рождаются новые рукописные книги. Мне часто видится во сне наш скрипторий: небольшие столики с наклонным треугольным пюпитром на каждом из них. Ровный свет льется из окон на пюпитры и лежащие на них листы.

Над одним из таких пюпитров склонялся и я, выводя гусиным пером букву за буквой, укладывая их в ровные красивые строки. С немалым трудом научился я оживлять темную вязь рукописи яркими пятнами заглавных букв в начале страницы. Изгибы такой буквы мы переплетали извилинами причудливых растений, украшали их телами диковинных животных. Мы все старались превзойти друг друга затейливостью и многоцветностью изображения, чтобы алой киноварью или небесной бирюзой порадовать читателя.

Я мечтал научиться искусству миниатюры — умению в небольшом квадратике или прямоугольнике вместить целую картину. Были ведь такие мастера, которые ухитрились изображать в красках плывущих мореходов, сражающихся рыцарей, занимая лишь крохотное местечко на пергаменте.

Большое дело творится в скрипториях. Зачастую единственный экземпляр рукописи вновь оживает во многих копиях и мысли, которые могли бы остаться неизвестными в забытом и затерявшемся свитке, находят дорогу к новым читателям. Правда, приходится переписывать скучные послания епископов, похожие друг на друга, как стертые монеты, но случалось нам и давать новую жизнь стихам древних поэтов, таких, как Вергилий или Овидий. Мы спасали их творения не только от мышей, плесени и разрушения, но также от забвения современников и потомков.

А ведь в этих стихах говорилось о делах и подвигах героев, в них прославлялись доблесть и любовь, природа и человек, и этому ничуть не мешали упоминания языческих богов, рассказы о них, похожие на сказки.

— Брат Мартин,— перебил его Жан,— чем же вы провинились, если из переписчиков попали в конверзы?..

— Постой, мальчик, не торопи меня,— отвечал рассказчик,— я как раз и подошел к тому, что не все старались спасти старинные рукописи и находились, напротив, такие люди, которые их охотно уничтожали... Да, да, именно так и было,— добавил брат Мартин, видя недоумение на лицах юношей...— Вы ведь знаете,—



Брат Мартин перед монастырским судом.

продолжал он далее,—что писать нам приходилось на пергаменте — на тонко выделанной телячьей коже, и нетрудно смекнуть как дорого обходится каждая новая рукопись... Так вот, с некоторых пор пергамент понадобился для составления хозяйственных отчетов, для записи монастырских доходов и расходов. Ведь если со старой рукописи счистить скребком то, что на ней написано, ее можно использовать для любой новой записи.

При этом никто не посмел тронуть папские буллы и вздорные жития святых, но именно поэтому и пострадали драгоценные рукописи древних авторов. Некоторые из них погибли, но остальные мы сумели припрятать. Вот тогда и началась война. И так как меня считали злостным виновником утайки языческих рукописей, мне решили отомстить. Ждали лишь подходящего случая, чтобы нанести меткий удар.

Чтобы дальнейшее стало для вас понятным, мне придется снова вернуться к делам нашего скриптория.

Создавая в тиши скриптория новые книги, переписчик видит свою задачу не просто в том, чтобы переносить готовые слова и фразы с одного пергамента на другой. Рождавшаяся книга была любимым детищем переписчика, и он не терпел в ней никаких недостатков. Он подмечал в переписываемой рукописи неудачные или путанно написанные места, замечал, что автор иной раз уклонялся от разъяснений, совершенно необходимых читателю. Порою встречались ошибки либо такие суждения, которые вызывали самые решительные возражения переписчика.

Не желая ни менять, ни исказить, добросовестный переписчик оставлял неизменным содержание рукописи, но рядом с авторскими строками на полях рукописи он помещал свои собственные замечания — свою «глоссу»... Эта глосса поистине замечательная вещь! В рукописной книге она то же самое, что соль в супе!.. Неопытному, слишком доверчивому читателю она помогает разобраться в написанном, оценить его и покритиковать... Представьте себе, что в непроглядно темную ночь у вас под ногами вдруг замерцал светлячок, и, склонившись к нему, вы видите, как его голубой огонек неожиданно вырывает из окружающего мрака и пронизывает светом что-то прежде незамеченное, и в этом ожившем пятне света, в ясно обрисовавшихся прожилках вы узнаете листы дуба или орешника.

Подобно другим переписчикам, и я не раз оставлял на полях рукописей светлячки своей глоссы, в надежде, что они помогут рассеять мрак слепоты.

Вы, конечно, знаете, что «гостией» называют простой кусочек теста, который священник своей молитвой чудодейственно превращает в частицу тела Христа, распятого более тринадцати веков тому назад¹.

Об этом и было написано в той самой рукописи, на полях которой я начертил в качестве глоссы свой вопрос: «А если гостию съест не человек, а мышь, окажется ли в этой мыши тело Христово и станет ли эта мышь сестрою всех сынов божиих?..»

И вот мои враги, давно подстерегавшие случай, чтобы расправиться со мною, набрали на эту злополучную глоссу.

¹ Имеется в виду так называемое «таинство причастия».

Меня бросили в темницу, допрашивали и обвиняли. Перед лицом аббата меня называли еретиком, богоотступником, дерзнувшем сеять сомнения в святом обычае, в том, что церковь способна творить чудеса!

Если бы не аббат, меня бы отдали в руки грозной инквизиции и я был бы сожжен на площади как еретик. Но наш аббат не пожелал огласки, он не хотел, чтобы разнеслась молва о ереси, проникшей в его монастырь, не хотел, чтобы тень легла на его святую обитель.

Поэтому он обязал моих врагов хранить молчание о происшедшем, а меня после поста и покаяния лишил звания монаха и низвел в конверзы.

Но я недолго прожил в полутемном подвале со злосчастными «бородатыми братьями». Опасались, как бы я их не свел с пути, как бы не склонил их к ереси. И меня назначили конюхом на одну из монастырских конюшен. Лошадей я люблю, исправно забочусь о них, и они у меня всегда сытые и ухоженные. Мне доверяют перевозки монастырского добра, и я дышу вольным воздухом полей и лесов, ночью на сеновале и оттуда в ясные ночи гляжу через оконце на месяц и на звезды.

Рассказ брата Мартина произвел глубокое впечатление на его спутников. Не находя слов, они изумленно смотрели на него, как смотрят на мудрого учителя, которого почитают даже в том случае, если и не понимают его до конца.

Словно желая стряхнуть с себя бремя тягостных воспоминаний, брат Мартин решительно поднялся и, прервав затянувшуюся беседу, сказал, указав на солнце:

— Поглядите-ка, где солнце, нам ведь надо засветло добратья до нашей обители.

Направившись к лошадям, он начал впрягать их в повозку. Заскрипела сбруя, фыркали кони, деловито затыкал Изегрин... Юноши оставались сидеть на прежнем месте, озадаченные и подавленные услышанным. Наконец Пьер, как бы выйдя из оцепенения, стремительно вскочил, подбежал к брату Мартину, схватил его за рукав рясы и с нетерпеливой настойчивостью, в которой звучала жалоба, попросил:

— Хоть вам и некогда, брат Мартин, умоляю вас, ответьте нам на один вопрос, очень, очень для нас важный...

Перед глазами брата Мартина было побледневшее лицо юноши, он видел устремленные на себя глаза с застывшим в них выражением боли и тревоги.

Вместо ответа он кивнул головой, и Пьер торопливо заговорил:

— Мне показалось, что как-то мимоходом вы презрительно отозвались о божьих подвижниках. Поверьте, не простое любопытство говорит во мне. Ведь все эти годы мы преклонялись перед духом святых мучеников. Сравнивая их жизнь с жизнью наших самодовольных и грешных наставников, мы надеялись, что и мы

сами, с божьей помощью, уподобимся угодникам Божиим, а вы, брат Мартин, ученый и, по всему видно, добрый человек и христианин, вы словно бы ни во что не ставите святые примеры, которым нам так хотелось следовать...

Сказав это, Пьер замолк, пылливо всматриваясь в сурово потемневшее лицо брата Мартина, который тоскливо вздохнул, досадливо тряхнул зажатými в руке поводьями и явно нехотя заговорил:

— Подвижниками называют тех, кто совершает подвиг. Вот и следует разобраться в том, каков подвиг «божьих подвижников» — прославленных столпов церкви. И так как легче всего вещи познаются сравнением, я вам напомним о том, что считали подвигом люди древности. Греки недаром славили подвиги Геркулеса. Возьмем, к примеру, хотя бы два из них. Убивая зловещую гидру, Геркулес отважно спасает людей от страшного чудовища. Очищая авгиевы конюшни, Геркулес убирает прочь завалы многолетних нечистот, к которым слабые и чересчур брезгливые белоручки боялись даже прикоснуться. Он борется за здоровье, за чистый воздух.

Итак, в зеркале древней легенды отражены два подвига: подвиг героя-воина и подвиг труженика. И право же, совсем не важно, что перед нами ткань вымысла, а не твердь достоверности! Важно то, что древние видели подвиг в служении людям, в борьбе за безопасность и счастье народа.

А каковы подвиги столпов церкви, ее святых великомучеников?

Святой Макарий восемь месяцев спал в болоте, добровольно отдавая свое тело на съедение болотной мошкаре, и за это был сочтен святым. Святой Пахомий пятнадцать лет не спал лежа, он спал сидя, стоя, скорчившись, и за это тоже был удостоен звания святого. Иоанн Ликопольский 48 лет не видел женского лица и за это признан святым. Святой Авраамий 50 лет не умывался, чем и доказал свою святость. А Симеон-столпник — тот превзошел всех: он вкопал в землю высокий столб, увенчанный на вершине площадкой, взобрался на эту площадку и, не покинув ее ни разу, молился и непрерывно отбивал там поклоны целых 35 лет...

— И я снова скажу,— пояснил брат Мартин,— вовсе не важно, что в этих рассказах вымысла куда больше, чем правды!.. Важно, по-моему, понять, чему нас учат все эти повести о подвигах святых. Служат ли эти рассказы счастьем людей, их спокойствию и благополучию? Полезны ли они, или бесполезны?.. Если все эти примеры святого подвижничества положить на те же самые весы, на которых мы взвешивали подвиги Геркулеса, то придется с уверенностью сказать так:

— Если бы стойкость, решимость, волю, упорство, если бы жар души всех этих божьих подвижников обратить на службу людям: на расчистку лесов, осушение болот, возведение плотин,

насаждение плодовых садов, обработку полей, посевы хлебов, постройку жилищ и школ,—подумайте-ка сами, как расцвела бы земля, сколько радости было бы дано новым поколениям!.. А вместо этого на примерах прославленных великомучеников нас учат презирать труд и человеческую радость, истязать собственное тело, а зло бесполезного мученичества провозглашать и считать высшим благом! Ведь, изгоняя Адама и Еву из рая, бог твердо решил положить конец их безделью. Он велел им и всем их потомкам в поте лица обрабатывать землю, а не валяться в болоте или торчать на вкопанных в землю столбах, либо растрачивать дни на молитвы и обжорство!

Для полезных трудов человеку нужно здоровое и крепкое тело, а угодники божьи его нарочито истязают и калечат, а их почитатели в монастырях долгими трапезами и бездельем делают свое тело дряблым и слабым. Бог велел всем потомкам Адама и Евы трудиться, создавать семьи и воспитывать детей, а святые мученики, монахи и монахини презирают труд, остаются лишенными и семьи, и детей...

Движением руки отстраняя возможные возражения пытавшегося что-то сказать Пьера, брат Мартин продолжал:

— Нет уж, ежели заставили меня заговорить, дайте уж кончить... Я хочу сказать о том, что мрачные примеры отречения от мира и всех земных радостей имеют в наши времена великую притягательную силу. Ведь святой Авраамий, на беду, нашел десятки подражателей, решивших, как и он, никогда не умываться, и, например, святая Евпраксия при одном только упоминании об омовении дрожала от негодования.

Ведь и Симеон-столпник нашел последователей, вкапывавших в землю столбы, взбиравшихся на них и сидевших там, кто сколько мог. Итак,—продолжал брат Мартин,—что же несут нам примеры святых? Дни в затворничестве монастырского уединения и поста, ночи на ногах в многочасовой молитве, отказ от желанной пищи и спокойного сна, отречение от всех радостей жизни ради блаженства на небе. Все это имеет свое имя — церковный аскетизм!

И поймите — больше всего к аскетизму тяготеют именно те люди, чья жизнь и без того полна лишений и трудов, и без того бедна радостями.

Как утопающий за соломинку, отчаявшийся человек хватается за сладкое обещание посмертного счастья...

Брат Мартин говорил все это стоя, прислонившись к повозке, продолжая сжимать оставшиеся в его руке вожжи, глядя через голову Пьера куда-то вдаль. Переведя взгляд на огорченное лицо Пьера, коснувшись рукою его груди, он спросил:

— А знаешь ли ты, почему церковь так настойчиво и терпеливо снова и снова велит переписывать и распространять жития любимых твоих подвижников?..— И, не дожидаясь ответа, он рас-

крыл свою мысль: — Когда в деревню присылают молодого священника, сельские жители — его прихожане приносят ему свои жалобы, скорбные рассказы о несправедливых обидах и притеснениях... Так вот, если он будет сочувственно вникать в эти рассказы, о нем скажут, что он разжигает мужицкое недовольство; а если он вовсе отмахнется от поведенных ему невзгод, прихожане от него отвернутся как от чужого и холодного человека.

Тогда-то и выручают священника жития святых. Опираясь на них, он скажет прихожанам: «Что значат ваши мелкие невзгоды и обиды в сравнении с безмерными муками, которым вполне добровольно себя подвергали и святой Пахомий, и святой Симеон-столпник!»

Примерами святых подвижников священник попросту обесценивает каждодневные страдания деревенского люда и как бы превращает эти неизбежные страдания в желанное испытание, в необходимые ступени лестницы, ведущей прямо к небу, к спасению, к раю!

Произнеся эти слова, брат Мартин повернулся спиною к обоим юношам, торопливо покончил с упряжью, взобрался на повозку и сердито бросил:

— Задержался я с этими разговорами, не добраться нам теперь засветло!.. Садитесь поживей!

И снова тронулась повозка, снова понеслись ей навстречу деревья, поплыли холмы и рощи, но юным спутникам казалось, будто поблекла зелень и потускнело солнце... Не замечая окружающего, они тщетно пытались собраться с мыслями...

Густые сумерки уже сменились мглою позднего вечера, когда впереди блеснула серебряная лента широкой Обы и повозка медленно перебралась на стоявший у берега паром. Вскоре перед путниками выросла темная громада монастырских строений. Подъезжая к ней, брат Мартин словно нехотя произнес:

— Обо всем сказанном мною вы можете размышлять, но в стенах нашей обители не вспоминайте об этом вслух!

Брат Мартин окликнул привратника, неторопливо отворившего тяжелые створки наружных ворот. Они раскрылись, за ними показался пробитый в сторожевой башне низко нависший свод мрачного каменного коридора. Настежь распахнувшиеся ворота и зиявшая за ними полутьма узкого прохода казались разинутой пастью огромного чудовища, готового поглотить прибывших издалека путников.

Когда повозка въехала под свод и стук ее колес гулко повторился дробным отзвуком каменного свода, сердца прибывших невольно сжала тоска. Что ждало их за стенами этой суровой монастырской обители?

Мигель становится мореходом

Ранним апрельским утром 1341 года в Лиссабонский порт медленно входила крепко просмоленная рыбацья лодка. На середине ее в косых лучах солнца поблескивала серебристой чешуей куча сваленной в корзину рыбы.

Налегая на весла, пожилой гребец то озирался по сторонам, то внимательно поглядывал на корму, где шустрый подросток ловко орудовал рулевым веслом. Бросая взгляды вправо и влево, он то и дело поворачивал лодку, то уступая дорогу шедшим навстречу парусным судам, то старательно огибая стоявшие на якоре торговые корабли.

Среди двигавшихся и неподвижно стоявших кораблей надо было напряженно следить за всеми возникавшими на пути препятствиями, поминутно поворачивать лодку, ловко лавировать среди высокобортных судов.

Наконец показалась и низкая береговая отмель, темневшая от множества лежавших на ней перевернутых кверху дном лодок.

Едва путники пристали к берегу, они были атакованы местными торговцами. С невообразимым криком те накидывались на каждую ладью и клялись, что предлагают честную цену. На самом деле они стремились как можно дешевле закупить весь рыбацкий улов, чтобы перепродавать его на рынке гораздо дороже. Но так как расторопных перекупщиков было немало, они, чтобы отбить друг у друга желанный товар, были вынуждены набавлять цену.

Наконец Васко Перес, так звали только что прибывшего рыбака, избавился от назойливых перекупщиков, уступив рыбу тому, кто давал более сносную цену.

Покончив со сделкой, Васко с помощью сына выволок лодку на берег и перевернул ее вверх дном. С этой минуты под кровом перевернутой лодки они, подобно другим рыбакам, получали место для бесплатного ночлега и достаточное укрытие от солнца, дождя и ветра.

Васко неторопливо извлек холщовый мешок, вынул из него прихваченную из дому снедь — хлеб, сушеную рыбу, сыр, лук и соль, разложил ее на мешке, уселся рядом и кивком головы предложил сыну приступить к еде.



Каравелла.

Однако что значили тумачи в сравнении с картиной, открывшейся перед Мигелем!

В родной прибрежной деревне он тоже видел корабли. Но там они проплывали вдали и казались маленькими, похожими друг на друга.

Здесь, на рейде Лиссабона, Мигель не только дивился их внушительным размерам, но и подмечал различия их внешнего вида.

Особенно поражали носы кораблей: одни гордо вздымались вверх, другие скромно выдавались вперед. И чего только не было на этих носсах! Мигель увидел изгибавшихся, ярко окрашенных деревянных змей, задравших свои хищные головы над верхушкой носа. Бросались в глаза морды невиданных чудовищ, разинувших пасти и как бы ограждавших от бури палубу приподнятыми крыльями.

На некоторых кораблях Мигель сразу узнал старых знакомых. То были привычные фигуры святых, очевидно, покинувших свои места в церкви, чтобы грудью встретить набегавшие на корабль волны и отворотить от него опасность.

С одного из кораблей стали сбрасывать якоря. Мигель насчитал их восемь. Проводив взглядом проплывавший мимо военный корабль, он успел подумать: «Какой чудесный! Вот бы попасть на такой корабль!»

Наконец трапеза закончилась. Отец поднялся, перекрестившись и наспех пробормотав слова молитвы.

— Зачем нам есть здесь, если мы должны пойти в таверну и сможем позавтракать там? — удивленно спросил Мигель.

— Пустяки говоришь! — ответил отец и пояснил: — Чтобы платить за харчи в таверне, денег не напасешься! Мы пойдем туда, чтобы встретиться с нужным нам человеком и потолковать с ним о деле.

Рыбаки приступили к еде. Но Мигелю было не до нее — нельзя было оторвать глаз от панорамы порта, где все было новым и замечательно интересным. Он вертелся на месте, как юла, за что получил от отца несколько полновесных тумачков.

Миновали корабельные причалы и пройдя по главной набережной, отец с сыном очутились на площади, пестревшей странными вывесками. Васко был несилен в грамоте, но Мигель с любопытством читал вслух: «Радость моряка», «Веселый пирс», «Не унывай!»...

Отец отрицательно качал головой:

— Нет, это не то, чего мы ищем!.. Стоп! Вот она, нужная нам таверна! — С этими словами Васко указал на большую свиную голову, торчавшую над дощатой входной дверью.

Мигель сразу же вспомнил, что именно так, «Свиной головой», называлась та лиссабонская таверна, где отец должен был встретиться со своим молочным братом — бывалым моряком Луисом, о котором Мигель наслышался всяких диковинок.

К великой досаде Васко, Луиса в таверне еще не было. В ожидании его поневоле пришлось заказать две кружки пива, которое отец и сын потягивали с нарочитой медлительностью.

Когда, наконец, явился Луис, Мигель впился глазами в этого осанистого высокого моряка с поседевшими висками и обветренным лицом.

Обнявшись и обменявшись громкими восклицаниями, Васко и Луис за кувшином крепкого местного вина вступили в оживленную беседу. Мигель вслушивался в беседу отца с дядей, дожидаясь, когда речь зайдет о нем. Отец с досадой говорил:

— Мальчишка вбил себе в голову, что обязательно станет моряком. А мне вот обидно! Ведь наш деревенский священник твердит, что он у меня башковитый... Представь себе, даже в латыни смыслит. Вот я и хотел, чтобы он выучился и стал попом. Жил бы сытно и вольготно, смог бы подкинуть младшим братьям и сестрам... Да где там — я и добром его уговаривал и порол, ничего не помогает. Заладил: «Буду моряком!»

Луис громко расхохотался. Лукаво подмигнув Мигелю и ободряюще положив руку на его плечо, он сказал, обращаясь к Васко:

— Видишь ли, старина, нынче многое переменялось. Смысленные да грамотные теперь нужны не только в поповском, но и в нашем морском деле. Это во-первых! А во-вторых, доложу я тебе, наступают такие времена, когда толковый моряк сумеет разбогатеть не хуже заправского попа...

Тут Мигель не удержался и поспешил задать давно занимавший его вопрос:

— Почему на больших кораблях так много якорей,— на одном из них я заметил целых восемь?

— А для чего вообще-то корабли ставят на якоря? — ответил Луис вопросом на вопрос.

— Конечно, знаю,— ведь наша лодка тоже имеет якорь. Он нужен, чтобы ветер и волны не унесли судно, и чем тяжелее якорь, тем крепче он держит корабль.

— Верно, молодец!.. Случается, однако, что судно срывается с якоря, он застревает, а судно уносит в море. К тому же чем больше и тяжелее якорь, тем труднее его отлить и сложнее с ним обходиться. Вот и приходится заменять один громоздкий якорь несколькими меньшими. Если один из них оторвется, судно будет удерживать остальные. Да и забрасывать малые якоря куда легче, чем большие.— С минуту помолчав, Луис спросил:

— Знаешь ли ты, Мигель, что такое компас?

— Знаю, я видел его у одного из наших односельчан, бывшего моряка. Это намагниченная стрелка, прикрепленная к пробке, плавающей в сосуде с водой. Следя за направлением стрелки, мы можем узнать, где расположены все стороны света.

— Ты правильно понял устройство компаса,— заметил Луис.— Только тот компас, который ты видел, устарел и малопригоден в нашем деле.

— Почему же? — спросил Мигель.

— Да ты вообрази, что во время бури стоишь на палубе, а в руке у тебя тот самый сосуд с водой. Палуба качается у тебя под ногами, а пробка в сосуде пляшет, и сам черт не разберет, куда глядит стрелка. Теперь не так! Нашелся умный итальянец Флавио Джойя. Он надел намагниченную горизонтальную стрелку на вертикальный стержень, который поместил в центре круга — картушки, разделенной на 16 румбов¹! Картушка покоится в специальном ящике, что придает устойчивость стрелке...

— А ты, малый, не боишься моря? — улыбаясь, спросил Луис.

— Что вы! Я готов всю жизнь провести на море, — воскликнул Мигель.

— Вижу, что ты парень смысленный и не трус!

Обернувшись к Васко, Луис заговорил деловито и серьезно:

— Давай-ка поговорим о деле. Если уж начинать парню морскую службу, то лучше сделать это под присмотром родича и земляка. К тому же служу я не на каком-либо корабле, а на каравелле, а лучше ее не сыщешь корабля... Подъезжайте на своей лодке завтра утром к нашей каравелле... Подойдем-ка к окошку, Васко, я тебе покажу, где именно она стоит.

Оба отошли к окну. Мигель остался сидеть на прежнем месте. Теперь он знал: море ждет его, его ждет новый корабль — каравелла.

На следующий день Мигель проснулся с восходом солнца. Ему не терпелось поскорее попасть на каравеллу, и он досадовал, что отец не спешит выбраться из-под лодки.

Наконец Васко с Мигелем стали пробираться на лодке к месту стоянки «Святой Марии». Вплотную подойдя к каравелле, они привязали лодку к нижнему концу свисавшей с борта веревочной лестницы и поднялись по ней на палубу.

¹ В дальнейшем картушку стали делить на 32 румба.

Встретивший их Луис сообщил, что капитан, ночевавший в городе, еще не прибыл с берега. До его прибытия оставалось время, которое Луис предложил затратить на осмотр каравеллы.

Васко принял это предложение безучастно, а Мигель просиял.

— А что это за огромный корабль стоит позади «Святой Марии»? Он гораздо больше ее! — осведомился нетерпеливый Мигель.

— Это неф,—ответил Луис,—так называются большие военные корабли.

— Какой же он длинный и широкий, какие на нем возвышаются надстройки! — с явным восхищением воскликнул Мигель.

— Да,—подтвердил Луис,— длина судна примерно 40 метров, а ширина в средней его части около 12 метров, глубина осадки — три с половиной метра да и высота у него немалая — 12 метров. Корабль настолько велик, что может взять на борт 800 воинов. В его просторном трюме найдется место для таких запасов снаряжения, продовольствия и пресной воды, которые позволят всему воинскому отряду и команде плавать десять недель без захождения в какой-либо порт.

— Вот так корабль! — вырвалось у Мигеля.

Васко, до сих пор хранивший молчание, остановил Луиса неожиданным вопросом:

— Позволь, позволь! Я, конечно, немного смыслю в вашем деле, но что-то я не слыхивал, чтобы его величество наш король или какой-нибудь другой король посылал свои суда в непрерывное десятидневное плавание! Корабли-то ведь испокон веков плывут вдоль берегов, а от одного порта до другого не ахти как далеко! Чего же ради возить людей десять недель подряд, не заглядывая в гавани? А ведь эдакий кораблик обошелся его милости королю не дешево! Да что я говорю — его милости, он дорого обошелся всем податным людям его величества!

— Насчет дороговизны нефа спорить не стану,— ответил Луис и, подумав, добавил: — А вот насчет морских расстояний ты, дружище, не прав! Не за горами время, когда корабли станут напрямик пересекать морские просторы, прокладывая в туман и непогоду новые дороги в океане, и как знать, сколько недель и месяцев морякам не придется видеть берега и гостить в порту.

Встретив недоверчивую усмешку на лице Васко, Луис добавил:

— Все, что сказал я, не мое мнение. Я всего лишь простой кормчий на «Святой Марии». Я тебе высказал то, что слышал от умных и ученых людей — опытных капитанов и картографов. А порукой тому служит та самая маленькая, но великая штучка, о которой я вчера рассказывал Мигелю. Речь идет о нашем новом компасе — верном советчике в далеких плаваниях.

Мигель, проявлявший явное нетерпение, поинтересовался:

— А как движется этот огромный неф?

— Посмотри на кормовую часть судна. По обе ее стороны видны отверстия. Смотри, как раз сейчас в эти отверстия просовывают короткие весла с широкими лопастями. По-видимому, неф собирается сняться с якоря. Весла нужны ему для управления судном, для поворотов. Но главный двигатель — ветер. Взгляни, на палубе нефа две мачты. Вон висят треугольные латинские паруса. Ветер давит на их поверхность, паруса вздуваются, и, как только корабль освободится от якорей, ветер понесет его вперед.

— А что там за чашки на вершинах мачт?

— Это особые коробки, из которых ведется наблюдение за морем. Смотри, как ловко взбирается вверх дозорный, опираясь руками и ногами на незаметнее издали выступы мачты.

Рядом с огромным нефом «Святая Мария» казалась совсем небольшим судном, и гости Луиса узнали, что по длине она вдвое меньше нефа, да и значительно уже его.

Тень явного разочарования легла на лицо Мигеля. Протяжно свистнув, он сделал пренебрежительный жест, откровенно выразивший его отношение к небольшому суденышку.

Однако Луис не мог допустить подобного пренебрежения к своей любимице каравелле.

— Корабль нельзя оценивать только по его размеру,— заметил он наставительно и продолжал: — Все прочие корабли, кроме каравеллы, отваживаются выходить из порта преимущественно в летнее время, тогда как каравелла покидает свою гавань в любое время года. И это не единственное отличие нашего корабля. Все остальные суда хорошо идут, пока ветер гонит их в нужном направлении. Но если меняется ветер, тогда либо спускай паруса и стой на месте, покуда он вновь не задует по-прежнему, либо не удивляйся, если боковой ветер накренит судно, а то и вовсе опрокинет его и мачты с парусами лягут на поверхность соленых вод.

— Почему же удар волны и перемена ветра безопасны для каравеллы? — в один голос воскликнули Васко и Мигель.

Вместо ответа Луис повел своих гостей на нос каравеллы.

— Перегнитесь через борт и приглядитесь получше к тому, что там, внизу. — Отец и сын наклонились над бортом. Прежде всего им бросилась в глаза резко уходящая вниз косая линия носовой части корабля, под которой начинался тянувшийся до самой кормы продольный брус. Его нижний гребень-киль был глубоким и острым.

Благодаря крутизне угла, под которым на линии киля сходились оба борта каравеллы, и остроте самого киля большая часть каравеллы, не в пример другим судам, оказывалась значительно ниже бурлящей поверхности океана. Это придавало всему кораблю особую устойчивость и равновесие даже в бурю и при шторме. Тяжесть перевозимого груза еще более увеличивала эту устойчивость. Сделав эти пояснения, Луис добавил:

— Всего этого вы, как и многие другие, не знали. Слишком еще мало у нас каравелл. Однако хорошая устойчивость не единственное и, пожалуй, даже не главное преимущество нашей каравеллы!

— Сколько ты видишь мачт? — обратился он к Мигелю.

— Четыре!

— Верно! а теперь гляди: первая несет два прямых паруса, а три другие по одному косому. Это управляемые паруса. Всякий раз при перемене ветра плоскости парусов искусно поворачиваются ему навстречу и каравелла, несмотря на все, продолжает идти туда, куда ей надлежит. Ведь даже при противном ветре каравелла ухитряется зигзагами продвигаться по заданному курсу.

— Луис дал вам правильные объяснения, — неожиданно раздался голос незаметно подошедшего капитана. — Если все остальные парусные корабли полностью зависят от погоды и капризов изменчивого ветра, то каравелла ухитряется обмануть даже его. Только ей служит встречное течение злого ветра.

— Но, — с невольным вздохом добавил капитан, — добиться этого не так-то легко! Этому искусству долго и упорно обучаются наши матросы, приобретая необходимые ловкость и сноровку.

При этих словах Мигель, словно подброшенный невидимой пружиной, подскочил к капитану и срывающимся от волнения голосом воскликнул:

— Господин капитан, клянусь, у меня хватит терпения и настойчивости, чтобы научиться управлять парусами.

Широко улыбнувшись, капитан ответил:

— Невзначай я услышал часть вашей беседы. Вижу, ты паренек смысленный, и, если действительно намерен стать моряком, я возьму тебя на свой корабль.

И, хлопнув Мигеля по плечу, капитан удалился со словами:

— Мы с тобой еще поплаваем!..

Первое плавание

Каравелла «Святая Мария», на которую был принят юнгой Мигель, напоминала потревоженный муравейник. Вся команда и десятка два грузчиков были заняты тяжелыми работами от зари до заката. То и дело раздавались окрики капитана и его помощников: «Держи правее!», «Шевелись!», «Розог захотел?»

Грузили оружие, какие-то осадные машины, реи и доски, вкатывали бочки с ворванью и пресной водой, втаскивали ящики и корзины с хлебом, салом, солониной, сушеной рыбой, волокли тюки пакли, мотки каната, мешки овса, сена и соломы.

К досаде капитана, но к великому удовольствию Мигеля, больше всего хлопот доставила погрузка лошадей. Они ни за что не хотели спускаться по сходням в пугавшую их темноту трюма,

упирались, поднимались на дыбы, сбивая с ног растерявшихся коноводов, рвали построжки и с громким ржанием и топотом разбегались по палубе. Один из коноводов, не выпуская из рук длинного поводка, не рассчитав внезапного крутого поворота, который сделал метавшийся по палубе конь, и, полетев за борт, взметнул вверх целый фонтан пенистых брызг.

Привыкший к тяжелому труду в родной рыбацкой деревне, Мигель работал не хуже взрослых, стараясь показать, что он исправный моряк.

В один из горячих деньков погрузки Мигель услышал за своей спиной знакомый голос Луиса:

— Эй, Мигель, помойся, отряхни одежду и ступай к капитану!

— Почему, чем я провинился, дядя Луис?

— Да нет, ничем ты не провинился, но вот капитану понадобился грамотей, чтобы вести запись всех поступающих на борт грузов... Сказано тебе, ступай!

С новыми обязанностями Мигель освоился быстро. Находясь поблизости от капитана, он с любопытством вслушивался и в распоряжения командира корабля, и во все его разговоры с подчиненными и с людьми, прибывающими с берега.

Не мудрено, что он раньше других узнал оберегаемую до поры до времени тайну предстоявшего маршрута «Святой Марии».

Оказалось, что вместе с еще одной каравеллой и маленьким гребным суденышком «Святая Мария» войдет в состав флотилии, которую опытный моряк генуэзец Малочелло Ланселоте поведет на поиски каких-то Канарских островов, затерявшихся где-то в необъятном океане. Услышанная новость пробудила в Мигеле и жгучий интерес к необычному путешествию, и вместе с тем тревожный холодок страха... Шутка ли сказать: оставить далеко за кормой материк и уйти в глубь неприветливого океана. Оттуда никогда еще не приходил ни один корабль и, если верить старым людям, никогда не возвращались те редкие смельчаки, которые дерзали отправиться в пасть океана.

Мигель шепотом рассказал Луису все, что узнал. Но Луис сурово сдвинул брови и строго-настрого велел ему держать язык за зубами.

Наконец настал знаменательный день смотра отправлявшихся судов.

На набережной Лиссабонской гавани король Альфонс IV, окруженный придворными и стражей, восседал на высоком белом жеребце. Он только что выслушал сообщение канцлера о готовности кораблей к отплытию. Король, защищая ладонью глаза от солнца, пристально всматривался в стоявшие на рейде каравеллы. Затем, по знаку канцлера, сошедшая на берег группа моряков приблизилась к королю и трижды склонилась перед ним в глубоком поклоне. Мигель, стоявший позади своего капитана, видел, как генуэзец Ланселоте сделал три шага вперед и, еще раз отве-

сив низкий поклон королю, на ломаном португальском языке докладывал ему:

— Ваше величество! Обе каравеллы и вспомогательное судно оснащены всем необходимым и готовы к далекому плаванию. В трюмах много продовольствия, оружия и достаточно пресной воды. Капитаны, кормчие и матросы в сборе. Они набраны из опытных, знающих свое дело людей. Среди них, кроме итальянцев и каталонцев, есть и подданные вашего величества, которые станут с помощью божьей опытными моряками португальского королевства. Все ждут сигнала к отплытию. На завтра ожидается сильный попутный ветер. Дозвольте же не терять золотого времени, прикажите — и на рассвете, с отливом, каравеллы поднимут паруса и отправятся в путь.

Король несколько мгновений хмуро молчал, глубокая складка залегла между его бровями. Холодно, но отчетливо он произнес:

— Да будет так, с божьей помощью отправляйтесь!

Разумеется, ни один из моряков не знал, какие сомнения пришлось преодолеть королю, прежде чем согласиться на экспедицию к Канарским островам.

А между тем еще накануне вечером король досадливо ворчал, слушая доклад своего канцлера. Перебив его на полуслове, он сказал:

— Вот уже без малого два года, как готовится эта экспедиция, а до сих пор никто толком не разъяснит мне, что это за острова, где они находятся и какой нам от них будет прок. Ясно только то, что название у них собачье (canis— «канис» — полатыни «собака»). Не мошенник ли этот Ланселоте, который своими баснями о неизвестных островах вытянул из моей казны столько денег? Шутка ли сказать — снарядить две каравеллы, да еще и маленькое судно вдобавок! Ведь если они погибнут, это принесет нам не только убыток. Мы еще и прослышем на весь свет доверчивыми простаками, попросту дураками!

Колебания осторожного короля были, наконец, побеждены настойчивым напоминанием канцлера о том, что на Канарских островах уже успели побывать итальянцы.

Большую часть ночи Мигель ворочался на своей койке. Он отгонял сон, боясь задремать и пропустить момент отплытия. Но перед рассветом усталость взяла свое и он крепко заснул.

— Вставай, начинается отлив, мы поднимаем паруса! — то был голос Луиса. Сна как не бывало. Через несколько минут Мигель был на палубе.

Отдана команда. Якоря подняты. Попутный ветер вздувает натянутые паруса. Под ногами слегка покачивается палуба, и кажется, будто каравелла пляшет на месте, а берег медленно отступает.

К полудню очертания португальских берегов затянуло дымкой, а к вечеру они и вовсе скрылись за горизонтом.

«Святая Мария» уже несколько дней шла заданным курсом на юго-запад. Хотя небо было совершенно ясным, ветер благоприятным, а море спокойным, лица матросов становились все более мрачными. Невысказанная тревога читалась в их взорах, слышалась в звуках их голосов, прорывалась в частых упоминаниях мадонны и в беспричинных проклятиях.

Ни одному из матросов никогда еще не доводилось плыть несколько дней кряду в открытом океане. Идти навстречу неизвестности, оставив так далеко позади себя родные берега? Как при таком удалении вернуться домой, если никакой сигнал бедствия не донесется ни до берега, ни до встречных кораблей?

Эти вопросы тревожили всех. Капитану было ясно, что люди недалеко от отчаяния, что малейшая неудача может вызвать взрыв открытого возмущения. За командующим Ланселоте, находившимся на другой каравелле, была послана шлюпка. После его прибытия на палубе «Святой Марии» были собраны все свободные от вахты матросы.

Речь командующего экспедицией была короткой, но прямодушной и решительной. Он начал с того, что делит с людьми всю опасность необычного путешествия. Тем, кто ничего не знает, она кажется огромной и устрашающей. Но ему, Ланселоте, известно то, что неизвестно всем остальным. Он знает, что на Канарских островах 30 лет назад, в 1312 году, побывали его земляки — итальянцы. Он знает, что от Гибралтара до этих островов 100—120 миль и, стало быть, каравеллы сейчас гораздо ближе к цели своего путешествия, чем к португальскому берегу, знает, что богатая природа Канарских островов щедро вознаградит того, кому они достанутся.

— Что такое страх? — спросил Ланселоте и тут же ответил: — То же самое, что темнота! Во мраке всегда чудятся опасности. Я храбрый не потому, что слеплен из другого теста, чем вы, а потому, что знаю, куда плыву, зачем плыву, и уверен, что доплыву до цели. Спросите бывалых моряков, плававших со мною: можно ли мне верить?..

Речь эта пришлась по душе морякам и внесла успокоение.

На следующий день матрос, стоявший в дозоре, закричал:

— Земля, смотрите, земля, острова!

Обе каравеллы и гребное суденышко медленно огибали первый из островов Канарского архипелага.

После того как были брошены якоря, капитан «Святой Марии» отправился на другую каравеллу получить указания командующего, приказав всем не покидать судно, до его возвращения.

Ожидать пришлось долго. Вернувшись, капитан велел извлечь из трюма и почистить оружие и амуницию, дать коням лишнюю порцию овса и ждать дальнейших распоряжений.

На этот раз никого не приходилось понукать. Матросы, обрадованные близостью земли и счастливым исходом рискованного плавания, дружно и весело трудились: выволакивали из трюма и раскладывали на палубе легкие панцири, сабли и мушкеты, а затем натирали их до блеска. Была дана команда снять одну рею и пробить ее горизонтально к мачтам, после чего вывести из трюма и привязать к ней коней, чтобы они снова привыкли к дневному свету.

Ранним утром из состава команд обеих каравелл был выделен отряд, которому поручили занять остров.

К радости Мигеля, Луис, вошедший в отряд, взял его с собой. Переправа на шлюпке, поочередно перевозившей на берег людей и коней, прошла без помех.

На берегу Мигель вглядывался в густые заросли кустарника, и ему казалось, что он колеблется не только от дуновения ветра. Если зрение его не обманывало, то между ветвями как будто мелькали какие-то лица, но под пристальным взглядом Мигеля ветви быстро смыкались и за их непроницаемой завесой ничего нельзя было разглядеть. Широко протоптанная тропа, уходившая от небольшой бухты в глубь леса, могла быть проложена либо крупным зверем, либо людьми. По этой тропе и двинулся отряд, состоявший из дюжины всадников и легко вооруженных моряков, шагавших впереди этой кавалерии.

— Дядя Луис,—восхищенно воскликнул Мигель,— как хорошо поют эти крохотные желтые птички! ¹ А какие высокие деревья — толстые, ветвистые, с сочными мясистыми листьями и плодами!

— Это инжир, у него вкусные и сладкие плоды,— ответил Луис.

Лес кончился. За ним потянулись полосы рыхлой земли.

— Глянь-ка, Мигель, как хорошо здесь возделана земля, как много овощей на огородах.

За огородами показались островерхие кровли хижин: одна, другая, третья... целая деревня! Не дожидаясь команды, пешие и конные кинулись к хижинам с такой поспешностью, как будто их ожидала встреча с близкими.

Но никакой встречи не произошло. Все хижины оказались пустыми. Вооруженные всадники, блестящее оружие — все это, видимо, вспугнуло осторожных обитателей деревни, и они успели скрыться в лесной чаще. Находившийся тут же Ланселоте послал с десятков людей разведать, нет ли поблизости Другого поселения, и велел поискать беглецов, покинувших деревню.

То ли по приказу командующего, то ли без всякого приказа, но с поразительным единодушием оставшиеся ринулись к хижинам.

¹ *Канарейки* — названы так по имени острова, где они впервые встретились европейцам.

нам. Все найденное волокни на поляну, привьючивали к седлам или клали на сколоченные наспех носилки.

Вместе с другими Луис и Мигель тащили к кораблю козы и другие звериные шкуры, глиняные сосуды с салом и рыбьим жиром, брусья драгоценного красного дерева, корзины плодов, издававших пряный аромат.

К вечеру трюмы каравелл были доверху набиты награбленным добром, и уставшие до изнеможения матросы легли спать.

Утром следующего дня одна из каравелл отправилась обследовать другие острова архипелага, а капитану «Святой Марии» было приказано тщательно обследовать весь остров и во что бы то ни стало изловить и доставить живыми четырех его обитателей. Тем, кто их выследит, была обещана особая награда.

Это разбудило в матросах охотничий пыл. Разбившись на группы, команда стала рыскать по всему острову.

После полудня Мигель услышал шорох в овраге. Раздвинув густые кусты, он потянул за рукав Луиса. Оба увидели полунагих людей, облаченных в окрашенные желтым цветом козы шкуры. Луис приложил палец к губам и подал знак своим спутникам. Через десять минут овраг был оцеплен.

Захваченные врасплох беглецы сдались без сопротивления. Четверо из них были схвачены и отведены на берег. По пути Мигель с удивлением спросил:

— Почему эти люди так похожи на нас?

Луис пожал плечами, но шедший рядом матрос-итальянец пояснил:

— Они похожи на нас не только внешним видом. Их речь напоминает наш язык. Мои соотечественники, 30 лет назад открывшие эти острова, называют здешний народ гуанча¹

Когда моряки вместе с пленниками ожидали прибытия шлюпки, Луис, положив руку на плечо Мигеля, сказал:

— Я вижу теперь, что не зря взял тебя на корабль. Из тебя выйдет заправский моряк! Ты получишь часть награды за то, что заметил этих гуанча!

— Мне очень хочется стать хорошим моряком, дядя Луис,— ответил Мигель,— но, знаешь ли...— тут слезы невольно застлали его глаза и мальчишеский голос дрогнул,— мне стыдно смотреть на этих беззащитных людей. Ведь они не причинили нам никакого зла, а мы схватили их и заставляем дрожать от страха...

— Ничего дурного с ними не случится. Их покажут королю в доказательство того, что мы действительно отыскали эти собачьи острова, покажут и отпустят назад, ведь мы-то сюда вернемся! — Строго посмртрев на мальчика, Луис добавил: — А у настоящего моряка глаза не должны быть на мокром месте. Моряк, который

¹ Современная наука считает гуанча потомками европейцев, заселив, ших Канарские острова в середине первого тысячелетия н. э.

нужен нашему королю, должен быть воином и завоевателем: храбрым, знающим свое дело, твердым, хитрым, но не плаксивым и жалостливым.

Генрих-мореплаватель и конец легенды о мысе Нун

На крутом изломе береговой черты, у водного коридора, разделяющего Европу и Африку, на стыке Атлантики и Средиземноморья расположен мыс Сан-Висенти, связывающий два материка и два бассейна¹.

Полузабытый впоследствии, этот скалистый угол Пиренейского полуострова хранит память о первых шагах океанского мореплавания, о начале смелых путешествий, которым позднейшие поколения дали наименование Великих географических открытий.

На оконечности мыса Сан-Висенти и ныне существует селение Сагроши. На портале его древней церквушки и теперь видна обомшелая каменная доска с полустершейся надписью: «Aeternum sacrum» («Навеки священный»). Отсюда знаменитый принц Энрике, сын Хуана I, короля португальского, решил начать исследование дотоле неизвестных областей Западной Африки и, обогнув ее, проложить путь к странам Востока. Тут Энрике воздвиг на собственные средства большой дворец — знаменитую школу космографии, астрономическую обсерваторию и морской арсенал.

Имя, начертанное на каменной плите, напоминает о человеке, дела которого вписали первую страницу в историю Великих географических открытий, о человеке, заслужившем почтительное изумление соотечественников и столь же заслуженную ненависть африканцев.

Принца Энрике (1394—1460), добровольно променявшего пребывание при лиссабонском дворе на скромное уединение в пустынном Сан-Висенти, и современники и потомки привыкли называть Генрихом-мореплавателем. Между тем сам он никогда не совершал морских путешествий и за всю свою жизнь лишь однажды очутился в море — во время непродолжительной войны с Марокко.

И тем не менее прозвище «мореплаватель» было и остается верной и справедливой оценкой этого «сухопутного моряка».



Портрет Генриха-мореплавателя.

¹ См. карту.

Своей настойчивостью и заботами о снаряжении морских экспедиций он заслужил это звание в ту пору, когда все прочие короли и принцы еще не проявляли должного внимания к морскому делу.

Именно страстный интерес к морю, к изучению океанских путей и отдаленных земель крепко-накрепко привязывал принца Энрике к избранной им точке португальского побережья. Она была самым удобным местом наблюдений за морем.

Здесь надо было строить и оснащать корабли, подбирать капитанов и матросов, готовых плыть по никем не изведанным путям. Сюда надо было привлекать ученых астрономов, космографов и картографов.

Экспедиции, сменяя друг друга, отправлялись в одном направлении — на юго-запад и далее на юг, огибая Западное побережье Африки. Постепенно овладевая опытом судовождения, участники этих первых морских экспедиций заполняли белое пространство географической карты, наносили на нее извилины морских течений, африканских берегов и рек, впервые изображали на ней заливы, гавани и бухты, помечали рифы и отмели.

Но непереносимое условие, без которого не было бы никаких экспедиций, заключалось в том, чтобы принц-географ Энрике снова и снова доставал деньги.

Откуда же их брал принц Энрике? Он приохотил португальских купцов и судовладельцев к разбойничьим набегам на незащищенные берега Африки, обязав участников этого грабежа отдавать принцу-покровителю пятую часть своей пиратской добычи. Пожалуй, легче всего давалась им в руки человеческая добыча. С каждым годом все больше ее продавалось на невольничьих рынках, с каждым годом росли доходы завоевателей и черствели их сердца.

Так, с самого начала, история первых океанских плаваний стала историей беспощадного ограбления беззащитных берегов и историей позорной торговли живым товаром.

Португальский летописец Азура с достоверностью свидетеля-очевидца рисует обычную для его времени картину продажи невольников:

«На площадь в порту Латуш пригнали захваченных на Северо-западном побережье Африки полуголых, грязных, взлохмаченных, изможденных и больных мужчин, женщин и детей, еле волочивших ноги. Их окружали надсмотрщики, с плетью в руках.

К дележу приступили лишь после появления принца, прибывшего в сопровождении пышной свиты, чтобы получить положенную ему пятую долю...

Пригнанных рабов путем жеребьевки разбили на пять групп. При этом отцов разлучали с сыновьями, мужей с женами, братьев с братьями... Каждого ставили туда, куда указывал жребий.

Как только надсмотрщикам удавалось собрать часть рабов в определенную группу, дети, видя, что их родители попали в

другую, напрягали все свои силы, вырывались и устремлялись к отцам и матерям. Матери охватывали своих детей руками и вместе с ними бросались на землю. Вздрагивая под сыпавшимися на них ударами, они не щадили себя, лишь бы удержать при себе детей».

В древнем Риме чтили двуликого Януса, бога с двумя лицами. Одно из этих лиц могло светиться добротой, тогда как другое искажалось злобой и гневом. Таким же двуликим Янусом, но на иной лад, был и зачинатель первых океанских открытий — прославленный Генрих-мореплаватель.

Друг ученых, создатель первой школы географов и мореходов, их заботливый и в нужных случаях щедрый покровитель, он вместе с тем был и неукротимо жадным стяжателем, хищником, не знавшим сострадания.

Открытие мыса Доброй Надежды, за которым простиралось побережье Индийского океана, произошло уже после смерти принца, не шадившего сил, чтобы это открытий стало возможным.

Ученые географы, астрономы и картографы считали, что открытие морского пути из Европы в Индию было целью жизни Энрико-мореплывателя. Им могло казаться, что только во имя этой священной цели он был вынужден стать организатором начинавшегося колониального грабежа Африки.

Разбойничавшие в африканских селениях головорезы, начальники кровавых экспедиций, купцы-работорговцы, напротив, полагали, что все путешествия, научные изыскания, неутомимые поиски новых торговых путей понадобились их вожаку, их вдохновителю и алчному компаньону — принцу Энрике только как средство для колониальных захватов, для отыскания новых источников неслыханной наживы.

Кто же из них был прав?.. Люди науки и люди грязного чистогана видели перед собой два разных лица двуликого Януса.

На протяжении 12 лет все экспедиции, посылаемые вдоль западных берегов Африки, не продвигались дальше мыса Нун¹, название которого означало «нет». Оно как бы запрещало пойти дальше этого предела. Здесь, у мыса Нун, корабли сталкивались с сильным встречным течением, и страх быть унесенными в открытый океан всякий раз побуждал моряков возвращаться.

Падран. (Каменный столб, который португальцы водружали в знак того, что вновь открытая местность отныне принадлежит им.)



¹ См. карту.

Старинные легенды усугубляли этот страх. Говорили, что за мысом Нун находятся магнитные горы, притягивающие к себе металлические снасти, вследствие чего распадается весь корабль. Рассказывали, что за этим мысом путников подстерегают страшные и прожорливые морские чудовища; вспоминали, будто еще легендарный Геркулес водрузил у мыса обелиск с надписью: «Кто проникнет за этот мыс, вряд ли вернется!»

Опытный моряк Эниш, вместо того чтобы по приказу принца обогнуть мыс Нун, отправился на Канарские острова и доложил, будто он выполнил возложенное на него поручение. За обман Эниш был лишен званий, имущества и брошен в тюрьму. Выпущенный оттуда, он в 1434 году все же обогнул мыс Нун и благополучно достиг земли по другую его сторону.

Южнее мыса Нун, переименованного в Баходор, португальцы открыли устье реки Сенегал, которую ошибочно сочли западным рукавом Нила. Однако южнее найденной реки путешественников ждало более важное открытие. Широкие полупустынные степи, простиравшиеся вдоль побережья Северо-Западной Африки, внезапно кончились у мыса, расположенного южнее Сенегала. Здесь высоко к небу возносились вершины огромных вечнозеленых деревьев. Вновь обнаруженный мыс был назван Зеленым мысом. Его открытие потрясло современников. То, что увидели здесь своими глазами португальские мореплаватели, разом опровергло древнее учение Птолемея о необитаемости тропической полосы земного шара.

Страничка будней португальской колонизации

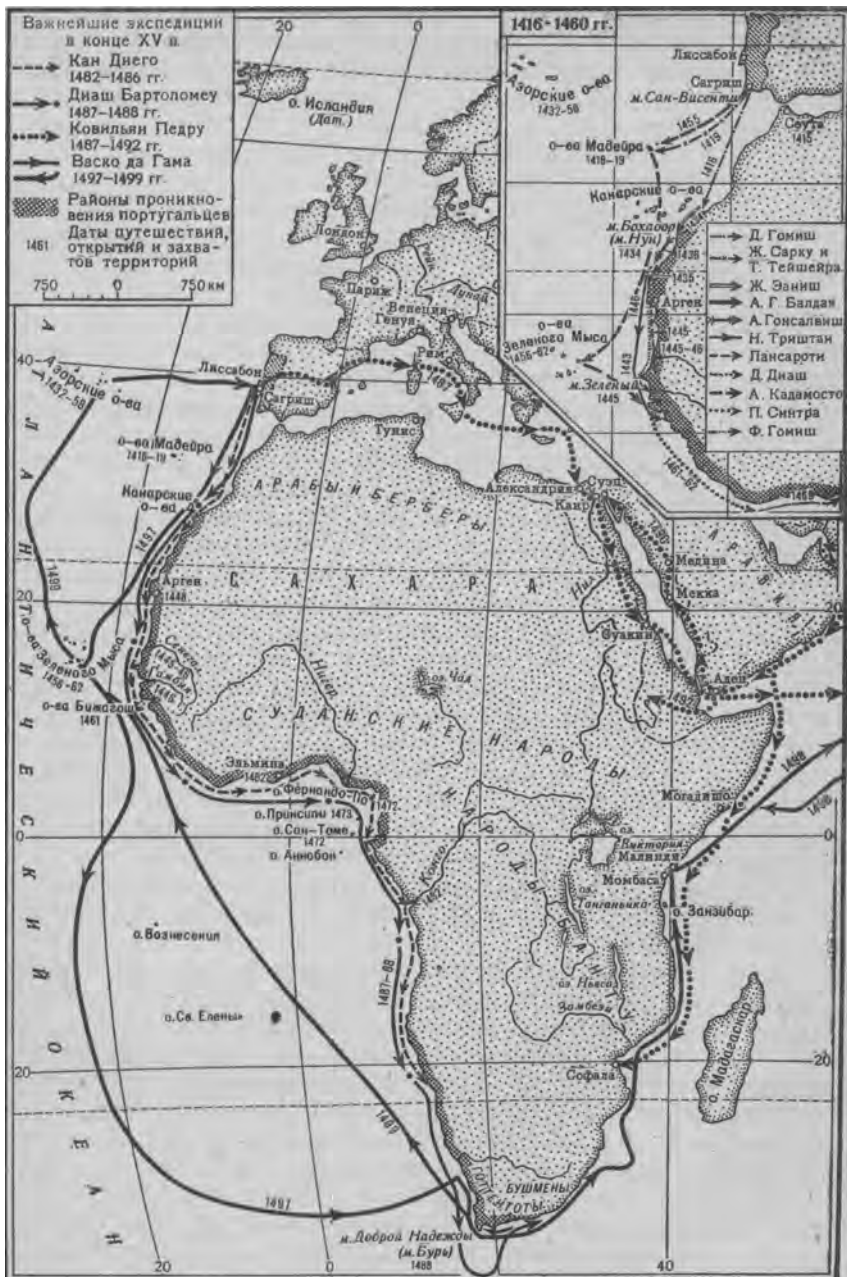
В Конго и Анголе португальцы возводили в удобных гаванях хорошо укрепленные базы-фактории, в которых можно было хранить доставляемые из Европы и вывозимые туда товары, а главное, укрываться в минуты опасности.

Самым ценным товаром считались рабы, которых легче всего было раздобывать после межплеменных войн у победившего племени.

Португальцы, обосновавшись в укрепленных факториях, легко овладевали несложным местным языком, узнавали племенные обычаи и верования. Все их усилия были направлены к тому, чтобы всячески разжигать раздоры и военные столкновения между племенами.

Прежде всего устанавливалась дружба с племенными вождями, которых одаривали, угощали и крестили. Этим вождям даже наделяли пустыми и громкими титулами маркизов и графов и превращали в поставщиков живого товара — рабов.

Рассказывают, как однажды в Анголе к начальнику фактории Санта-Крус (Святой Крест) явился вождь местного племени Ваньянек.



Плавания и открытия португальцев в XV веке.

— Начальник,—сказал он,—предстоит большой праздник: наши юноши достигают совершеннолетия, их ожидает обряд посвящения в воины и охотники. Мне для такого праздника нужна красная материя. Я накину ее себе на плечи к началу обряда.

— Зачем тебе красная, бери синюю.

— Нет, синяя не годится, мне нужна только красная!

— Но красная материя очень редкая и дорогая!

— Бери что хочешь, но дай мне красную материю!

— Что ж, если дашь взамен здорового и красивого юношу и пригожую девушку, получишь красную материю!

— Согласен, но у нас сейчас нет пленных.

— Это дело твое, — холодно заметил начальник фактории,— если ты действительно очень хочешь получить красную материю, то найдешь подходящий товар и среди своих.

Через мгновенье вождь ушел, прижимая к обнаженной груди красную материю. Он знал теперь, как ему действовать...

В назначенный день перед слепленной из камыша и глины хижинной «маркиза» — вождя собрались соплеменники.

Всюду жарились туши коз и собак. Разносились мерные удары в большой барабан. На разостланных циновках стояли корзины с плодами, сосуды из глины. Деревянные высокие обрядовые чаши были доверху полны крепким хмельным напитком.

Герои праздника — юноши уже давно упражнялись в стрельбе из лука, беге, борьбе, пении и пляске, а девушки много дней подряд возводили причудливые прически, одна выше другой.

Мелькали пестрые набедренные повязки мужчин и яркие передники женщин. Петушиные перья колыхались на головах тех и других, сверкали и звенели браслеты на руках и ногах, ожерелья и костяшки на шеях.

Затем, когда к призывному голосу большого барабана присоединились малые барабаны из кожи носорога, дудки, трещотки, свистульки, сухие дощечки, наступил невообразимый хаос звуков, и тогда юноши с луками в руках вошли в круг расступившихся соплеменников.

Состязание в стрельбе и метании дротиков сменилось долгой пляской. Ее начали люди в масках буйвола, носорога, потом последовала пляска юношей, длившаяся часть ночи...

Ночь плясок завершилась пиршеством. Содержимое священных сосудов одурманило головы всем участникам празднества.

Под утро, когда все лежали подкошенные усталостью и сраженные хмельным напитком, вождь снял и бережно сложил свою алую одежду, позвал своих телохранителей и велел связать статного юношу и юную девушку. Их подняли на носилки и понесли по направлению к фактории. Хмель долго и надежно сковывал их. Они пробудились только в стенах португальской фактории — уже рабами белых чужеземцев.

Непогожий зимний день 1527 года был на исходе. Скупой свет, проникавший через узкие решетчатые окна, ложился длинными полосами на каменные плиты пола, на сырые, потемневшие от времени стены, на коричневые, серые и синие плащи и камзолы студентов, которые шумно спорили под вековыми сводами, видевшими не одно поколение школяров. Студенты, толпившиеся в этот день в старом зале Сорбонны, шумели и спорили более обычного. Гулко раздавались их задорные молодые голоса, слышались веселые возгласы, сопровождаемые взрывами дружного смеха. В этот день они слушали первую лекцию нового профессора — гуманиста Альчиато. Студенты с нетерпением ожидали этого прославленного знатока права,— молва о его учености и красноречии распространилась широко. Теперь, после его вступительной лекции, они спешили поделиться впечатлениями и оценить нового преподавателя.

В этом лекторе их удивляло многое: его спокойная уверенность, непринужденная простота человека, чувствовавшего себя в аудитории словно среди старых друзей.

Степенный и коренастый студент, уроженец Оверни, говорил, обращаясь к товарищам:

— Я скажу вам, что именно мне кажется самым замечательным: наш новый лектор не прикован к книге, он не придерживается книжного текста, как слепой стены. Он думает, да, да, именно так, он думает вслух и подкрепляет свою мысль ссылками на кодекс Феодосия, на Грациана, на примеры судебной практики.

С этой оценкой согласилось большинство. Один из собеседников, решительно тряхнув кудрявой головой, с жаром воскликнул:

— А мне нравится совсем другое, мне нравится то, что наш новый лектор знает не только римское и каноническое право, но и античных поэтов, стихи которых украшают его лекцию гораздо больше, чем вся юридическая ученость!

Завязался горячий спор. Пылкие ценители, перебивая друг друга, громко восхищались достоинствами лекции, пытаясь решить, какое из этих достоинств является самым важным и привлекательным.

Оживленный спор мгновенно смолк, когда студент-овернец, лукаво подмигнув, внушительно и громко произнес:

«Все вы ничего не смыслите! Послушаем-ка лучше, что скажет нам наш Аккузативус!»

Все взоры устремились на невысокого студента, который молча стоял, прислонившись к кафедре, и терпеливо вслушивался в речи товарищей. Это был худощавый, слегка сутулый юноша в длинном темно-коричневом камзоле и черном бархатном берете. Его лицо поражало своей бледностью. Длинный, с горбинкой нос придавал ему сходство с какой-то угрюмой и хищной птицей. Это сходство усугубляли две глубокие складки у рта, которые порой делали юношеское лицо почти старческим. Глубоко запавшие и покрасневшие глаза говорили о недостатке сна, о долгих ночных часах, проведенных при тусклом свете за книгой. Глаза были напряженно внимательны и сосредоточенно холодны. Над ними, то изгибаясь дугой, то расправляясь, медленно, но безостановочно двигались тонкие брови, выдавая взволнованную мысль молчаливого юноши...

Последовала долгая пауза. Тот, кого называли Аккузативусом, криво усмехнулся, сделал шаг вперед и, вытянув шею, негромко, но внятно произнес:

— Я не отрицаю ораторского искусства Альчиато, я не оспариваю его умения оживлять свою речь блеском античной поэзии,— но я не считаю его аргументы безупречно построенными и, если вам угодно, я могу доказать...

Но доказывать не пришлось! Раздался дружный смех, прозвучало несколько язвительных реплик, которые были прерваны неожиданным предложением веселого овернца:

— Друзья, поспешим лучше в харчевню «Золотого петуха» и там выпьем за профессора и за нашего неугомонного Аккузативуса, так сказать, и за Голиафа, и за Давида.

В 1509 году в маленьком северофранцузском городке Нуайон, в семье состоятельного чиновника Жерара Ковена родился сын Жан. Старый Ковен подвизался и на судебном и на церковном поприще. Он занимал и место прокурора, и место синдика соборного капитула¹ и, наконец, место епископского секретаря.

Желая открыть сыну дорогу к богатству и почету, Жерар Ковен приобрел для него «пребенду», т. е. должность католического священника. Дело было сделано. Отныне маленького Жана ожидало заблаговременно купленное отцом доходное местечко, которое сулило своему обладателю раз и навсегда обеспеченный доход.

Владелец пребенды мог ничего не смыслить в церковной премудрости, мог не уметь читать по-латыни, мог даже не утруждать себя выполнением докучных обязанностей священника,—он мог

¹ *Соборный капитул* — собрание священнослужителей собора; *синдик* — должностное лицо капитула, его делопроизводитель и секретарь.

их возложить на специально для этого нанятое лицо; приобретенная пребенда, подобно неиссякаемому источнику, обещала приток денег из года в год.

Однако Жерар Ковен рассчитывал на большее... Мечтавший о почете и богатстве, он не питал никакого влечения к науке, но, будучи человеком практичным, не мог не заметить, что светские вельможи и высокопоставленные церковные сановники проявляли необыкновенный интерес к произведениям античных поэтов и ученых, к памятникам древнего искусства. Они щеголяли знанием стихотворных отрывков, пытались украсить свою речь цитатами из Цицерона. Еще большим количеством цитат были уснащены письма, которыми обменивались чванные аристократы, стремившиеся один перед другим блеснуть знаниями, остроумием и изяществом стиля.

Многие вельможи стремились заручиться услугами просвещенных секретарей, которые писали от имени своих покровителей длиннейшие и ученейшие письма. Скромные обязанности секретаря-советчика открывали ловкому человеку доступ к почетным и доходным должностям, которые могли стать первой ступенью длинной лестницы чинов и рангов.

Епископский секретарь Ковен не мог не заметить и того, что католическая церковь именно теперь крайне нуждалась в образованных служителях, без содействия которых нельзя было осуществить того контрнаступления против реформации, к которому деятельно готовился папский Рим и его прислужники.

Способности маленького Жана рано обратили на себя внимание учителей, и отец с радостью увидел в них предзнаменование блестящей карьеры сына. Жана отправили учиться сначала в Бурж, затем в Орлеан и Париж.

Жан Кальвин¹ с первых же лет своей ученической жизни резко отличался от своих товарищей. Он был не только способным мальчиком, но и обладал изумительным трудолюбием, редкой памятью и к тому же избегал шумных игр и развлечений. Молчаливый, замкнутый, Жан просиживал все свободное время в библиотеке, усваивая не только то, что требовала университетская наука, но и все то, к чему его влекла жадная, беспокойная любознательность.

Юридическая премудрость наложила свой отпечаток на Кальвина. Он привык к строгим и точным формулам закона, к последовательным и тщательно проверенным юридическим умозаключениям, к холодным, рассудочным выводам. Он научился всесторонне продумывать каждое положение и сразу же строить цепочку логических выводов, которые из этого положения вытекали. Он научился мысленно рассуждать и, проверяя сам себя, подби-

¹ По тогдашнему обычаю, французскую фамилию латинизировали, и таким образом «Ковен» превратилось в «Кальвин» (Cauvin — Calvinus).

рать убедительные доказательства. Это было его единственным развлечением, его тайной страстью, своеобразным спортом, в котором этот хилый школяр и упрямый честолюбец умел превзойти всех своих товарищей...

Товарищи... Они были у Кальвина, но среди них не было друзей. Их не могло быть, их не мог приобрести юноша, в котором замкнутая отчужденность граничила с высокомерием.

Но еще более заметной была другая особенность Кальвина — его неуживчивый, мелочный, придирчивый характер. Молодой Кальвин неизменно подмечал все провинности своих товарищей, все изъяны их учебной подготовки, все их мелкие грешки. Он обрушивал на них град упреков и нареканий, нескончаемый лоток обвинений по всем правилам прокурорского красноречия. Придем любой пустяк мог вызвать такой поток гневных обличений.

Товарищи сначала протестовали, потом привыкли и, как бы по молчаливому соглашению друг с другом, старались не давать Кальвину поводов для раздражения. Веселые и снисходительные студенты добродушно прозвали Кальвина Аккузативусом, то есть винительным падежом.

Это смолоду полученное и потом забытое прозвище оказалось самой короткой и самой меткой характеристикой Кальвина как деятеля и человека.

Время шло. Кальвин продолжал все так же размеренно и усердно трудиться над книгами. Пришедшая в 1531 году весть о смерти старого Ковена скорее озадачила, чем огорчила сына. Перед ним лежало письмо нуайонского нотариуса, который сообщал, что имущество и сбережения покойного отца ныне принадлежат Кальвину... Потребовалось мииутное раздумье, чтобы прийти к спокойному решению. Предусмотрительность отца устранила для Кальвина тревогу о будущем. Стоило ли тратить время на посещение отчего дома, на расспросы соседей о последних днях отца? Кальвин решил, что не стоит.

Поездка в родные места могла бы только помешать выполнению увлекательного замысла. Кальвин желал испытать свои силы в подражании бессмертному Эразму.

В то время одно за другим выходили в свет произведения древних авторов: исторические труды Светония и Тита Ливия, сочинения Цицерона и Птолема, речи Демосфена, комедии Плавта и Теренция, трагедии Сенеки. Все эти произведения, очищенные рукой гуманистов от ошибок и искажений, допущенных переписчиками, как бы рождались вновь. Они появлялись уже не в рукописном виде. Они печатались в типографии и расходились по всему свету в сотнях и тысячах экземпляров, вызывая восторги гуманистов.

Кальвину хотелось показать, что он, подобно Эразму, отлично разбирается во всех особенностях языка и стиля, во всех тонкостях мысли древних авторов. В результате долгих усилий появилась

рукопись Кальвина, посвященная небольшому философскому трактату Сенеки. При этом Кальвин не упустил возможности намекнуть на события своего времени, которые его интересовали и волновали гораздо больше, чем мысли, высказанные много столетий назад. Увлечение античным автором было для Кальвина лишь данью времени.

Сколько бы ни хвалили Кальвина престарелые ученые, это не удовлетворяло его честолюбия. Репутация знатока классической латыни и ценителя античной философии казалась ему незначительной. Он не желал сиять отраженным светом, от-

блеском древней славы давно забытых мыслителей. Дерзкое самомнение подсказывало ему, что он способен самостоятельно разрешать важнейшие вопросы, выдвинутые жизнью. Его влекли и волновали тогдашние политические разногласия, религиозные распри и ожесточенные споры современников. Он ожидал случая, который позволил бы ему осуществить заветные желания. Такой случай вскоре представился.

Ректор Парижского университета Николай Коп готовился к диспуту на тему «Об оправдании верою». Кальвин предложил свои услуги ректору, который позволил молодому студенту написать для предстоявшего диспута весь текст ректорской речи. Кальвин с лихорадочным нетерпением готовился к первому большому испытанию. И хотя его речь должна была прозвучать в чужих устах, он волновался... Ведь предстояла проверка его мыслей и доказательств. Долгожданный диспут и обрадовал, и испугал Кальвина. Речь ректора взволновала сотни слушателей, она пришлась многим по душе. Однако то, что нравилось студентам и молодым ученым, совсем не понравилось католической церкви. Ректора ожидали неизбежные неприятности, а Кальвин, не на шутку перетрусивший, поспешил предпринять дальнейшее путешествие, предоставив ректору выпутываться из всех затруднений.

Покинув Париж, Кальвин отправился на юг Франции. Он переезжал из города в город, посещал библиотеки, знакомился со многими выдающимися людьми.

Кальвин возвратился в Париж только тогда, когда убедился, что дело со злополучным диспутом уладилось.

Предстояло серьезно подумать о будущем, решить, кем быть.



Жан Кальвин.

Кальвин не желал быть юристом. Он не собирался служить и католической церкви, несмотря на то, что был обладателем пребенды.

Католическая церковь с ее суевериями, пышным культом и наглым вымогательством, с армией невежественных проповедников, жадных попов и паразитов-монахов стала в то время мишенью для насмешек. Ее резко критиковали и умно высмеивали гуманисты, ее разоблачали и шельмовали реформаторы.

Купцам, промышленникам, колонизаторам, работорговцам, мастерам наживы — всем им старая церковь была помехой. Проницательный питомец Сорбонны смолоду почитал людей удачи и видел в банкирах и воротилах-купцах подлинных хозяев века.

Кальвин не чувствовал ни малейшей склонности к грубому, театральному культу католической церкви, слишком явно напомиравшему откровенное надувательство. Ему не по душе была и роль маленького чиновника дряхлеющей церкви, вынужденного изо дня в день повторять одно и то же и пресмыкаться перед церковными сановниками, чтобы с их помощью медленно переползть с одной ступени служебной лестницы на другую.

Нет, все это совсем не годилось для Кальвина. И у него, как и у многих юношей его эпохи, было свое честолюбие, толкавшее этого молодого горожанина не к рыцарским мечтам о славе, а к упорной, цепкой борьбе за свое особое место в жизни.

Он стремился как можно скорее вступить в горячую схватку, сполна использовать свои способности, занять ведущее место среди реформаторов и не только с успехом сокрушать старое католическое учение, но и смело выдвинуть свою собственную теорию, и при этом спорить, опровергать и бороться!

Тем временем король Франции Франциск I начал гонения против всех противников католической церкви. Для Кальвина снова наступила пора сосредоточенной кабинетной работы. Уклоняясь от рискованных публичных выступлений, от опасных речей, он втихомолку трудился над своей новой теорией, соблюдая величайшую осторожность и общаясь лишь с немногими надежными людьми. Один из таких людей, Пьер Робер, возвратившийся из Германии, убеждал Кальвина перенести свою деятельность за границу, туда, где сторонники реформации были в безопасности. Кальвин решил следовать этому совету.

В 1534 году по воле Франциска в тюремные застенки было брошено немало протестантов. Немало их скрылось. Но в списках заподозренных не значилось имя осторожного Кальвина. В те дни, когда королевская полиция рыскала в поисках протестантов, Кальвин уехал в Нуайон.

Но не воспоминания детства привели его в родной город. Прежде чем устремиться в атаку против католической церкви и яростно обрушиться на католических попов, Кальвин спешил повыгоднее продать купленную для него отцом должность католического священника. Убеждения — убеждениями, а выгода — выгодой!

Без сожаления расставшись с родной Францией, Кальвин перебрался в Страсбург, а затем в Базель, некогда служивший пристанищем Эразму. Здесь, в Базеле, он закончил и напечатал книгу, над которой начал трудиться еще в Париже и которую впоследствии несколько раз дополнял и перерабатывал. Кальвин назвал ее «Наставлением в христианской вере».

Такое название отнюдь не свидетельствовало о скромности автора. Оно говорило, напротив, о том, что молодой еще создатель книги ставит себя в положение учителя, к слову которого должны прислушиваться миллионы христиан. И он не ошибся: новое[^] учение, дерзко провозглашенное Кальвином, распространилось с необыкновенной быстротой и завоевало множество ревностных приверженцев.

Имя Кальвина приобрело широкую известность, успех превзошел его собственные ожидания.

В чем заключалась тайна успеха нового учения? Ответ на этот вопрос дает век Кальвина.

Шестнадцатый век был временем ломки и разложения прежних хозяйственных отношений. В безвозвратное прошлое ушли распорядки старого средневекового ремесла. Сотни тысяч подмастерьев, утративших всякую надежду стать мастерами, превратились в эксплуатируемых рабочих. Но и старые, опытные ремесленники, гордившиеся своим несравненным, от дедов унаследованным мастерством, понемногу теряли своих покупателей и заказчиков и разорялись в безнадежной борьбе с победоносной мануфактурой. Они были не в состоянии закупить заморское сырье и краски и выпускать такие же дешевые и доступные изделия, которые выделывались в мануфактурах. Им приходилось все чаще и чаще сидеть сложа руки, пока голод не побуждал их приняться за переработку чужого, полученного из хозяйских рук сырья. С этой минуты они попадали в тенета скупщика-предпринимателя. Его поле деятельности быстро расширялось. Сельские жители и обедневшие горожане работали на него то в качестве шерстобитов или прядильщиков, то в качестве ткачей или красильщиков. Разделение труда между всеми этими тружениками улучшало и удешевляло производство, а оборотистый скупщик связывал между собой: разобщенных работников. Постепенно стали появляться и крупные по тому времени предприятия, где под одной кровлей работали и валяльщики, и шерстобиты, и ткачи. Еще больше добротных и дешевых товаров появилось на рынке. Еще быстрее стали разоряться цеховые ремесленники.

Из деревни в город в поисках пропитания устремлялись безземельные крестьяне, вытесненные из сельского хозяйства. Еще труднее становилось найти работу, и день ото дня росла армия обездоленных людей.

Хлынувший в начале столетия из Нового Света поток благородных металлов привел к небывалому обесценению денег, к же-

стокой дороговизне, которая довершала разорение тысяч ремесленников и торговцев.

А от далеких берегов, от сказочно богатых островов пряностей, из Индии и Гавайи, из Перу и Мексики, возвращались флотилии с драгоценным грузом. Кровавые насилия и беззастенчивый обман туземцев становились источником баснословной наживы. Купцы, капитаны и участники морских компаний пожинали золотую жатву, оплаченную кровавым потом и слезами поработанных и обманутых жителей заокеанских стран.

Молва о сказочном доходе заморских экспедиций кружила головы сотням людей, стоявших на пороге разорения и едва сводивших концы с концами. Скромные горожане, терявшие уверенность в завтрашнем дне, внезапно преисполнялись надеждой. Они становились пайщиками торговых компаний и рассчитывали урвать свою долю грабительской наживы. И много раз кораблекрушения и бури хоронили в бездонной пучине не только тюки перца и корицы, но и робкие надежды и сбережения отчаявшегося ремесленника.

Чем больше появлялось в денежном обращении серебра и золота, чем больше росли горы соблазнительных товаров и заморских новинок, чем резче бросалась в глаза вызывающая княжеская роскошь банкиров и крупных купцов, тем многочисленнее становилась масса разоренных и ожесточенных людей и тем страшнее выглядели нищета и запустение городских окраин.

Никогда еще уходившее в прошлое средневековье не знало таких контрастов. Никогда еще богатство и бедность не соприкасались так тесно. Никогда еще не было столь глубокой и всем заметной пропасти между, роскошью немногих и бедствиями тысяч людей.

Чего могли опасаться и чего могли желать купцы и банкиры, предприниматели и судовладельцы XVI века?

Опасность грозила им с двух сторон: и со стороны феодальных верхов, и со стороны народных низов.

На купеческое богатство явно зарилось жадное паразитическое дворянство. Оно всюду толкало королей, князей и герцогов к беспощадному налоговому обирательству преуспевающих дельцов. Но еще больше эти дельцы боялись народной массы, отчаяния нищих, ярости обманутых и обсчитанных тружеников. Их страшили идеи Томаса Мюнцера и анабаптистов, не позабытые крестьянами, рудокопами и ткачами. Призрак возможного восстания угнетенных тревожил покой скопидомных богачей, омрачал их досуг, лишал уверенности в прочности достигнутого благополучия.

Дельцы XVI века презирали католическую церковь не только за ее языческую роскошь и деспотизм папы, не только за то, что епископы и попы постоянно и бесцеремонно запускали руки в купеческий карман.

Богачей XVI века злило и возмущало то, что католическая церковь, которая им так дорого обходилась, явно не могла и даже не пыталась дать отпор ни алчным посягательствам феодальных верхов, ни гневным обвинениям, исходившим от обнищавших и эксплуатируемых.

Было вполне очевидно, что старая церковь не в состоянии ни упрочить положение разбогатевших хищников, ни оправдать авторитетом божьего слова их корыстные и жестокие дела.

А между тем тогдашним богачам, баловням коммерческой удачи, кружили головы горделивое самодовольство и заносчивое самомнение. Эти распиравшие их чувства никак не мирились с суровыми укорами верующих, которые все чаще осуждали богачей и при этом упорно ссылались на священное писание. Работоторговцам и колонизаторам досаждала библейская заповедь «Не убий!..». Купцу, пускавшему по миру более слабых конкурентов, банкиру, беспощадно разорявшему своих должников, было крайне досадно вспоминать заповедь, запрещающую посягать на добро своего ближнего, а требование христианства «Люби ближнего, как самого себя» втайне воспринималось ими как безнадежно устаревшая нелепость. Конечно, богачам XVI века нужна была церковь поскромнее и подешевле. Однако «дешевую» церковь уже создал Мартин Лютер. Но именно он всячески хулил капиталистов и их наживу, воспевал средневековое ремесло и угодливо служил князьям и феодалам.

Стало быть, новым богачам понадобилась не просто дешевая церковь. Им, как воздух, отныне была необходима такая церковь, которая оправдывала бы их стяжательство и жестокость, да к тому же дерзала бы доказать, будто происки скупщиков, сделки купцов и банкиров угодны самому богу. Потребовалась новая и сильная церковь, способная противиться феодалам и в то же время умеющая властно подчинять и укрощать народную массу.

Все это безошибочно понял Жан Кальвин. Он не стал подражать реформаторам старшего поколения. Заново перестроив ветхую богословскую премудрость, он, в угоду мастерам наживы, ловко сплел из религиозных представлений свое новое учение.

Хозяева века нашли в учении Кальвина новую для себя мораль и надежную узду для мятежного народа. Не мудрено, что кальвинизм в дальнейшем стал знаменем двух ранних буржуазных революций: нидерландской и английской.

Если Томас Мюнцер называл равенство людей «божьей справедливостью», если он божьим именем призывал угнетенных к борьбе и будил в них чувство своей правоты и силы, то Кальвин преследовал прямо противоположную цель. Чтобы прочно сковать всякий протест и усыпить у обездоленных волю к борьбе, он умудрялся божьим именем оправдывать царившую вокруг несправедливость. Ради этого он и разработал такое хитроумное учение о всемогуществе бога, которое внушало верующим сознание их

полного бессилия перед зловещими переменами, углублявшими пропасть между кучкой богачей и массой бедняков.

Если бог всемогущ, рассуждал Кальвин, это означает, что в мире не может произойти ничего такого, чего бы бог заранее не предусмотрел и не наметил. Другими словами, все происходящее отвечает воле господу! Кальвин убеждал, что все люди еще до своего рождения разделены богом на две неравные части: немногих избранных ожидают радости рая, тогда как большинство людей обречено на адские муки. От человека навсегда сокрыты те таинственные причины, в силу которых бог спасает горсточку своих избранных и низвергает в адскую бездну всех остальных. Но воля господу непререкаема: как бы ни грешил человек, предназначенный им к спасению, он все равно попадет в рай и, наоборот, предопределенный к гибели не избежит ада, несмотря на все свои добрые дела и земные заслуги.

А так как никто из живых не знает, куда он попадет после смерти, то все обязаны терпеливо трудиться, чтобы оказаться достойными своего возможного спасения, если оно произойдет.

Однако Кальвин делал знаменательную оговорку. Он объявлял, что, хотя человек и не знает своей участи после смерти, он все же может кое о чем догадаться. Удача в его земной деятельности — верный признак, что он «предопределен» богом к спасению. Если же, напротив, человек терпит убытки и лишения, это свидетельствует, что сам бог от него отступился.

Таким образом, все рассуждения о непостижимых для человеческого ума тайнах божественного предопределения понадобились Кальвину лишь для того, чтобы доказать, будто обогащение оборотистых дельцов совершается по божьей воле. Выходило, что богачи — современники Кальвина — сколачивают свои состояния не благодаря обману и эксплуатации, а при прямом содействии самого господу бога, который оказывает им покровительство. С легкой руки Кальвина, тогдашние богачи признавались «избранныками» бога и в земной и в потусторонней жизни.

Много столетий подряд проповедники твердили людям евангельскую фразу: «Легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому попасть в царство небесное». Эта на все лады повторяемая фраза служила утешением для бедняков, и смысл ее был прост: на земле ликуют богачи, зато на небе возрадуются бедняки!.. Не посчитавшись со старой евангельской истиной, Кальвин дерзко протащил верблюда сквозь игольное ушко. Отныне его последователи могли не сомневаться в том, что грязная и кровавая дорога купеческих успехов ведет удачника прямехонько в рай.

Предприниматели и купцы охотно верили Кальвину. Им было удобно считать, будто богатство одних и нищета других — дело рук божьих. Им было выгодно уверять тех, кто разорился и был принужден работать за гроши, что таков уж их «богом определенный жизненный удел», которому надо неизбежно покориться.

Удача и быстрое обогащение одних и столь же быстрое разорение сотен и тысяч тружеников, итоги жестокой конкуренции* массовое обнищание ремесленников — все это отныне рассматривалось Кальвином и его последователями как проявление божьей воли. Все это оправдывалось разделением всех людей на «спасенных богом» и «отверженных».

Если бы обездоленные люди поверили Кальвину, они легче примирились бы со своей тяжелой, полной лишений жизнью.

Но для того чтобы бедняк взирал на богача без возмущения и злобы, чтобы он легче уверовал в божественный характер купеческой удачи, Кальвин стремился убедить обездоленного человека, что и для него открыта та самая дорога, по которой шествуют богачи. Если бедняк будет работать не за страх, а за совесть, как подобает «предызбранному к спасению», он и сам начнет преуспевать и станет богатым, а если и не станет, если бог его не отметит в земной жизни, то может вознаградить в загробной.

Таким образом, вместе с надеждой на райское блаженство труженику благоразумно оставялась и надежда на успехи в земной жизни. Эта приманка должна была увеличить усердие и послушание эксплуатируемых. Она оказалась долговечнее самого кальвинизма.

Капиталисты позднейшего времени ею охотно пользовались. В воскресных проповедях, в благочестивых книжках, в газетных статьях и занимательных романах повторялось уверение Кальвина, будто в капиталистическом обществе рабочему легко разбогатеть.

Чтобы вполне примирить своих современников с их местом в жизни и с их судьбой, Кальвин внушал им, что у всякого человека есть свое «мирское призвание», свой заранее предначертанный богом жизненный удел, обязывающий каждого служить богу на свой лад. Купец обязан быть купцом, сапожник — сапожником, подмастерье — подмастерьем, рабочий — рабочим.

Всякий должен рассматривать свою профессию и свой труд как высший долг, предписанный ему богом.

Рано начинался обычный деловой день истинного кальвиниста — «пуританина». Так называли кальвинистов в Англии¹.

Проснувшись на заре, рачительный хозяин обходил свой двор, кладовые, склады, внимательно осматривал замки и запоры и, удостоверившись, что все в порядке, приступал к своей деятельности. Он отмеривал и отвешивал, убеждал покупателей, распекал приказчиков и подручных, принимал прибывшие к нему товары, едва успевал пообедать. И, когда прекращался суетливый торговый

¹ Это название в Англии кальвинистам дали за то, что они требовали «очищения» культа от дорого стоившей католической обрядности (полыни «чистый» — «пурус»).

день и наглухо запирались двери лавки, неугомонный купец усаживался за высокую конторку, вооружался гусиным пером и старательно подсчитывал дневные доходы и издержки.

По внешнему своему виду пуританин-купец нередко походил на нищего. Рукава длиннополого камзола лоснились на локтях, там и здесь виднелись тщательно наложенные заплаты, выдавшие виды стоптанные башмаки чуть не разваливались. Но изо дня в день, из года в год неуклонно рос сколачиваемый им капитал.

Снедаемый жаждой наживы, пуританин-купец был готов к суровому самоограничению. Он гнал прочь мысль об отдыхе и увеселениях, с бешенством набрасывался на жену и детей, когда у него осмеливались просить лишних денег на семейные нужды.

Тираня свою семью, он готов был сам недоедать и недосыпать, чтобы каждый выгаданный таким образом грош снова и снова вовлекать в коммерческий оборот.

Дни, заполненные суетой, бессонные часы, проведенные за конторкой, дальние утомительные поездки за сырьем или товаром, хитроумные комбинации, рискованные сделки, ссоры с рабочими, обман покупателей — все это делалось во имя прибыли, ей рабски служил жрец капиталистического накопления, жрец грубый и подчас фанатичный, но всегда настойчивый, не ведавший сострадания.

И чем более темной была извилистая дорожка, ведущая к богатству, чем чаще приходилось купцу прибегать к надувательству и жестокости, тем настойчивее жаждал он примирения с богом. Эту услугу и спешил оказать Кальвин новым хозяевам жизни. Отныне все — и алчность стяжателя, и омерзительная скаредность рыцаря наживы — объявлялось «чистой» жизнью, а повседневная деятельность купца провозглашалась его «мирским призванием», чем-то вроде благородного долга, выполняемого по божьему завету. Чтобы нечистое казалось чистым, пуритане умалчивали о коммерческих плутнях, но зато лицемерно выставляли напоказ свою умеренность, и благочестие, ставили себе в заслугу воздержание и всячески доказывали, что человек спасается только верой, а не делами.

С легкой руки Кальвина, они стали называть «нечистым» все то, что мешало им накапливать и богатеть. Жизненное правило пуритан гласило: «Молись и работай!» — и пуритане объявляли войну развлечениям и вольному досугу, театру и танцам, праздникам и художественной литературе, влечению к науке и искусству.

Они носили темное изношенное платье самого простого, мешковатого покроя, старательно избегая всяких украшений. Кружево и шелк, яркие ткани и драгоценности были изгнаны из обихода так же беспощадно, как и стихи о любви или веселая музыка. Один из английских последователей Кальвина, стремясь отучить молодежь от танцев, убеждал юношей и девушек, что «каждое па танца — это шаг по пути к адской бездне».

Волчья жадность матерых хищников причудливо сочеталась у пуритан с личным трудолюбием. С величайшей нетерпимостью и осуждением относились они к паразитическому образу жизни феодалов и дворян, к их расточительности.

Впоследствии внуки и даже дети купцов-пуритан легко научились тратить деньги на свои причуды. Но представители первого поколения капиталистов-пуритан отличались от своих легкомысленных потомков.

Энгельс недаром писал о характерном для первых кальвинистов бюргерском аскетизме, поясняя, что весь его секрет состоит в буржуазной бережливости.

От своего отца Кальвин унаследовал затаенный страх перед народом. Этот страх он пронес через школьные годы. Не раз, проходя со связкой книг по улицам Латинского квартала, он пугливо сторонился, повстречавшись с задорными и веселыми парижскими подмастерьями. Он вздрагивал, если до его слуха долетало невзначай брошенное по адресу угрюмого студента меткое словцо, и ускорял шаг, незаметно озираясь, шепотом бормоча проклятия. Кичливо гордясь своей ученостью, Кальвин не сомневался в своем превосходстве. Но возникший с детских лет страх перед плохо знакомым, но грозным народом не покидал Кальвина и в зрелые годы.

Он безошибочно угадывал в народе скрытую мощь и холодел при мысли, что вулканическая сила народного негодования, вылившегося в 1525 году в Германии в Великую крестьянскую войну, снова может внезапно прорваться наружу.

Кальвин учил, что народ отличается врожденным легкомыслием и неводержанностью, учил, что там, где каждому предоставлена полная свобода, неминуемо возникают неурядица и анархия. Слово «свобода» казалось Кальвину страшным, и для того, чтобы она никогда не восторжествовала, он стремился лишить обыкновенного, рядового человека всякого права на собственное мнение: «Лучше невежество верующего,— восклицал он,— чем дерзость мудрствующего!»

Кальвин полагал, что народу незачем мудрить и рассуждать. Долгом простых, непросвещенных людей, их священной обязанностью он считал работу, повиновение своим хозяевам и строжайшее выполнение заветов суровой пуританской морали, слепое повиновение пасторам. Слово это, по-латыни означающее «пастух», необычайно точно рисовало роль кальвинистского проповедника, назойливо опекающего доверенное ему «стадо». Недаром говорил Кальвин, что «презирающий пастора — во власти дьявола».

Пасторы властно контролировали все поведение верующих, они надзирали за своей паствой и в церкви, и вне ее, они следили за каждым шагом ремесленника и рабочего, они посещали его на дому, подстерегая малейшее проявление недовольства илислушания. О поведении, о труде, о жизни, о семье, быте, настроениях, помыслах, чувствах каждого человека должна была знать все-



Вид города Женевы во времена Кальвина.

могущая «консистерия» — церковный совет, в котором заседали вместе с пасторами особые старейшины, именитые и богатые «пресвитеры» («старейшие»).

Эта консистерия, тиранившая верующих мелочной опекой, была настоящим детищем Кальвина, той самой уздой, с помощью которой он намеревался держать страшившую его народную массу в вечном страхе и повиновении.

Были у Кальвина и свои политические взгляды. Если о боге, о рае и аде Кальвин говорил языком ясным и точным, говорил так, словно сам побывал и на небесах, и в преисподней, то совсем иначе высказывался он о политике. Эти суждения напоминали не прямую уверенную поступь, а хитроумный, запутанный, двойной и тройной след, который оставлен осторожным и лукавым зверем, обманывающим охотника.

Кальвин понимал, как важно убедить миллионы простых людей в божественном происхождении и великом значении государства, того самого государства, которое держало бесправный люд в оковах неволи и повиновения. И Кальвин уверял, что государство столь же необходимо человеку, как пища и напиток, как солнце и воздух.

Долгое время Кальвин надеялся, что король Франции предпочтет кальвинистскую веру католической, но позднее, когда эта надежда рухнула, он изменил свое отношение к монархии. Единичную власть государя он стал считать тираническим господством одного человека над множеством людей и, таким образом, осудил монархию. Но еще отрицательнее он относился к демократическому строю, вызывавшему его страх. Он доказывал, что неве-

жественная толпа не способна разумно управлять государством и что поэтому гораздо лучше доверить управление немногочисленной группе избранных и просвещенных людей. В этих словах проявлялось то предпочтение, которое Кальвин отдавал республике — но республике богачей.

Боясь народа, желая увековечить его бесправие, Кальвин не желал толкать его к открытому сопротивлению. Восстание, по его словам, есть дело греховное и дьявольское. Внушая эту мысль, Кальвин умудрился в одной короткой фразе и осудить монархию, и в то же время оградить ее от натиска разгневанного народа. «Хотя монарх,— поучал он,— и является тираном, он поставлен волей божьей, в наказание людям, и поэтому люди должны терпеть монарха, как ниспосланное богом наказание».

Как же, когда и при каких условиях можно будет избавиться от такого наказания божьего, как монархия? Кальвин — и в этом его заслуга — предвидел исторически неизбежное столкновение буржуазии с феодально-абсолютистской монархией.

Осуждая всякое самостоятельное движение революционных народных масс, Кальвин признавал законным и заранее благословлял только такой политический переворот, который осуществят просветленные самим богом Генеральные штаты. Лишь они, по его мнению, вправе устранить тирана и взять власть в свои руки.

Кальвин оказался истинным выразителем интересов и возрений той буржуазии XVI и XVII столетий, которой вскоре предстояло вступить в первые битвы с феодальными монархиями. Новая, молодая буржуазия, как и ее учитель Кальвин, презирала отжившую, явно ей мешавшую монархию, но в то же время ненавидела народную массу. Если бы не этот жгучий страх перед народом, то нидерландская и английская буржуазия, несомненно, сокрушили бы монархию гораздо раньше и решительнее, чем это произошло в действительности.

Достаточно вспомнить, что Соединенные провинции (Нидерландские) объявили испанского короля Филиппа II низложенным лишь через 18 лет после начала Нидерландской революции, а английский парламент провозгласил республику только через девять лет после начала английской буржуазной революции, после двух гражданских войн и двукратной измены короля, разжигавшего эти войны.

* * *

Большую часть своей жизни Кальвин провел в Женеве, крупном швейцарском городе, прославленном обширной торговлей, развитым и разнообразным промышленным производством. Знаменитые женевские суконщики, меховщики, башмачники сбывали свои изделия далеко за пределами родины и держали в зависимости и подчинении растущую армию наемных тружеников. Именно в этом городе учение Кальвина нашло благодатную почву. Оно

встретило горячую поддержку женеvских богачей, которые еще до прибытия Кальвина пытались связать бедняков правилами суровой нравственной дисциплины. Пуританизм пришелся по душе состоятельным гражданам Женеvы. День ото дня росло влияние Кальвина. К его указаниям прислушивался городской магистрат, а Кальвин при случае был не прочь щегольнуть своей юридической выучкой и помочь городским властям в делах управления.

Город постепенно менял свой внешний облик, а с ним и весь уклад своей жизни. Неведомо куда исчезло прежнее великолепие церквей. Скульптурные и живописные изображения были изгнаны из храмов. В чисто вымытом помещении, просторном и пустом, царилa холодная казарменная скука. На сосновых, рядами расставленных скамьях долгими часами сидели верующие и внимали нескончаемой проповеди пастора, составлявшей длинную цепь поучений, назидательных примеров и суровых предостережений. Невозвратно ушли в прошлое веселые праздники, масленичные карнавалы, народные игры и танцы.

Куда ни кинь взгляд, всюду господствовало два цвета: коричневый и черный. Издали нельзя было отличить женщин от мужчин. Длиннополые и темные камзолы и плащи уподобляли женеvских граждан монахам. Редко можно было услышать шутку и смех. Попадавшие на улицах пешеходы куда-то деловито спешили. Никто не смел подумать о театре, о балах и развлечениях. Их не было в деловой пуританской Женеvе. Время от времени жилища женеvцев подвергались обыскам. И если находили нарядное шелковое платье, моток лент или обрывки кружева, книжку со стихами о любви — все это уличало провинившегося в забвении сурового завета «Молись и работай!», все это навлекало на него гнев непреклонной консистории, грозивший штрафом, тюремным заключением, наконец, изгнанием из города.

В девять часов вечера смолкали все звуки. Тщательно запирались все двери, завешивались окна, и дома женеvских граждан погружались в мрак и тишину. Никто не имел права выйти на улицу после запретного девятого часа, не имея при себе особого пропуска. Пуританская Женева должна была рано засыпать, чтобы на следующий день пораньше начать свою деловую будничную жизнь.

Великий острослов XVIII века Вольтер говорил впоследствии, что Кальвин «открыл двери монастырей не для того, чтобы выгнать оттуда монахов, а для того, чтобы вогнать туда весь мир».

Женева времен Кальвина действительно напоминала какой-то особый монастырь, в котором властвовала его деспотичная и желчная воля. Недаром враги Кальвина прозвали его «женеvским папой». Это прозвище имело свои основания. Так же как и в Риме, в пуританскую Женеvу отовсюду стекались почитатели и ученики Кальвина. Так же как и римский папа, Кальвин не признавал чужих мнений, подчас проявляя иступленную нетерпимость, до-

стойную католического инквизитора.

Современником Кальвина был выдающийся испанский ученый, смелый мыслитель Сёрвет. Он был по профессии врач и сделал немало для развития современной ему медицины, был близок к установлению законов кровообращения в человеческом организме. Подобно многим своим современникам - гуманистам, Сервет имел самые разнообразные научные и общественные интересы. Его перу принадлежали книги не только по медицине, но и по философии, богословию. Учение Кальвина в лице Сервета встретило убежденного противника. Сервет выпустил в



Мигель Сервет.

свет полемическую работу, опровергавшую основные положения кальвинизма. При

этом он не поместил своего имени на заглавном листе книги. Но Кальвин узнал, кто является его противником, и немедленно послал донос на Сервета, требуя его изгнания из Парижа.

Вольнолюбивый мыслитель, однажды уже изгнанный из Испании, был вынужден бежать из Франции. Друзья предложили ему переселиться в Италию.

Ехать в Италию можно было морем. Но Сервет избрал другую дорогу. Он решил по пути в Италию обязательно посетить Женеву, познакомиться с этой твердыней кальвинизма и хоть раз послушать своего противника Кальвина.

Когда-то, беседуя со своими женевскими почитателями, Кальвин, опустив глаза и слегка побледнев, сказал: «Если этот человек когда-либо появится в Женеве, он отсюда живым не уйдет!» При этом Кальвин коснулся указательным пальцем листа раскрытой книги, на котором был изображен портрет ее автора — Сервета. Это было одно из прежних произведений смелого испанского вольнодумца. Язык и стиль новой книги позволили Кальвину безошибочно распознать в ее авторе своего анонимного противника.

Сервет явился в главную церковь Женевы переодетым в купеческое платье. Здесь его никто не знал, и он рассчитывал на полную безопасность. Желание услышать живую речь прославленно-

го «женевского папы» было столь велико, что Сервет не мог ему противиться.

Церковь заполнилась народом, и Кальвин, поднявшись на дубовую кафедру, слегка надтреснутым, высоким голосом начал свою проповедь. Так же, как обычно, понутив голову, сидели на скамьях хмурые пуритане. Кальвин говорил им о добродетели и воздержании, ровным потоком, как обычно, текла назидательная и строгая речь проповедника... Но что-то мешало Кальвину. Почувствовав на себе неотступный, пристальный взгляд, он поднял глаза и на мгновение встретился с глазами незнакомого и в то же время странно знакомого человека... Последовала мгновенная, едва заметная пауза. Обычная пауза, которая повторяется всякий раз, когда лектор, переходя к изложению новой мысли, переводит дыхание и ищет подходящего слова. И снова речь проповедника возобновилась, обстоятельная и неторопливая...

А когда кончилось молитвенное собрание, церковь оказалась оцепленной городской стражей. Задержан был и подозрительный иностранец.

Женевский магистрат судил Сервета. Отцы города намеревались выслать его из Женевы и таким образом поскорее избавиться от опасного человека. Но Кальвин был непреклонен. Он добивался смертной казни Сервета. Кальвину доказывали, что католическая церковь навлекла на себя всеобщее осуждение инквизиционными кострами и лютой расправой с инакомыслящими. Ему грозили теми же последствиями, если он запятнает кальвинистскую Женеву смертной казнью испанского вольнодумца. Но тщетными были все убеждения и уговоры.

Стремясь сломить противодействие осторожных отцов города, Кальвин заявил им, что Сервет явился в Женеву, чтобы возмутить ее граждан против священной частной собственности и проповедовать им страшную идею имущественного равенства, идею, намеками на которую будто бы полны его опасные и ядовитые книги. Усердный советник и наставник богачей, их слуга и единомышленник, Кальвин превосходно знал, что страх за свою собственность способен превратить самых осторожных судей в кровавых насильников.

27 октября 1553 года в благочестивой пуританской Женеве по воле Кальвина был сожжен вольнодумец Сервет.

Расчетливый и честолюбивый, деспотичный и жестокий «женевский папа», всю жизнь старательно угождавший богачам и смертельно ненавидевший народ, Кальвин был подлинным сыном своего века — теоретиком и учителем деятелей первоначального накопления, алчных и беспощадных, скаредных и хищных, кровавых и ханжески благочестивых.

История человечества знает много черных страниц. И все же в многовековой летописи насилий и злодеяний, которыми было куплено господство рабовладельцев, феодалов и капиталистов, едва ли можно отыскать пример деятельности, которая была бы столь же гнусной, как и деятельность иезуитов.

От XVI века до наших дней тянется цепь преступлений и грязных дел, постыдных злоупотреблений суеверием и невежеством л актов беспримерного вероломства и шпионажа. Свойственная иезуитам готовность не останавливаться ни перед чем для достижения поставленной цели, использовать любую низость, обман, лицемерие не раз вызывала большое возмущение. Тогда иезуитов изгоняли из страны, где их злодейства становились нетерпимыми.

Но от гибели и уничтожения иезуитов спасала благосклонность темных сил реакции, которым требовались расторопные и не ведающие безгливости агенты, преисполненные служебного усердия и ненависти к трудящимся.

Английский буржуазный протестантский историк Маколей говорит о влиянии вездесущих иезуитов:

«Они проникали из одной страны в другую, передеваясь самым различным образом, то под видом жизнерадостных рыцарей, то под видом простых крестьян, то в качестве пуританских проповедников. Их можно было обнаружить одетыми в платье мандарина, в роли руководителя Пекинской обсерватории...

С чувством полного подчинения иезуит предоставлял начальнику решить, должен ли он жить на северном полюсе или под экватором... Они направляли советы королей... Тайны правительства и почти всех знатных фамилий во всей католической Европе находились в их руках».

Английский историк здесь весьма выразительно рисует внешнюю картину: отмечает пронырливость иезуитов, их стремление пролезть во все щели, намерение всюду и везде навязывать свою волю. Он говорит о лживости и изворотливости иезуитов, об их умении разыгрывать любую роль, о дисциплине, связывавшей

членов этой чудовищной организации. Но при этом вне поля зрения буржуазного автора осталось главное: не выясняются причины, вызвавшие к жизни иезуитскую организацию, не раскрывается содержание деятельности иезуитов и ее классовый характер.

Почему возник орден иезуитов

Реформация и крестьянская война в Германии затронули все страны Западной Европы. Снизу доверху поколебалось вековое здание католической церкви. Эта церковь подверглась всеобщему осмеянию. Ее невежественные и развращенные служители утратили и свой былой авторитет, и свою прежнюю власть. В ряде стран дворяне прибрали к рукам обширные епископские и монастырские земли. В Дании, Швеции, Англии этому способствовали короли, желавшие щедрой раздачей церковных угодий привлечь и подчинить своему влиянию все дворянство. О захвате церковного добра помышляли также польские дворяне и даже часть испанских феодалов, готовых приветствовать реформацию в своих странах. Скопидомные горожане Германии, Англии, Нидерландов решительно отвергали церковные поборы и вымогательства католической церкви, осмеивали пышный и дорогостоящий католический культ и бесчисленные праздники, объявляли себя последователями Лютера и других реформаторов. Народные массы всюду выступали против католической церкви, оберегавшей феодальные устои и благословлявшей вековое угнетение бесправного люда. Реформационное движение одерживало все новые и новые победы, переходило из страны в страну. В 30—40-х годах XVI века многим казалось, что католическая церковь неминуемо рухнет под напором разрушительной критики, под натиском своих многочисленных врагов.

Этой угрозы не могли не ощущать прелаты¹ католической церкви, ее кардиналы и епископы, аббаты еще не упраздненных монастырей, богословы и папские приспешники. Оправившись от первых сокрушительных ударов, нанесенных реформацией, они пытались вернуть католической церкви ее прежнюю роль, ее былое господство. Но надежды и попытки отцов церкви остались бы бесплодными и тщетными, если бы они не нашли союзников и помощников.

Реформационное движение, так широко развернувшееся в Европе, не было единым и однородным. У дворян и крестьян не могло быть общих задач, не могло быть одинаковых стремлений. Мартин Лютер, ставший верным прислужником князей, призывал к

¹ *Прелаты* — церковные сановники, высшее духовенство.

жестокой расправе над восставшими крестьянами и сравнивал многострадальное немецкое крестьянство с ослом, обязанным безропотно нести тяжелую поклажу. Великая гроза 1525 года оставила неизгладимый след в сознании миллионов крестьян и городских плебеев. Гигантское зарево крестьянской войны озарило мир, и в его свете трудящиеся увидели всю глубину общественной несправедливости. И хотя великая историческая битва была проиграна, память о ней сохранили и угнетатели, и угнетенные. Борьба с феодалами не ушла в прошлое. То там, то здесь возникали новые крестьянские восстания.

На юге Германии, где оставались нерушимыми все старые формы феодального угнетения, крестьянские движения были особенно часты и неизменно носили реформационную окраску.

Вот почему некоторые государи видели надежный оплот в старой католической церкви, умевшей держать в страхе и порабощении темную массу. С этими надеждами сочетались и политические расчеты. Император в Вене связывал с торжеством католицизма мечту о подчинении гордых протестантских князей немецкого Севера. Испанский король Филипп II использовал католическую церковь как свою опору в борьбе за господство Испании над народами и государствами Европы.

Во многих европейских государях папский Рим нашел ценных и надежных союзников в предстоявшей борьбе за восстановление своего влияния. Но для того чтобы подобная борьба стала успешной, потребовались и новые средства, и новые приемы борьбы. Стала необходимой и новая организация. Ею и стал орден иезуитов.

Основатель ордена

Испанский дворянин Иньиго (Игнатий) Лопец де Рекальде де Оназ-и-де-Лойола, отпрыск обедневшей дворянской семьи, был восьмым по счету сыном дона Бельтрама. Подобно сотням ему подобных, он не рассчитывал на отцовское наследство, стыдился своей бедности и высокомерно презирал труд. Как и все молодые дворяне, он мечтал о подвигах и отличиях. Он доверчиво выслушивал фантастические небылицы о проказах дьявола и приключениях ведьм, при случае разыгрывал влюбленного и писал скверные стихи. Он набожно молился по праздникам и исправно грешил в будние дни.

В 1521 году Лойола участвовал в обороне Памплоны ¹, осажденной французами, и был тяжело ранен. Это изменило его судьбу.

¹ *Памплона* — главный город Наварры, примыкающей к юго-западным отрогам Пиренейской горной цепи.



Иньиго (Игнатий) Лойола.

Ему пришлось провести долгие месяцы на госпитальной койке, перенести мучительные операции, страдая от рук тогдашних неумелых хирургов, не имевших представления об обезболивающих средствах.

Переломанные кости постепенно срослись, но раненая нога оказалась короче другой, и это обстоятельство разрушило все надежды на рыцарскую карьеру.

Томительное безделье госпиталя заставило Лойолу читать и перечитывать жития святых и другую оказавшуюся под рукой церковную литературу. Сначала такое занятие казалось скучным, но за отсутствием рыцарских романов пришлось заняться святы-

ми. Прочитанное дало новое и неожиданное направление его мысли. Если слава невозможна для хромого рыцаря, то, быть может, она окажется доступной для хромого служителя церкви?

Впечатления от жизнеописаний святых причудливо перемешивались с рассказами о дальних странах, о языческом населении сказочных заморских островов. Тело Лойолы оставалось неподвижным, но его фантазия неустанно действовала. Разве приобщение жителей Индии и Китая к христианству не явилось бы подвигом? Разве посрамление еретиков не оказалось бы великой заслугой?

Легенда о Лойоле, созданная его последователями, полна занимательных подробностей. Она повествует о том, что Лойола, покинув госпиталь, повстречался в пути с мавром, который насмешливо отозвался о христианской вере. Лойола, оставшись один на дороге, долго думал, как ему поступить: догнать ли нечестивого мавра и по-рыцарски с ним расправиться, или, как подобает будущему святому, отказаться от преследования. Легенда говорит, будто Лойола решил доверить решение судьбе. Он выпустил из рук повод и предоставил мулу выбор пути. Мул не поехал вслед за мавром, а, свернув на боковую дорогу, доставил своего хозяина к часовне святой Марии. Так осел привел Лойолу на путь благочестия.

Лойола часто менял свое местопребывание. Его видели в Барселоне и Саламанке, Париже и Венеции. С необычайным упорством бывший рыцарь стал изучать богословие. Среди юношей-студентов Лойола производил впечатление человека немолодого, и его рвение казалось странным. Дважды Лойола навлек на себя по-

дозрения инквизиции и дважды предстал перед отцами-инквизиторами как заподозренный в ереси.

Наука давалась нелегко, и Лойола не проявлял больших способностей. Но все затруднения он превозмогал с необычайным упорством. День ото дня росло его влияние на товарищей. Этот преждевременно постаревший человек, неизменно спокойный, внимательный, сосредоточенный, говорил всегда обдуманно и неторопливо, веско и решительно. Он подчинял себе друзей и делал их соучастниками своих планов. Этих друзей он соединил в небольшой кружок, который получил название «Компания Иисуса» (рота Иисуса).

Термин «компания» был хорошо известен в Испании и во Франции. Так назывались буйные дружины головорезов, отчаянных удалцов, готовых воевать под любым знаменем за горсть дукатов или обещание добычи.

В момент создания своей дружины Лойола еще не представлял себе ясно ее конкретных задач. Но он твердо знал, что его «компания» не будет похожа на прежние монашеские братства, не превратится в сборище пресыщенных клириков. Скорее всего его дружина окажется сродни спаянному военной дисциплиной отряду, готовому к ожесточеннейшим битвам.

Создание ордена, его особенности и его первые шаги

В 1540 году папа Павел III признал новое «Общество Иисуса» как «Общество священников под верховным начальством папы для защиты веры». Учреждая это общество, Павел III объявил, что цель его «вернуть заблудшие массы в ограду церкви», что должно было означать возврат в лоно католической церкви всех тех, кто предпочел реформированную религию. Прежде чем взяться за осуществление столь трудной задачи, Лойола решил привлечь к новому ордену всеобщее внимание. Он хотел, чтобы все с изумлением заговорили о его ордене.

Немногочисленные в первое время иезуиты основывали приюты для сирот, убежища для престарелых, появлялись у ложа опасно больных, сраженных заразной болезнью, занимались делами благотворительности, всюду обнаруживая самое пылкое рвение. Но коварный Лойола отнюдь не собирался сделать своих сообщников воспитателями сирот или братьями милосердия.

Мнимые подвиги самопожертвования и сострадания потребовались Лойоле лишь на короткий срок, как средство быстрой и успешной рекламы. И как только молва о «добрых братьях» Иисуса достаточно распространилась, Лойола освободил своих последователей от ненужной им больше роли подвижников милосердия. Отныне им открывалось более широкое поприще.



Титульный лист книги «История ордена иезуитов». Верхняя латинская надпись гласит: «Прикованный к небу, но рассеянный во всех землях»

Монахи прежних орденов стремились показать, будто вся их деятельность преисполнена личным благочестием и подвигами самоотречения и что этим они якобы выполняют волю бога.

Соратники Лойолы «угождали богу» тем, что настойчиво и непреклонно подчиняли своему влиянию людей разного, но прежде всего высокого, звания и положения.

Это несходство задач вело к коренному различию во всем. Старые монашеские ордены, подчеркивая свой отказ от жизни, от мирских соблазнов, отгораживались от окружающих высокими стенами монастырской обители, облачались в особые одеяния иноков.

Иезуиты поступали совсем иначе. Лойола обязывал своих учеников жить в миру, самым тесным образом общаясь с мирянами ради полного покорения и порабощения последних. Иезуит должен был одеваться в мирскую одежду, меняя ее в зависимости от того, куда и зачем он послан.

Иезуиты ретиво взялись за дело. Они стали добиваться влияния при помощи коварства, лести и вероломства, лукавого красноречия и наглого обмана. Вездесущий, проницательный иезуит с вечно настроженным слухом, вкрадчивым голосом и неизменной улыбкой на устах должен был снискать благосклонность королей и министров, втереться в доверие влиятельных особ и богатых купцов, а если необходимо, то и в доверие простых людей. Для этого требовалось умение постоянно перевоплощаться, изображать то одного, то совсем другого человека, менять вместе с одеждой речь, манеры, все свое поведение. Опытный иезуит ухитрялся змеей проскальзывать в самую узкую щель, обманывая бдительность, усыпляя страх, побеждая недоверие и во что бы то ни стало прельщая нужного человека не знающей границ услужливостью.

По совету Лойолы его учениками в Сицилии было основано специальное кредитное учреждение для помощи нуждающимся крестьянам. Оно было закрыто, как только влияние иезуитов в Сицилии окрепло. Разумеется, иезуитам не было ни малейшего дела до крестьян, друзьями которых они лишь временно прикинулись.

Иезуиту Лайнесу было поручено завоевать доверие генуэзских граждан. Хитрый Лайнес усердно готовился к решению поставленной задачи. Много дней просидел он взаперти над книгами, рукописями и счетами. Генуя холодно встретила иезуита, но это Лайнеса не смутило. Он не спешил выступить с проповедью, а предпочел изумить город купцов и мореплавателей, город банкиров и ремесленников тщательно подготовленными речами о... торговом и вексельном праве. Этими-то речами Лайнес и завоевал себе признание в городе дельцов, подготовив таким путем благоприятную почву для религиозной проповеди.

Оба приведенных примера лишь иллюстрируют правило, которое Лойола преподал своим ученикам: «Для того чтобы завоевать всех, надо быть всем для всех». Это правило знаменовало необхо-

димось вечного приспособления, осторожного подхода и ловкой маскировки. Конечно, иезуиты вовсе не собирались быть на деле «всеми для всех». Их задача состояла в том, чтобы каждому они могли казаться именно тем, что для него было наиболее желанным. Поэтому-то иезуит и обязан был предстать перед генуэзским купцом в роли знатока коммерции, перед знатым сеньором — в роли снисходительного исповедника, перед государем — в качестве опытного и искушенного советчика.

Где бы ни подвизались иезуиты, для них все средства были одинаково хороши, так как, по их мнению, «цель оправдывала средства». А целью было повсеместное восстановление власти католической церкви и папы. И поскольку церковь была всегда защитницей сильных против слабых, иезуиты оказывались рьяными защитниками феодализма.

Иезуиты в роли миссионеров

Распространение христианства среди туземцев отдаленных стран было одним из способов самого бессовестного колониального грабежа и порабощения.

За миссионерами шли завоеватели и купцы, превращавшие туземцев в колониальных рабов.

Долго и упорно, но почти безуспешно францисканцы и доминиканцы пытались распространить христианство среди жителей Индии и Китая. Иезуиты решили в самый короткий срок добиться успеха, недоступного другим церковным орденам. Проникнув в Китай, они старательно изучили язык и обычаи китайцев. Однако разрушить языческие верования, ниспровергнуть почитаемых богов иезуиты сочли слишком трудным и долгим делом.

Было гораздо проще под видом старых языческих верований навязать китайцам христианство как новую разновидность их прежней веры. И вот отцы-иезуиты появляются в роли почитателей обожествленного в Китае мудреца Конфуция. По языческому обряду они приносят жертвы и Конфуцию, и предкам.

Доказывая, что Конфуций — «вдохновенный богом мудрец», иезуиты пытались подтасованными изречениями Конфуция привлечь китайцев к христианству. Иезуитов снисходительно и безучастно выслушивали, принимая их за новых учителей старой истины. Иезуиты радовались, что день ото дня растет число людей, которых они считали христианами. Но то были темные люди. Удовлетворяясь мешаниной языческих и христианских обрядов, они продолжали верить так же, как веровали их отцы.

Получалось, что иезуиты, вместо того чтобы обмануть китайцев, обманывали лишь самих себя, да еще римское начальство, докладывая ему, будто бы им удалось обратить «в истинную веру» своих терпеливых слушателей.

Не мудрено, если все насаждаемое иезуитами на китайской почве вскоре оказалось бесследно позабытым.

Подобным же образом иезуитские миссионеры действовали в Индии. Проповедь «христианской любви к ближнему» и «равенства всех перед богом» здесь оказалась в вопиющем противоречии с кастовым строем, но это нисколько не смущало иезуитов. Приспосабливаясь к взглядам господствующих каст, они выказывали полное презрение к париям, избегая прикосновения к этим отверженным и гонимым людям.

Так же как и в Китае, иезуитам не удалось поколебать укоренившиеся верования индийского народа.

Один предприимчивый иезуит затеял массовое обращение язычников. В 1560 году он нанял сотню портных, которые шили для завтрашних христиан длинные крестильные рубашки. Тысячи людей спешили погрузиться в воду, поцеловать протянутый им деревянный крест, чтобы затем выйти на берег и бесплатно получить холщовую рубашку.

Один из ближайших соратников Лойолы объяснял жителям Молуккских островов, что вулканы, всегда поражавшие их воображение, свидетельствуют о близости владыки ада.

Но лишь незначительная часть иезуитов занималась одурачиванием жителей отдаленных стран. Основные силы ордена были сосредоточены в Европе, которая представлялась воинственному Лойоле широким полем упорной битвы.

Иезуиты «за работой»

Зима 1610 года принесла Парижу и всей Франции толки о предстоявшей войне с Габсбургами на стороне протестантских князей Германии. Об этой войне говорили придворные и офицеры, скромные горожане и монахи.

Передавали, что под знаменами короля собрана небывалая по размерам армия, более ста тысяч воинов, готовых к немедленному выступлению. Давно не видел Париж такого скопления дворян, такого множества копейщиков и мушкетеров, такого обилия пестрых мундиров и гербов, пищадей, знамен и копий. Давно не знали харчевни, гостиницы и постоялые дворы такого оживления. Бесшабашные провинциальные дворяне, не таясь, говорили о планах будущей войны. Для них не было секретом, что протестантские князья Германии деятельно готовятся к схватке с собственным императором, ненавистным всякому французу Габсбургом, и с нетерпением ожидают обещанной им могущественной поддержки французского короля.

Велико было изумление Парижа, когда иезуитский проповедник отец Гонтье открыто выступил против предстоящего похода и с кафедры собора Парижской богородицы громко объявил замы-

сел короля безбожным делом. Все находившиеся в Париже иезуиты грозили в своих проповедях адскими муками и небесным гневом тем, кто будет поддерживать «богохульную затею» короля Генриха IV. В дом маршала Ле-Шатра явилась депутация иезуитов, чтобы побудить его немедленно отказаться от командования войсками и от выступления в поход. Много шуток и остроумий можно было после этого услышать в харчевнях, где каждый раз с добавлением все новых и новых подробностей рассказывали, как вспыльчивый маршал выпроводил из своего дома назойливых отцов-иезуитов.

Только один иезуит, казалось, не разделял пылкого негодования своих собратьев. Это был королевский духовник отец Котон. Он и в эти дни, как всегда, был олицетворением веселого благодушия и самой радушной жизнерадостности. Своей неизменной улыбкой на сытом и круглом лице он как бы давал понять, что никакие политические тревожения не в состоянии рассорить его с «духовным сыном» — королем Генрихом IV. Впрочем, осторожные люди полагали, что король напрасно доверяет хитрому духовнику. Говорили, что отец Котон имеет тайный приказ ладить со строптивым государем и неустанно следить за каждым его шагом... Генрих IV пренебрегал намеками и шуточно называл веселого духовника Котона своим «мудрым Катонем»¹.

Внезапное событие разом все изменило... Король Генрих IV был убит юношей Равальяком, который прыгнул в проезжавший мимо королевский экипаж и с неистовым ожесточением несколько раз пронзил короля кинжалом. Взволнованные парижане и негодующие солдаты единодушно считали виновниками убийства отцов-иезуитов.

Как только королевский духовник узнал о случившемся, он поспешил в Лувр к трупы короля, лежавшему под черным суконным пологом. «О, кто злодей, убивший этого доброго государя, этого святого короля, этого великого короля!»—воскликнул отец Котон, подымая при каждом возгласе вверх и глаза и руки. «Не гугенот ли он?» — вопрошал он, окидывая тревожным и быстрым взглядом круг молчаливых царедворцев. Гофмаршал, не поднимая головы, ответил: «Нет, это римский католик!»

«Ах, как жаль, что это не так!» — вырвалось из груди королевского духовника. Чей-то голос из задних рядов многозначительно добавил: «Гугеноты так не шутят!»

Отец, Котон поспешил умолкнуть. Он закрыл лицо руками, привел в движение локти и плечи, что должно было означать скорбное рыдание, и, пятясь, вышел из зала.

В тот же вечер неугомонный королевский духовник навестил Равальяка в тюрьме, двери которой раскрылись перед «другом»

¹ Катон — знаменитый политический деятель древнего Рима времен Пунических войн.

убитого короля. Один из современников рассказывает, что, покидая узника, отец Котон строго и назидательно сказал ему: «Смотрите же, не введите в беду добродетельных людей...» Затем, прежде чем закрыть за собой дверь тюремной камеры, прибавил: «Я буду ежедневно поминать ваше имя на литургии!»

Париж шумел и напоминал собой потревоженный муравейник. Парижане вспоминали, что в 1594 году воспитанник иезуитов Жан Шастель покушался на жизнь короля и это повлекло за собой изгнание иезуитов из Франции на несколько лет. Священник церкви святого Варфоломея в своей проповеди стал смело обличать иезуитов. Негодующий проповедник говорил, что «одно из главных человеколюбивых занятий иезуитов состоит в том, что они рано отсылают в рай души тех королей и принцев, которые не покровительствуют им так, как им хочется, или которые, по их мнению, не являются добрыми католиками». Речь эта передавалась из уст в уста. Весь Париж узнал ее содержание. Все готовы были обвинять иезуитов, все ждали результатов следствия и суда над Равальяком.

На подозрения и упреки, на гнев и неприязнь взволнованной столицы иезуиты ответили торжественной комедией. Когда-то отец Котон упросил Генриха IV завещать свое сердце после смерти ордену иезуитов, который желал хранить его как драгоценную реликвию.

И вот черная процессия иезуитов направилась от Лувра к церкви святого Антония. Бережно несли иезуиты гипсовую урну, в которой лежало сердце, извлеченное хирургом из груди убитого короля. Народ шел следом за иезуитами, которые своим поведением пытались доказать полную невиновность и безмерную скорбь. Просторную церковь заполнила толпа. У алтаря водрузили урну. Лучший иезуитский проповедник медленно поднялся на кафедру, с минуту постоял, потупив взор, затем поднял глаза вверх, приложил руки к груди и, наконец, заговорил. Речь его от слова до слова записал и сохранил один из друзей короля — Пьер д'Этуаль.

«Увы!.. Увы!.. — начал свою речь проповедник прерывающимся и дрожащим голосом. — Где взять нам достаточно перьев, языков, ума, чтобы написать на вечные времена, чтобы живо изобразить великую любовь и благодеяния, оказанные им нашему ордену?.. Боже вечный! О, какое доказательство своей любви дал он, оставив нам свое сердце, драгоценнейший в мире бриллиант, сокровище природы, кроткое вместилище всех даров небесных... Небо, земля! какой дар получили мы! Государь, за одно это сердце я приношу вам сто тысяч сердец». Таково начало длинной-предлинной речи, произнесенной одним из тех, кто был причастен к убийству короля.

В те времена любили цветистое красноречие, преувеличения и смелые сравнения. Иезуит-оратор держал себя на церковной кафедре, как актер на сцене. Он то повышал, то понижал голос,

искусно подчеркивал свое мнимое волнение и ложную искренность. Красивые слова обманывали слух, поэтому лживая речь проповедника произвела на многих большое впечатление.

Долго, настойчиво, терпеливо допрашивали Равальяка. Следователю и судьям было ясно, что намерение убить короля этому юноше кем-то внушено. Понемногу выяснилось, что Равальяк — ревностный католик, с детских лет привыкший поверять все свои думы и чувства исповеднику, который от имени господ бога прощал грехи и давал наставления. Нехотя назвал Равальяк имя своего исповедника — иезуита д'Обиньи.

Перед следователями предстал и сам д'Обиньи, плотный, высокий, уверенный в себе, сидящий человек. Он держался спокойно, был вежлив, скуп на слова, отвечал не сразу и перед тем, как отвечать, пристально смотрел на следователей. Всем своим поведением он как бы стремился доказать, что его напрасно беспокоили. Не колеблясь, д'Обиньи решительно отрицал свое знакомство с Равальяком... Нет, он не знает, он никогда не видел этого человека...

Потребовалась очная ставка. Равальяк, истомленный тюремным заключением и переживаниями, онемел от изумления, когда д'Обиньи, глядя на него в упор, еще раз спокойно повторил, что никогда не видел этого молодого человека.

Следователи понимали, что воля исповедника властно тяготела над суеверным юношей, что эта воля привела Равальяка к роковому решению. Но перед судом истинный вдохновитель убийства д'Обиньи предстал не в роли подсудимого, а в роли свидетеля.

Председателем суда был глава парижского парламента Гарле, преданный патриот Франции, смертельно ненавидевший иезуитов. Выслушав уклончивые показания д'Обиньи, Гарле спросил его: «Как вы понимаете тайну исповеди?»

Д'Обиньи вздохнул, помолчал и, неторопливо перебирая четки, ответил: «Бог дает одному дар языков, другому дар пророчества, мне же он дал дар забвения всего слышанного на исповеди.— И назидательно добавил: — Кроме того, мы, монахи, и не знаем мира. Мы занимаемся только делами того света и только их понимаем».

Председатель суда Гарле гневно ответил: «А я нахожу, что вы достаточно знаете мир и слишком уж вмешиваетесь в его дела».

Лорд Моунтигль, католик и член палаты лордов, в 1605 году, незадолго до начала парламентской сессии, получил таинственное письмо. Неведомый автор советовал ему не являться в парламент в день открытия сессии, чтобы таким образом избежать гибели. Об этом письме узнали власти, которые раскрыли заговор, прозванный «пороховым». Несколько католиков-аристократов при-

няли решение уничтожить короля, его наследника, а заодно и членов парламента, в лице которых они видели своих противников.

Один из заговорщиков — Томас Перси купил в Лондоне дом, расположенный вблизи Вестминстерского дворца, и собрался подвести подкоп под здание парламента. Вскоре заговорщикам удалось заарендовать пустой подвал, находившийся под самым залом парламентских заседаний. В этот подвал тайно доставили 35 бочонков с порохом и тщательно скрыли их под слоем дров и всевозможной рухляди. 5 ноября полиция обнаружила приготовленные для взрыва бочонки и вместе с ними офицера-католика Гая Фокса. Некоторые из заговорщиков бежали, но были настигнуты и погибли в столкновении с вооруженными людьми шерифа. Остальные участники заговора были приговорены к смерти.

В ходе следствия выяснилось, что заговорщиками тайно руководили иезуиты. Один иезуитский священник показал, что он не отважился взять на себя ответственность за решение заговорщиков и направил их к своему начальнику — главе всех английских иезуитов Генри Гарнету. Заговорщики поставили перед ним вопрос: «Можно ли, защищая католиков от еретиков, умертвить вместе с виновными и несколько невинных?» Отец Гарнет отлично понимал, что взрыв 35 бочонков пороха повлечет за собой гибель всех участников парламентского заседания, в том числе и его единоверцев-католиков. Но это его несколько не смутило. Он поспешил успокоить совесть заговорщиков, сказав им: «Если от этого католики получают пользу и если число виновных превышает число невинных, то должно умертвить их всех вместе».

По приказанию отца Гарнета иезуит Жерард принял присягу участников заговора, исповедал их и причастил. На допросе Жерард утверждал, что ему ничего не известно о заговоре. Все же один из заговорщиков, обуреваемый сомнениями, решил спасти жизнь католика Моунтигля и послал ему предупредительное письмо, позволившее обнаружить заговор.

Гарнет вместе с заговорщиками был привлечен к суду. Хитрыми ответами он пытался запутать дело, сбить с толку судей и доказать непричастность иезуитов к кучке мятежников. Много дней подряд судьи были вынуждены уличать и опровергать Показания лукавого иезуита. Наконец, возмущенные судьи вынесли Гарнету смертный приговор.

В течение многих десятилетий горожане Лондона отмечали день 5 ноября, день раскрытия «порохового» заговора. По городу проносили соломенное чучело, изображавшее Гая Фокса. Над этим чучелом из года в год глумились сотни людей, прежде чем предать его огню. Недогадливые ремесленники и торговцы, матросы и грузчики Лондона осыпали проклятиями отнюдь не главного виновника покушения на короля и парламента. Главным виновником был иезуит Гарнет, а в его лице и руководители ордена иезуитов, ордена, раскинувшего черную сеть заговоров по всей Европе.

Как иезуиты добивались влияния и власти

С самого начала Лойола желал поставить орден в положение организации, диктующей свою волю государям и епископам и властвующей над миллионами обыкновенных людей. Чтобы достигнуть подобной цели, он считал необходимым применять любые средства: проповедь, обман, подкуп, подлог и клевету, шпионаж и убийство.

Большое значение иезуиты придавали исповеди.

Реформация осмеяла и пригвоздила к позорному столбу продавцов индульгенций, на рыночной площади торговавших отпущением грехов. Иезуиты ухитрились делать то же самое, но не в сутолоке рыночной площади, а в уединении крохотной исповедальни. Там иезуит внимательно выслушивал из уст кающегося повесть о его проступках и благосклонно примирял грешника с богом, умело разыгрывая роль доброго и снисходительного служителя небес. Чтобы привлечь как можно больше людей, стремящихся к прощению, иезуиты обычно никому в нем не отказывали. Они заманивали в исповедальню и чванного феодала, и его легкомысленную супругу, и княжеского слугу, и купца, и чиновника. Шепотом произнесенные признания давали ценные тайные сведения. Они отовсюду стекались к генералу ордена иезуитов и делали его обладателем самой широкой в те времена шпионской сети.

Именно поэтому исповедь являлась для ордена драгоценным источником сведений и средством завоевания тысяч приверженцев. Ни одного из них иезуиты не желали испугать строгостью или оттолкнуть осуждением злодеяний. Иезуит Филлуциус поучал: «Самое поверхностное раскаяние достаточно, чтобы получить отпущение. Достаточно, если кающийся выразил раскаяние совершенно неопределенное или хотя бы заявил о своем желании раскаяться».

Иезуит Тамбурины прямо говорил: «Исповедуя важное лицо, надо относиться к нему гораздо снисходительнее, чем к простому смертному, чтобы излишней строгостью не внушить ему отращения к таинству исповеди».

Иезуит Гризель хвастал, что «в четверть часа столкнулся бы в исповедальне с самим дьяволом». И так как любое преступление знатного человека отцы-иезуиты готовы были объявить невинной шалостью, то князья и феодалы, алчные дворяне, хищники-купцы волокли в исповедальню всю грязь и мерзость своих насилий и обманов. Они уходили оттуда «примиренные с богом».

Короли и вельможи в лице иезуитов находили покладистых и снисходительных божьих наставников. Иезуиты же, охотно прикрывая любые грехи и преступления, убаюкивали совесть правителей сладкими словами, постепенно втираясь к ним в доверие и исподволь подчиняя их своему влиянию.

Иезуитам было очень важно выведать, например, секреты у барских слуг, и поэтому исповедникам внушалось: «Не считать грехом, если слуги вознаграждают себя сами, считая свое жалование недостаточным». Таким образом поощрялось любое воровство, коль скоро провинившихся слуг можно было сделать своими шпионами.

Из исповедадьни иезуита мог выйти с самодовольным видом: князь, «прощенный богом» за лютую расправу над крестьянами, ее мог покинуть вполне утешенный убийца. Но если скромный человек признавался в том, что он не уплатил церковной десятины, то из уст обычно снисходительного исповедника раздавались гневные слова укоризны.

Охотно прощавшие все злодеяния, иезуиты становились беспощадными, как только затрагивались интересы церкви и церковной казны. Вся мораль иезуитов заключалась в том, чтобы нужды и права миллионов людей сознательно приносились в жертву католической церкви.

Наряду с проповедью и исповедью целям иезуитов служила созданная ими школа. Иезуитов несколько не беспокоило невежество миллионов людей, не знавших грамоты и прозябавших в беспросветной темноте. Как раз наоборот. Ведь легче всего было ловить рыбу в мутной воде народного невежества. Поэтому свою школу иезуиты создавали не для деревенской детворы, не для миллионов тружеников, а для «избранной» молодежи: для сыновей феодалов, сановников и купцов, а также для тех наиболее способных юношей скромного происхождения, которых они рассчитывали в дальнейшем превратить в иезуитов.

Иезуитская школа была бесплатной. Все школьное преподавание, все воспитание в стенах школы и школьного общежития было подчинено одной задаче. Она заключалась в том, чтобы полностью подчинить сознание воспитанника целям иезуитского ордена, растлить совесть ученика грязной иезуитской моралью и сделать его послушным инструментом ордена.

Дисциплина и «мораль» иезуитов

Долг повиновения младшего старшему четко определил сам Лойола: «Подчиненный должен смотреть на старшего как на самого Христа; он должен повиноваться старшему, как труп, который можно переворачивать во всех направлениях; как палка, которая повинуется всякому движению; как шар из воска, который можно видоизменять и растягивать во всех направлениях».

«Если бы бог,— учил Лойола,— дал тебе в повелители животное, лишенное разума, ты должен был бы, не колеблясь, подчиниться ему, потому что так угодно богу». Лойола не случайно воспевал слепоту мысли и воли, говоря; «Полное послушание сле-

по,— и эта слепота составляет мудрость и совершенство человека»).

Считалось, что сам бог действует в лице орденского начальства, и ради внедрения этой мысли орденский устав упоминал о том, что генерал ордена является представителем Христа, ровно хонько... 500 раз!

С этим слепым, не знающим сомнений послушанием было связано особое понятие «коллективной совести». Рядовому иезуиту предписывали совершать обман, предательство или убийство. Всякое сомнение в правильности и законности подобных распоряжений подавлялось тем, что требуемый поступок якобы совершался «во имя святого послушания». За него отвечает не тот, кто его совершает, а начальник, начальник начальника, весь орден в целом.

Задание, выполняемое рукою отдельного иезуита, считалось действием ордена, делом ума и коллективной совести всего ордена.

Французский историк Мишле писал, что, в то время как старые ордены говорили о «повиновении вплоть до смерти», орден иезуитов пошел дальше, требуя повиновения «вплоть до греха, вплоть до преступления». Чтобы уничтожить в своих слугах малейший проблеск их собственной личной совести, иезуиты сострепали наглую теорию «кажущегося греха». Они учили, что там, где человек, совершая свой проступок, не собирается преднамеренно, сознательно грешить,— там нет и подлинного смертного греха, а есть только «кажущийся», то есть не настоящий и, стало быть, прощительный грех!

Иезуит должен был уметь нарушить любое обещание. Один из иезуитских авторов учил: «Человек не должен считать себя связанным, если, давая обещание, он не имел намерения себя связать этим обещанием...»

Поэтому иезуиты учили молодых членов своего ордена нарушать тайну исповеди. Готовясь выслушать признания верующего, исповедник произносил торжественную клятву никому их не выдавать, но при этом мысленно, про себя, он оговаривал: «никому, кроме моего ближайшего орденского начальника».

Иезуит Лайман с откровенностью разбойничьего атамана учил: «Необходимо выплачивать обещанное вознаграждение нанятому убийце, если убийство принесло пользу и если убийца подвергал опасности собственную жизнь...»

Выходило, что можно было нарушить любые обещания, данные честным людям, но с наемным убийцей, как с ближайшим братом по ремеслу, надлежало расплачиваться честно. Да и не мудрено: ведь иезуиты десятки раз прибегали к услугам наемных убийц.

Подлинное лицо иезуитов выясняет поразительный документ «Тайные наставления». Иезуиты доказывают всеми правдами и неправдами, что это документ подложный, что он представляет

измышление врагов. Однако один католический аббат замечает по этому поводу: «Если «Тайные наставления» не есть тайная книга иезуитов, то надо сознаться, что составителю ее вполне удалось изобразить те средства, при помощи которых иезуиты приобрели свои богатства и свое влияние».

Приведем из этой книги несколько отрывков:

«Первую полученную милостыню следует раздавать бедным, чтобы богачи становились к нам щедрее. Необходимо, чтобы все члены казались проникнутыми одним духом, чтобы у них были одинаковые манеры, дабы поражать своим единством. Вначале наши должны воздерживаться от покупки имений иначе, как на имя скромного друга. Чтобы мы казались беднее, земли, находящиеся вблизи какой-либо нашей коллегии, надо приписывать к отдаленным коллегиям; таким образом, никогда не узнают точно наших доходов...

Сокровища римского двора должны быть покрыты глубоким мраком тайны. Наши обязаны громко заявлять, что они не обременяют никого, как другие монашеские ордены, что они исполняют свои обязанности бесплатно, что они посвящают себя преимущественно воспитанию детей и благу народа...

Надо привлечь к себе благосклонность и внимание правителей и наиболее значительных лиц. С этой целью следует скрывать все дурное в их поступках и подавать им надежду на прощение при нашем содействии».

Роль иезуитов в политике

Иезуиты каждой страны составляли и составляют поныне «провинцию» ордена, возглавляемую «провинциалом». Провинциалы и заслуженные иезуиты составляют «конгрегацию» — своеобразный штаб, помогающий генералу ордена руководить своей послушной армией, разбросанной по всем странам мира.

Эта армия изо дня в день вербовала новых членов, приобретая их с помощью своей школы, проповеди, исповеди, подкупа и шпионажа. Эта армия преследовала и травила смелых мыслителей и ученых, пользуясь всеми средствами клеветы, не брезгая при случае подлогом и убийством.

Стремясь к всемерному распространению и господству католической церкви, иезуиты активно вмешивались в политику. Они пытались натравливать католических государей на протестантских и православных государей. Они предавали интересы одного католического государя в пользу другого, более сильного. Но слишком очевидное и явное вмешательство иезуитов вызывало массовое негодование. С тем большей настойчивостью иезуиты пытались скрыть свое участие в политике. Генерал ордена Аквива в 1602 году строго предписывал духовникам держаться в

стороне от политических дел и не принимать от государей никаких милостей и даров. Под страхом отлучения от церкви он запрещал членам ордена касаться в своих публичных выступлениях цареубийства. Но эта директива имела целью лишь замаскировать подлинные намерения ордена. Тот же Аквавива тайно одобрил книгу иезуита Марианы, изданную в Майнце. В этой книге Жак Клеман — убийца французского короля Генриха III — назван «лучшей славой Франции».

Шведский король Густав-Адольф не без основания говорил иезуитам в Штеттине: «Я знаю вас лучше, чем вы думаете. Вы виновники бедствий всей Германии. Ваши намерения преступны, ваше учение опасно, ваш образ действий гнусен!»

Еще в 1578 году иезуиты уговорили испанского короля Филиппа II заключить союз с Польшей. Прибывший в Польшу отец Маласпина соблазнял польских шляхтичей планом победоносного похода польского и испанского католического войска против православной России, которую этот иезуит мечтал с помощью оружия сделать католической страной и данницей Рима. Эти сумасбродные и фантастические планы оказались бесплодными.

В начале XVII века иезуиты ревностно поддерживали самозванца Дмитрия и всеми способами подстрекали польскую шляхту к вторжению в Россию, надеясь урвать для себя значительную долю грабительской добычи...

Иезуиты всегда обнаруживали изворотливость и невиданное коварство, всегда поражали своей дисциплиной, настойчивостью, своим умением менять облик, обманывать, предавать и идти на преступление.

Но несмотря на все их ухищрения и энергию, несмотря на использование самых низких средств для достижения поставленной цели, конкретные, осязательные результаты деятельности иезуитов неизменно оказывались жалкими.

Ничтожность этих результатов объясняет история. Иезуиты появились на исторической сцене в роли спасителей католической церкви и неизбежно оказались незадачливыми реставраторами и защитниками отживающего феодализма в его безнадежном споре с новыми общественными силами.

Когда абсолютная монархия была прогрессивной, когда она шла на смену феодальной раздробленности, иезуиты, в угоду силам тогдашней реакции, шли на убийство монархов.

Логика истории, логика их собственного поведения поставила ныне черное воинство иезуитов в столь же безнадежное положение реставраторов и горе-спасителей отживающего капитализма.

Но ни беспредельное коварство, ни готовность к преступлениям, ни деньги щедрых покровителей не спасут орден иезуитов, от заслуженного презрения миллионов честных людей.

Забавная история

Старый трактирщик дядюшка Антуан перетирал стаканы и с некоторой тревогой поглядывал на компанию мушкетеров, расположившихся за большим столом и опорожнивших уже не одну бутылку. По опыту он знал, что редкая попойка подобного рода обходится без ссоры, а то и драки.

Голоса молодых людей звучали все громче, каждый кричал свое, не слушая остальных. Но вот в трактир вошел молодой лейтенант, появление которого было встречено возгласами единодушного восторга. Лейтенант сел за стол, выпил предложенный ему стакан вина и, обедая приятелей веселыми глазами, сказал:

— Позвольте, господа, рассказать вам презабавную историю. Сегодня в парижском суде разбиралось дело одного обнищавшего дворянина. Этот человек выходил поздно вечером на улицу, останавливал какого-нибудь запоздалого прохожего-простолюдина и угрожая ему шпагой, приказывал следовать за собой. Прохожий, трясясь от страха, мысленно прощался с кошельком, а может быть, и с жизнью. Но, приведя пленника к себе домой, дворянин садился на стул и приказывал простолюдину стянуть с него сапоги, а затем постлать постель, после чего отпускал его на все четыре стороны. Представьте себе, господа, этот дворянин объявил на суде, что по бедности он не в состоянии держать слугу, но что благородство не позволяет ему самому разуваться.

Гул одобрения покрыл последние слова рассказчика:

— Каков, а?

— Вот что значит истинное благородство!

— Должно быть, этот дворянин — потомок обедневшего, на знатного рода.

— Вне всякого сомнения, — подтвердил лейтенант.

— Тогда нет ничего удивительного, что ему стыдно самому разуваться.

«Самому разуваться стыдно, а подстергать, словно разбойнику, прохожего в темном переулке не стыдно? — с горечью подумал дядюшка Антуан, который внимательно прислушивался к разговору. — Вот она, дворянская спесь!.. Не сомневаюсь, что Ришелье, если ему доложат об этом господине, велит повесить негодяя...».



**Французские дворяне
Бремен Людовика XIII.**

Но герцог Ришелье — кардинал и первый министр Франции, узнав, что виконт Шевалье (так звали подсудимого) храбр в той же мере, что и спесив, не только приказал освободить его от всякого наказания, но и принял к себе на службу.

Обедневших дворян, подобных Шевалье, было во Франции множество — целая армия. У них не оставалось иного имущества, кроме шпаги, и не было другого выхода, как отдать эту шпагу на службу королю: это был единственный доступный им «благородный» заработок. Постепенно Ришелье и создал из них армию, беззаветно преданную королю, который ее содержал. Опираясь на эту армию, Ришелье рассчитывал сокрушить

силу крупных аристократов, чьи древние роды были подчас не менее знатны, чем королевский. Эти знатные вельможи готовы были растерзать Францию на куски, лишь бы остаться полными властелинами своих владений.

Герцог Арман Жан дю Плесси Ришелье с некоторых пор получил возможность по своему усмотрению распоряжаться судьбами больших и малых людей Франции. Каких-нибудь полтора десятка лет тому назад он был всего лишь скромным провинциальным епископом. В 1614 году в качестве представителя от духовенства одной из провинций он принял участие в собрании Генеральных штатов. Яркие, содержательные речи молодого депутата обратили на него внимание влиятельных людей. Он был представлен королеве Марии Медичи, которая в то время состояла регентшей при своем малолетнем сыне Людовике XIII.

Скромный епископ, наделенный необыкновенным умом и непреклонной волей, очаровал королеву. Она приблизила его ко двору, ввела в Государственный совет. Спустя несколько лет Ришелье становится кардиналом — высшим духовным лицом римско-католической церкви во Франции. Кроме того, ему поручают заведовать иностранными делами.

Постепенно Ришелье отстранил Марию Медичи от всех государственных дел. В своих руках он соединил всю полноту как духовной, так и светской власти, будучи одновременно кардиналом и первым министром молодого короля Людовика XIII, крайне слабовольного человека, который всецело подчинился влиянию Ришелье.

Феодальная знать люто возненавидела всесильного кардинала. Его не раз пытались свергнуть и даже просто убить. Однако Ришелье с тонкой проницательностью раскрывал все тайные заговоры и с холодной жестокостью расправлялся с заговорщиками.



Париж в начале XVII века. Гравюра.

Вся государственная деятельность Ришелье была направлена на усиление королевской власти. «Ибо,— рассуждал он,— сильная, абсолютная королевская власть (даже если она сосредоточена в руках не самого короля, а в руках его первого министра) — это сильное государство, сильная Франция»,

«День обманутых»

Утром 10 ноября 1630 года два молодых дворянина вышли из Лувра и по набережной Сены направились к Новому мосту. Оба они были при шпагах, в бархатных плащах и широкополых шляпах.

Один из них шел немного впереди своего спутника, ссутулив плечи и надвинув шляпу на глаза так низко, что его лица невозможно было разглядеть. При каждом порыве ветра он старательно придерживал полы плаща, должно быть, не желая привлечь внимания прохожих великолепным костюмом, скрытым под плащом. Предосторожность не напрасная, потому что привлеки он внимание — его тотчас узнают, и тогда соберется толпа зевак, ибо не каждый день можно увидеть короля Франции Людовика XIII, пешком прогуливающегося по Парижу в сопровождении одного лишь спутника.

Спутник короля — его первый оруженосец Клод де Сен-Симон тоже кутался в плащ: день был пасмурный и с реки тянуло холодом. «Что за странная фантазия: отправиться в Сен-Жерменское предместье пешком! — думал он, — Впрочем, должно быть, его величеству хочется обдумать по дороге предстоящий разговор».

Де Сен-Симон тяжело вздохнул. Он знал, что они направляются в Люксембургский дворец, резиденцию Марии Медичи, матери короля, и вздыхал, предвидя, что король выйдет от нее, как всегда, раздраженный и мрачный более обыкновенного.

Занятый этими мыслями, де Сен-Симон не заметил, что они уже вступили на Новый мост. Он вздрогнул, когда у самого уха услышал крик торговца:

— Рыба! Кому свежей рыбы?

Новый мост с его белыми перилами и башенками красовался в самом центре Парижа. В отличие от всех других ранее сооруженных парижских мостов, на нем не стояло ни домов, ни лавок торговцев. Поэтому он казался необыкновенно просторным, несмотря на то, что во всякую погоду был запружен людьми.

Де-Сен-Симон, боясь в толчее потерять короля из виду, шел теперь лишь на полшага позади Людовика, который по-прежнему не поднимал головы и, казалось, не замечал ничего вокруг.

А вокруг колыхалась шумная, пестрая, разноликая парижская толпа. Разносчики выкрикивали названия своих товаров. Озабоченный буржуа торопливо пробирался сквозь толпу. Два бедно одетых дворянина провожали глазами высокомерного вельможу, проезжавшего верхом в сопровождении пышной свиты. Женщина в белом чепце несла на локте корзину с овощами.

Проходил монах-капуцин в бурой власнице, подпоясанной веревкой, в капюшоне, надвинутом на глаза. Глядя ему вслед, бравый мушкетер шептал что-то на ухо хорошенькой служанке, и ее смех, казалось, был слышен на другом конце моста.

Мальчишки, протиснувшись сквозь плотное кольцо зевак, зачарованно глядели на заезжего фокусника, глотавшего иголки. Тут же сновали молодцы, высматривающие, у кого бы срезать ^кошелек.

С книгой под мышкой брел изможденный школяр, зябко кутаясь в потертый выцветший плащ.

Ничего этого не видел и не слышал король, погруженный в свои невеселые думы.

Несколько дней назад ему, наконец, удалось убедить Марию Медичи прекратить многолетнюю вражду с кардиналом Ришелье. Сегодня в Люксембургском дворце должно было состояться их торжественное примирение.

Для Людовика XIII было очень важно помирить мать с Ришелье. За спиной Марии Медичи стояли многие знатные аристократы, которые надеялись, что ей как матери короля скорее, чем кому-либо другому, удастся низложить неугодного им первого

министра и благодаря этому им будет дана возможность самим влиять на политику короля.

Хотя полная зависимость от Ришелье в государственных делах и задевала самолюбие короля, он, однако, давно уже осознал свою неспособность управлять сложнейшим государственным механизмом. Он, безусловно, предпочитал видеть у кормила власти умного, талантливого, а главное, бесконечно преданного ему Ришелье, нежели какого-нибудь временщика, ставленника Марии Медичи.

Людовика XIII тяготили бесконечные придворные интриги. Потому-то он и жаждал с такой настойчивостью сегодняшнего примирения, хотя и подозревал, что оно может оказаться лишь формальным.

«Мать никогда не перестанет ненавидеть Ришелье,— с тоскою думал король.— Она считает его выскочкой, интриганом, честолюбцем, возвысившимся лишь благодаря ее покровительству и отплатившим ей черной неблагодарностью.

Выскочка? Да, Ришелье вышел из безвестности, он с чрезвычайной стремительностью проделал путь от провинциального епископа до первого министра моего королевства. Однако справедливость требует признать, что своим возвышением он в первую очередь обязан своему могучему уму и своей непреклонной воле.

Интриган? — король усмехнулся.— Пожалуй! Но, святая мадонна, если представить себе, сколько интриг (и каких интриг!) плетется вокруг кардинала, то станет ясно, как божий день, что если бы он не распутывал чужих интриг и не завязывал своих, его враги давно бы покончили с ним.

Смешно упрекать Ришелье и в честолюбии. Конечно, он честолюбив. Но он слишком велик для того, чтобы быть просто тщеславным. Всякому непредвзятому уму понятно, что кардинал прежде всего руководствуется благом Франции. Все его дела непременно говорят об этом.

Для блага Франции он приводит в повиновение крупную аристократию. Для блага Франции он отнял у гугенотов¹ все их крепости, находившиеся в руках гугенотских общин со времен моего отца и дававших им независимое положение государства в государстве, что, конечно, несовместимо с идеей централизации. Разве англичане по договоренности с гугенотами не готовились использовать их крепости, чтобы затеять новую войну во Франции?.. А разве не мудро было со стороны Ришелье, отняв у гугенотов крепости, сохранить им право верить и молиться по-своему?

Сколько преобразований, полезных и важных, произвел Ришелье за время своего правления! Суды поставлены под контроль

¹ Гугеноты — французские протестанты,

специальных королевских чиновников, которые следят за точным исполнением законов. Церковь стараниями кардинала теперь более зависит от нашего правительства, нежели от папы Римского.

А какое благодеяние французскому дворянству оказал Ришелье, строжайше запретив дуэли! Прежде дуэли уносили ежегодно сотни жизней, а между тем, как провозгласил кардинал, «дворянин должен проливать кровь лишь за Францию и за своего короля».

Проходя мимо конной статуи своего отца Генриха IV, великолепной статуи, которая гордо возвышалась тут же на мосту, Людовик XIII впервые поднял голову и остановился. Казалось, он хотел что-то сказать. Но спустя мгновение он уже шагал вперед так быстро, что верный оруженосец едва за ним поспевал.

Король застал Марию Медичи перед зеркалом, две женщины только что закончили ее прическу.

Увидев сына, королева выслала женщин и ласково поцеловала его в лоб, когда он склонился к ее руке. Людовику подумалось, что в детстве мать не баловала его нежностями, но он поспешил отогнать от себя эту мысль и приветливо обратился к ней:

— Мне доставляет большое удовольствие думать, что сегодня вы, ваше величество, исполните свое намерение торжественно помириться с герцогом Ришелье. Надеюсь, что этим будет положен конец всем неудовольствиям между вами, матушка, и кардиналом.

Темные глаза Марии Медичи сверкнули гневом.

— Да,— сказала она надменно,— я действительно обещала помириться сегодня с герцогом, но, признаться, это было лишь уловкой с моей стороны, чтобы заставить вас, сын мой, прийти сюда и выслушать все, что я вам скажу. У меня не было другого способа поговорить с вами наедине: кардинал почти постоянно находится при вас, а в его отсутствие вы окружены его шпионами.

— Что вы имеете мне сказать? — холодно спросил Людовик.

— Я хочу умолять ваше величество освободить ваших подданных от тирании герцога Ришелье. Она подала Людовику лист бумаги, который тот взял, спросив неприязненно:

— Что это?

— Это приказ об отставке Ришелье.

Король удивленно поднял брови:

— Кем он составлен?

— Мною и моими друзьями.

— Каждый из которых,— подхватил Людовик,— мог бы с полным основанием повторить слова Карла Смелого: «Я так люблю Францию, что предпочел бы иметь в ней шесть государей вместо одного». Разве не так?

Королева сделала слабый протестующий жест.

— Как бы то ни было,—продолжал Людовик,— вы, матушка, дали мне слово помириться сегодня с кардиналом в моем присутствии, для чего я и прибыл сюда, предварительно вызвав герцога Ришелье, который, возможно, уже дожидается за этой дверью.

Вошел камердинер и доложил о его высокопреосвященстве кардинале Ришелье.

— Скажите, что я не принимаю!—живо сказала королева»

— Пусть войдет! — твердо произнес король.

Вошел Ришелье. Величественная осанка делала внушительной его сухощавую фигуру, высокий лоб говорил об уме, а холодные пронизательные глаза — о непреклонной воле.

Одного взгляда, брошенного им на мать и сына, было достаточно — он понял все.

И мать, и сын почувствовали это.

Королева, стиснув руки, отвернулась, а Людовик каким-то безотчетным движением протянул приказ кардиналу. Тот бегло взглянул на лист и почтительно вернул его королю.

— Ну, что ж, ваше величество, приказ составлен по всем правилам, вам остается лишь подписать его.

Кардинал поклонился королеве, Людовику и медленно вышел.

Этот день был назван французами «днем обманутых». Обманулись многие дворяне: прослышав о том, что герцог Ришелье после самой непродолжительной аудиенции у Марии Медичи вышел от нее мрачный, и, несомненно, огорченный, они решили, что владычество всесильного министра кончилось, и поспешили в Люксембургский дворец с изъявлениями своей преданности старой королеве.

Между тем король вызвал Ришелье к себе. Кардинал явился во дворец короля с выражением скорби и уязвленного самолюбия на лице.

— Поверьте, ваше величество,— сказал он,— для меня было бы большим облегчением сложить с себя многотрудные обязанности первого министра и вновь сделаться епископом в какой-нибудь тихой провинции. Вам предлагают устранить министра, все усилия которого на службе вашего величества снискали ему только врагов. Приказ...

— Нет, нет!—живо возразил Людовик XIII.— Не будем говорить о приказе: это пустая бумага, составленная не только **Вашими**, но и моими врагами. Забудьте о нем, господин кардинал, и продолжайте вашему королю служить по-прежнему...

Марию Медичи король, по совету Ришелье, удалил от двора, назначив ее резиденцией замок Компьен. Предполагалось, что эта крутая мера охладит некоторые слишком горячие головы. А Ришелье не уставал внушать Людовику, что «государственный интерес» должен стоять выше всех других соображений, в том числе и родственных чувств...

Для Марии Медичи потянулись тоскливые однообразные дни. Замок напоминал ей тюрьму: она знала, что все выезды из Компьена надежно охраняются. Она томилась тревогой и лежала планы мести кардиналу.

Вскоре к ней явился придворный — виконт Шевалье и поведал тайну: кардинал замышляет перевести королеву в какое-то другое место, где ее заточение будет более суровым. Мария была очень напугана этим известием и, по совету Шевалье, решила, пока не поздно, бежать в Брюссель. Шевалье вызвался помочь устроить побег. Был назначен день и час.

Мария Медичи благополучно бежала, а на другой день поутру виконт Шевалье уже переступил порог кабинета Ришелье. Кардинал, сидевший за большим столом, заваленным пергаментами, на которых висели государственные печати, книгами и рукописями, читал какую-то книгу, делая в ней пометки. Левой рукой он поглаживал котенка, примостившегося у него на коленях. За движением его руки настороженно следила пушистая белая кошка, развалившаяся на ковре у камина.

Увидев Шевалье, склонившегося у дверей в низком поклоне, Ришелье осторожно пересадил котенка на подлокотник кресла, не спеша поднялся, сделал несколько шагов навстречу Шевалье и, здороваясь, первым протянул руку.

Виконта не удивило такое крайнее проявление учтивости министра. Все знали эту, на первый взгляд, странную манеру владыки Франции — первому подавать руку любому вошедшему к нему человеку. Говорили, что он поступал так из опасения получить удар кинжалом в грудь, и постепенно это вошло у него в привычку.

— Все в порядке, монсеньер,— сказал Шевалье.— Вдовствующая королева этой ночью покинула Францию.

— Прекрасно!—кардинал прошелся по кабинету.— И никто не сможет упрекнуть меня в жестокосердии: я не понуждал Марию Медичи покинуть Францию, она сама бежала, обманув бдительность стражи...— Ришелье скупой улыбнулся, достал из ящика стола кожаный мешочек и протянул его Шевалье.

— Это награда за вашу услугу,— сказал он.— Тут тысяча пистолетов.

Шевалье принял деньги, низко поклонился и вышел из кабинета.

В большой приемной кардинала, как и всегда, толпилось множество дворян. Шевалье остановился возле кучки знакомых офицеров.

Молодой лейтенант спрашивал, обращаясь сразу ко всем:

— Верно ли, что король охотится в Блуа?

— Да, третий день.

— Говорят, королева-мать возвращается в Париж...

— Вряд ли... Похоже, что это просто слухи,

— Конечно, слухи,—вмешался в разговор Шевалье.—Королева-мать сегодня ночью бежала из Франции.

Все повернулись к нему:

— Королева бежала?

— Возможно ли?

— Откуда вам об этом известно?

Шевалье таинственно улыбнулся.

— О, последний вопрос излишен,— заметил лейтенант,— наш друг Шевалье только что вышел от его преосвященства. Должно быть, сам кардинал сообщил ему эту новость.

«Кардинал будет недоволен, если сочтут, что эта новость исходит от него»,— подумал Шевалье и поспешно сказал: — Полноте, господа! Да об этом с утра говорит весь Париж!—И он пошел прочь, при каждом шаге ощущая приятную тяжесть пистолей в кармане камзола.

К вечеру, действительно, весь Париж заговорил о побеге Марии Медичи. Все единодушно — кто с громким одобрением, кто молчаливо осуждая — называли имя Ришелье, человека, вынудившего королеву на такой шаг.

В тот же вечер младший брат короля принц Гастон, бледный от гнева, явился во дворец Ришелье...

Несколько лет тому назад кардиналом был раскрыт большой заговор против короля и, конечно, против него самого. Этот заговор стали называть заговором графа Шале. Однако истинными вдохновителями его были брат и жена Людовика XIII — принц Гастон и Анна Австрийская. Кроме них, соучастниками заговора были сводные и двоюродные братья короля, несколько влиятельных придворных, а среди них и первая красавица Франции — герцогиня де Шеврез. И хотя молодой граф Шале был лишь пешкой в игре, его, в назидание другим, постигла самая суровая кара — смертная казнь. Правда, большинство участников заговора было арестовано, но тем дело и кончилось.

Анна Австрийская впала в немилость короля, а принц Гастон, будучи наследником престола (у Людовика XIII тогда еще не было сына), являлся особой неприкосновенной. Поэтому Ришелье счел за благо приручить принца. Гастон был введен в Государственный совет и получил титул герцога Орлеанского.

Теперь, узнав об участии матери, принц пришел в ярость. В испуге он кричал на кардинала, топал ногами, грозил ему страшными карами.

Но Гастон недаром был известен как человек крайне легкомысленный и слабохарактерный. Едва он вышел из дворца, как его охватило раскаянье за свою горячность, и он ощутил такой непреодолимый страх, как будто мушкетеры из личной гвардии кардинала уже гнались за ним, чтобы отвести его в Бастилию. На другой же день он бежал из Франции в Лотарингию, а затем в Брюссель.

Вместе с Марией Медичи он, заручившись поддержкой Испании, этого извечного врага его родины, составил новый заговор против Ришелье и Людовика XIII. Ему удалось привлечь на свою сторону герцога Монморанси, губернатора одной из французских провинций. В бытность свою маршалом этот человек необыкновенной отваги одержал не одну блестящую победу во славу французского оружия.

И вот принц Гастон с большим отрядом наемников — испанцев, итальянцев и бельгийцев вступил на родную землю. Беспрепятственно достигнув провинции Лангедок, он соединился с герцогом Монморанси. Но тут военное счастье изменило мятежникам. В бою с королевскими войсками они были разбиты, а тяжело раненный Монморанси взят в плен. Герцог был обезглавлен, а принц Гастон снова явился с повинной и снова был прощен королем. Эти события охладили многих. Они показали, каково соотношение сил в стране, где создана большая и верная королю, щедро им оплачиваемая дворянская армия. Внутри Франции наступило затишье, и Ришелье мог теперь большую часть своей энергии направить на упрочение положения Франции в Европе.

Блестящие победы и песни отчаяния

Еще в самом начале своей карьеры, выступая на Генеральных штатах 1614 года, Арман дю Плесси, будущий кардинал Ришелье, высказал мысль, что государям «не страшно вступать в борьбу с могущественными врагами, если силы последних разъединены и ослаблены».

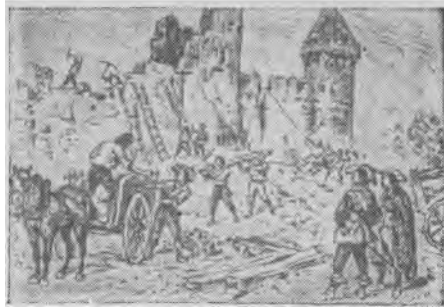
Именно эту мысль первый министр Людовика XIII и положил в основу всей своей внешней политики. Он стремился не к завоевательным походам, не к рискованным столкновениям с могущественными соперниками. Неумолимо, день за днем, он размышлял над тем, чтобы любыми средствами внести в их ряды разлад, и для этого предоставлял поддержку мятежным силам, которые изнутри подтачивали бы мощь вражеской державы.

В ту пору опасными соседями Франции являлись Испанская монархия и Священная Римская империя. Обе эти державы управлялись двумя ответвлениями дома Габсбургов. Как испанские, так и германские Габсбурги считали себя ревностными сторонниками католической церкви. Все свои завоевания они старались оправдать заботой о благе этой церкви.

Главными противниками императора в самой Германии были ее протестантские князья. За попытку протянуть им руку помощи расплатился жизнью отец Людовика XIII — Генрих IV¹. Теперь к тем же протестантским силам Германии протянулась дружеская рука министра, облаченного в кардинальскую мантию. Казалось

¹ См. очерк «Орден иезуитов».

бы, носитель высокого церковного звания должен был выступать не сторонником, а противником немецких протестантов. Однако Ришелье считал, что превыше всех соображений должен ставиться государственный интерес Франции. И ее первый министр готов был оказать всяческую поддержку протестантским противникам императора.



Разрушение феодального замка при Ришелье.

Именно поэтому Ришелье разжигал искры войны (1618—1648 годы), которая впоследствии стала называться Тридцатилетней. Без всяких колебаний Ришелье щедрой финансовой помощью и дипломатической поддержкой добился вовлечения в эту войну сначала Дании, а затем и Швеции. Более того, в ту самую минуту, когда на шахматной доске войны появилась новая фигура шведского короля-завоевателя и, как тогда говорили, был объявлен «шах императору»,— именно в эту минуту папа Римский наотрез отказал немецким католикам в поддержке. К такому отступничеству от католических интересов папу Урбана VIII побудил не кто иной, как кардинал римской церкви Ришелье, хорошо знавший и денежные затруднения святого отца, и способы воздействия на него.

Благодаря блестящей внешней политике правительства Ришелье Франция сделалась могущественнейшим из государств Европы. Но эта политика и содержание большой армии требовали больших денег. Вся тяжесть налогов ложилась на плечи крестьян.

— Если бы народ слишком благоденствовал, его нельзя было бы удержать в границах его обязанностей,— говорил Ришелье.— Будучи освобожден от податей, он вообразил бы, что свободен от повиновения. Народ надо сравнивать с мулом, который, привыкнув к тяжестям, больше портится от долгого отдыха, чем от работы.

В те времена крестьяне пели старинные песни, сложенные еще их прадедами, песни, полные безысходного отчаяния:

Мы вволю отроду не ели,
Нас голод мучает всегда.
Мы сыты только раз в неделю,
Хоть полон каждый день труда.
Не знаем мы, чего нам ждать,
И в мыслях каждого — бежать!

Но бежать было некуда, а жизнь становилась невыносимой, и по всей Франции то тут, то там вспыхивали народные восстания.

Повстанцы преследовали откупщиков и сборщиков налогов, в городах громили дома богачей, в деревнях — имения дворян.

Дворяне, смертельно испуганные, бросились под защиту правительства Ришелье. Министр всегда беспощадно боролся с крупными феодалами, с теми из них, кто стремился к политической самостоятельности. Но он всегда был защитником дворянства в целом, видя в нем надежную опору трона.

Теперь, защищая дворянство от ярости народа, правительство Ришелье с невероятной жестокостью обрушилось на восставших. Многие из дворян, прежде недовольных всевластием кардинала, начинали понимать, что это всевластие служит их же пользе, и становились убежденными кардиналистами — верными и преданными приверженцами Ришелье.

Отдыхая от дел государственных

Будучи несметно богат, Ришелье выстроил несколько великолепных дворцов и часто переезжал из одного в другой. Его любимой резиденцией был Пале-Кардиналь — дворец в Париже, построенный для него знаменитым в то время архитектором Лемерсье.

Главный фасад дворца, выходящий на улицу Сент-Оноре, поражал своей пышностью. О роскоши внутреннего убранства парадных покоев ходили легенды, которые, впрочем, мало что могли прибавить к истинному великолепию дворца. В одном из его флигелей помещалась театральная зала, вмещавшая три тысячи человек, в другом — богатейшая картинная галерея.

Во дворце была прекрасная библиотека со множеством редких книг и рукописей. Кардинал увлеченно коллекционировал картины, скульптуру, изделия из бронзы и фарфора, старинную мебель, мозаику и драгоценные камни.

В редкие часы, свободные от государственных дел, Ришелье с наслаждением отдавался литературным занятиям. Он сочинял стихи и пьесы, писал и редактировал статьи для «Французской газеты», первой газеты, которая с недавних пор начала выходить в Париже.

Много внимания уделял Ришелье составлению проектов по вопросам образования. Он считал, что простолюдинам, которым в жизни предстояло заниматься земледелием, ремеслами и торговлей, вполне достаточно пройти двух-трехлетний курс наук в реальных училищах. По всей Франции, кроме двенадцати городов, были закрыты колледжи.

— Надо приостановить стремление бедняков учить своих детей, — говорил Ришелье.

В то же время он основал Королевскую коллегию и две академии, где молодых дворян готовили к военной и государственной службе.

Дворянство охотно посещало Пале-Кардиналь. На сцене его театра великий французский поэт Корнель впервые поставил своего бессмертного «Сида». Эта пьеса надолго сделалась мерилом художественного совершенства, вызвав на свет поговорку: «Прекрасно, как «Сид».

Ришелье ставил на сцене своего театра и пьесы собственного сочинения. Они были весьма посредственны, но кардинал считал себя незаурядным литератором.

— Знаете ли вы, маркиз, какое занятие доставляет мне наибольшее удовольствие? — спросил он как-то одного из придворных.

— Полагаю, ваше преосвященство, деятельность государственная.

— И ошибаетесь! — возразил кардинал. — Более всего я люблю сочинять стихи.

Ведя этот разговор, Ришелье и маркиз прогуливались по картинной галерее, где были собраны лучшие образцы живописи итальянской, фламандской, французской и испанской. Там же висел портрет самого Ришелье, под которым художник сделал надпись по-латыни: «Он повелевает миром».

Проходя мимо портрета, Ришелье привычно скользнул по нему взглядом, но вдруг остановился и побледнел. Ниже латинской надписи была карандашом сделана приписка, также по-латыни: «Когда он погибнет — мир вздохнет свободно».

Кардинал долго пристально вглядывался в карандашную строку, стараясь узнать почерк.

— Я бы дал десять тысяч пистолей, чтобы узнать автора этой надписи, — медленно сказал он.

Маркиз позволил себе улыбнуться:

— Думаю, он бы дал двадцать тысяч, чтобы не быть узнаваемым.

— Впрочем, — продолжал Ришелье, — мне и так известно, что многие аристократы — если бы они только смели! — поставили бы тут свои подписи. Но они не смеют. Теперь все, наконец, поняли, что бороться против меня не только опасно, но и бесполезно. Каждый раз, приняв решение, я медленно иду к цели, все взвешивая, все оценивая, а затем я все сокрушаю, повергаю во прах все, что стоит на моем пути, а содеянное прикрываю своей пурпурной кардинальской мантией.

С лица придворного сошло всякое подобие улыбки.

— Видит бог, — продолжал Ришелье, подняв глаза и коснувшись рукой большого золотого креста — ордена святого духа, висевшего у него на груди, — видит бог, я не хотел бы дать новый повод обвинить меня в жестокосердии, но в последнее время я вижу, что передышке, полученной мною после казни герцога Монморанси, приходит конец. Против меня готовятся новые заговоры, и мне вновь придется быть беспощадным.

И он сжал в кулаке золотой крест, как рукоять шпаги.

Предчувствия не обманули Ришелье.

В 1641 году граф Суассон, собрав приверженцев, поднял мятеж в Седане. Ему помогали Испания, Австрия и Лотарингия. Графу удалось разбить наголову королевскую армию. Путь к Парижу был открыт.

Напуганный Людовик XIII хотел уже уступить главнейшему требованию мятежников — дать отставку Ришелье, как вдруг граф Суассон был сражен подосланным убийцей. Кто его подослал? Никто этого не знал, об этом старались не говорить...

Лишившись руководителя, мятежники растерялись, мятеж был подавлен.

Но в следующем году вновь составилась заговор. На этот раз его главой был любимец, короля, молодой блестящий придворный Сен-Мар. Поговаривали, что сам король знал о готовящемся заговоре против Ришелье, но не сделал ничего, чтобы предупредить его.

Однако кардиналу удалось достать копию договора заговорщиков с Испанией. Это дало ему возможность обвинить Сен-Мара в государственной измене, и Людовику пришлось подписать смертный приговор своему любимцу.

Это был последний заговор против Ришелье и последняя казнь по его повелению.

Теперь Ришелье был уверен, что во Франции у него не осталось (или почти не осталось!) опасных врагов.

Умерла Мария Медичи, так и не увидев более Франции. Принц Гастон после того, как в 1638 году у Людовика XIII родился сын, потерял свое бывшее значение наследника престола, а вместе с тем и охоту к политическим авантюрам. Их сторонники томились в заточении или на чужбине.

«Политическое завещание» Ришелье

Кардиналу некого было опасаться, но он не был спокоен за будущее Франции. Его постоянно терзала мысль, что после его смерти, приближение которой он, тяжелобольной, уже чувствовал, Людовику XIII неостанет ума и твердости проводить и дальше политику своего министра. Поэтому Ришелье составил для короля своего рода руководство по управлению государством, названное им «Политическим завещанием».

В этом обширном труде Ришелье, казалось, предусмотрел все. Он наставлял короля в принципах управления государством и в преодолении непорядков в судах, писал о монастырях и о народном образовании, заботился об укреплении армии и о расширении торговли, указывал обязанности короля и его советников.

Только после смерти Ришелье (он умер в 1642 году) Людовик XIII по-настоящему понял, какое тяжелое бремя больших и

малых государственных дел нес кардинал на своих плечах. Часто, запершись в кабинете, король перечитывал обращенные к нему слова «Политического завещания», и тогда ему казалось, что он слышит голос самого Ришелье:

«Когда вы, ваше величество, решились предоставить мне доступ в ваши советы и оказать мне великое доверие в ведении ваших дел, я поистине могу сказать, что гугеноты разделяли государство с вашим величеством, что вельможи вели себя так, как будто бы они не были вашими подданными, а наиболее могущественные губернаторы провинций чувствовали себя на своих должностях так независимо, как если бы они сами были государями...

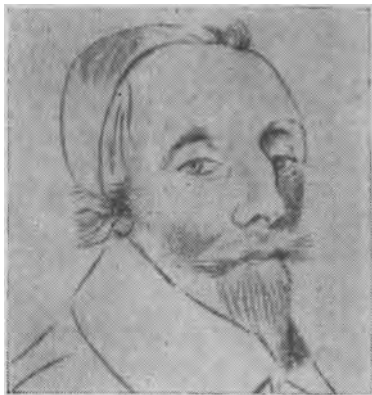
Я могу сказать, что каждый измерял свои заслуги сообразно своей дерзости; что вместо того, чтобы ценить благодеяния, оказываемые вашим величеством в соответствии с заслугами, каждый считал эти благодеяния достаточными лишь в том случае, если они соответствовали самой необузданной фантазии; что наиболее предприимчивые почитались наиболее умными и оказывались самыми удачливыми.

Еще я могу сказать, что иностранные союзы находились в пренебрежении, интересы частные предпочитались государственным. Одним словом, по вине тех, кто тогда управлял вашими делами, достоинство вашего величества было унижено и весьма отличалось от того, каким ему надлежало быть.

Поступки тех, кому вы, ваше величество, доверили кормило своего государства, терпеть далее было опасно. С другой стороны, нельзя было все сразу изменить, не нарушая законов благоразумия, которые не позволят резко переходить от одной крайности к другой.

Лучшие умы полагали, что невозможно без, крушения обойти все подводные камни, появившиеся в то опасное время. При дворе было полно людей, которые заранее порицали безрассудство тех, кто намеревался взяться за это. Известно, что государи, получая добрые советы относительно какого-либо дела, в случае неудачи легко перекаладывают вину на тех, кто их окружает. Поэтому очень мало людей надеялись на благополучный исход тех перемен, которые я хотел произвести. Многие считали мое падение решенным еще до того, как вы возвысили меня.

Невзирая на все затруднения, которые я изложил вашему величеству, я, зная, на что способны короли, когда они хорошо



Кардинал Ришелье.

пользуются своей властью, осмелился обещать вам и, как мне кажется, не безрассудно, что государство ваше станет благоденствовать, что в непродолжительном времени ваше могущество и божие благословение придадут новый вид вашему королевству.

Я обещал вам употребить все свое искусство и всю свою власть, которую вам угодно было мне дать, на то, чтобы сокрушить партию гугенотов, сломить спесь вельмож, привести всех ваших подданных к исполнению своих обязанностей и возвысить ваше имя среди других народов...»

— Ты сделал все, что обещал,— шептал король и, натужно кашляя, хватался за грудь. Он был опасно болен и знал, что ненадолго переживет своего министра.

В тот день, когда король увидел имя великого кардинала на могильном камне, он с горечью подумал, что теперь не так уж и важно, сколько еще суждено прожить на свете ему самому. Потому что со смертью Ришелье миновала эпоха Людовика XIII. И если в будущем историки скажут о каком-нибудь событии времен Людовика XIII, то каждый школяр подумает, что оно произошло во времена кардинала Ришелье...

БОЛЬШОЙ ПУТЬ МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЫ

(Страницы истории средневековых Нидерландов)

Три столетия тому назад развернулась и впервые пришла к победе буржуазная революция. И произошло это не в большом и могущественном государстве, а в небольшой, но поистине замечательной стране.

Она рано стала знаменита своей всесветной торговлей, своими изделиями, своим хозяйственным расцветом. Но всего более прославилась она редким трудолюбием ее народа, его вольнолюбивым духом.

Заглянем в историю Нидерландов. Пусть прошелестят ее страницы, и перед нами раскроются картины жизни страны, черты характера ее народа.

Древнейшие сведения о Нидерландах

Когда в тесный треугольник, расположенный в северо-западном углу Европейского материка и рассеченный артериями Рейна, Мааса и Шельды, впервые вступили римляне, они не знали, как назвать открывшееся их взорам пространство: сушей или морем?

Им встретились тут лагуны и вязкие топи. Течение могучих рек выносило к самому морю наслоения плодородного ила, где их беспощадно размывали и уносили прочь приливы и отливы. От самой кромки моря простирались песчаные холмы. Они медленно двигались под напором ветра и словно повторяли волны моря изгибами своей поверхности и ее чешуйчатой рябью.

Римляне дивились дремучим лесам, как бы раздвинутым широкой дельтой Двурогого Рейна, светлые рукава которого омывали диковинный остров Батавию. Его зыбкая почва то обнажалась, то наполовину скрывалась под буйным натиском океанских вод.

Римские военачальники недаром сетовали на суровую природу сырого и болотистого края, на закаленность и отвагу живших у моря германских племен — хеттов и батавов.

Низовья Рейна и примыкавшие к ним земли показались таким же безрадостным краем и арабскому купцу-путешественнику, посетившему эти места в IX веке. Их странную почву он назвал «соленой трясиной», «смесью воды и грязи». Зоркий глаз араб-



ского наблюдателя отметил стойкость фризов, саксов и франков — народностей, живших в ту пору близ дельты Рейна.

Океан, подобно прожорливому чудовищу, кусок за куском поглощал ту почву, на которой древние фризы и саксы с бесстрашием и удивительным упорством располагали свои хижины, сооружали рыболовные ладьи, разводили домашних животных и производили кой-какие посевы.

Школа борьбы с природой

Голландский рыбак.

Слово «Нидерланды» означает «низко лежащие земли». Некоторые из этих земель были ниже уровня океана и легко затоплялись его водами.

Земля здесь как бы ускользала из-под ног и исчезала в пасти ненасытного океана. Чтобы выжить, население должно было вступить в отважный поединок с грозным океаном. Сначала оградить от него поля и леса, а затем, оттесняя стихию, отвоевывать землю клочок за клочком. Такова была повелительная необходимость, такова была беспримерная задача!

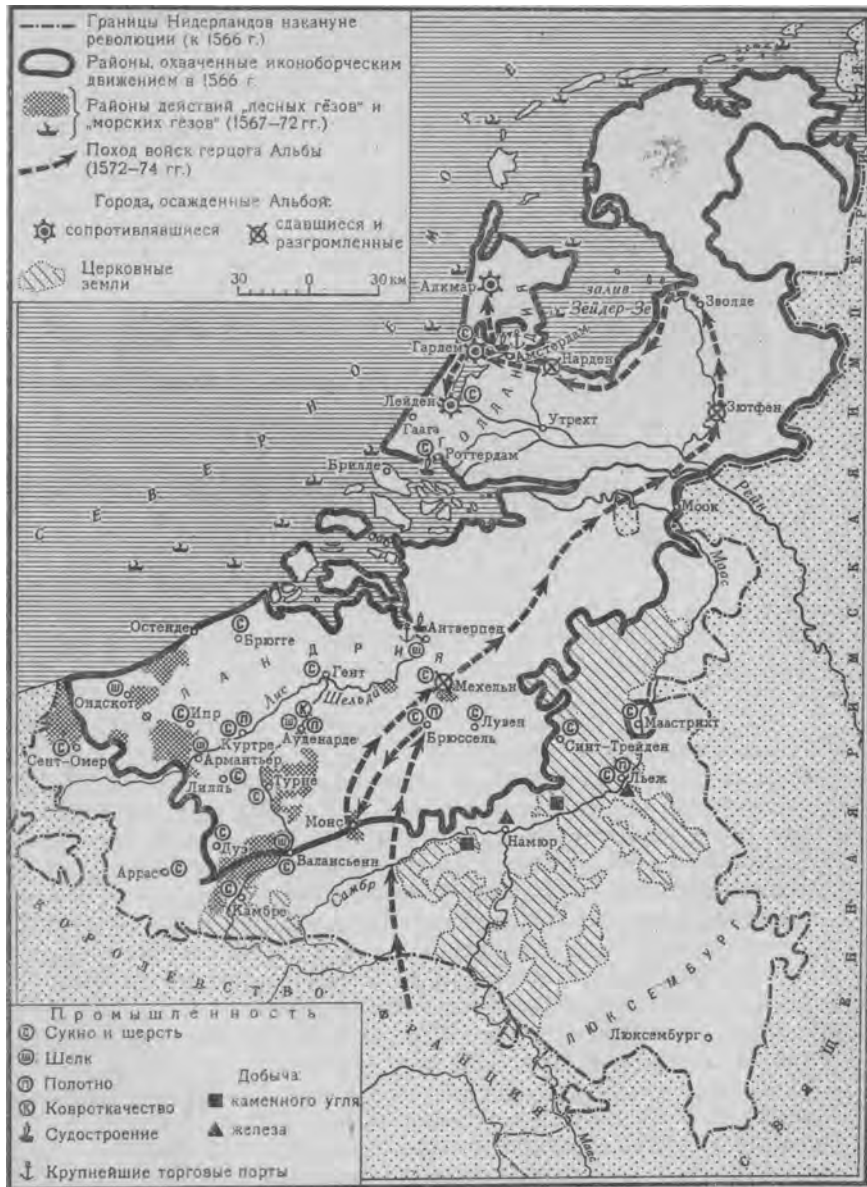
От ее успешного разрешения зависело, уцелеют ли, сохранятся ли поселения в северо-западном углу Европы, или над ними навсегда сомкнутся соленые морские воды.

«Господь бог создал море, а мы сушу» — так со временем стали с гордостью говорить голландцы. В небывалой, столетиями длившейся войне грозная стихия была побеждена волей, упорством, трудом и разумом многих поколений. Ряд за рядом встали плотины. Поднялись высокие дамбы. Неутомимые строители научились применять множество форм, хитроумной каменной кладки.

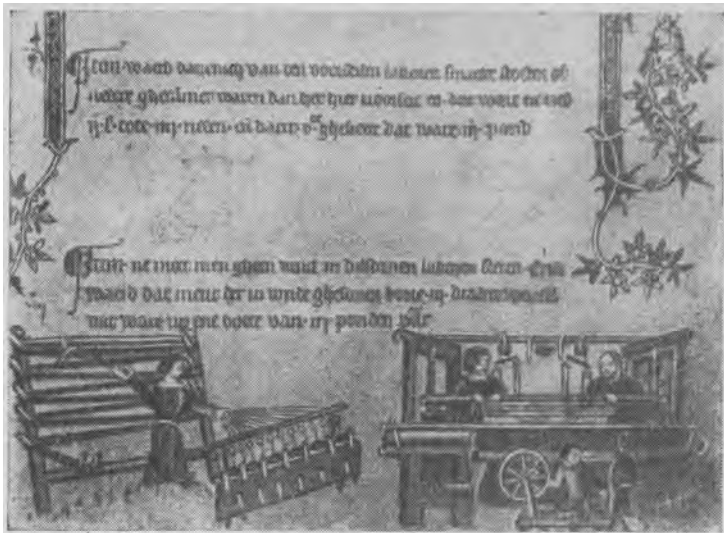
Но как удалить морскую воду из огражденного пространства?.. Для этого явно не хватало человеческих рук, даже если бы тысячи людей занимались этим делом днем и ночью.

Пришлось превратить ветер из гуляки-бездельника в полезного труженика. Вдоль плотин выстроились ветряные мельницы. Старинный нидерландский пейзаж нельзя себе и представить без ветряных мельниц, распластавших свои ребристые крылья у плотин, на фоне неба и синей морской дали. Деревянные работяги множеством черпаков ловко и неутомимо перебрасывали воду за пределы ограждения. Обмелевший грунт вдоль и поперек прорезали осушительные каналы.

Но удалить морскую воду было мало. Там, откуда она схлынула, надо было создать плодородную почву, отобрать у похити-



Нидерланды в середине XVI века.



Фландрские сукноделы.

телей-отливов бесполезно уносимый ими ил, бороться с солями и для этого снова и снова перекапывать, переворачивать и заботливо очищать пласты осушаемой земли.

Так возникли знаменитые «польдеры» — плодородные поля, расположенные ниже уровня океана и словно вырванные из его пасти человеческими руками.

Но совсем не просто, не легко было превращать морское дно в цветущую равнину. Море всегда оставалось страшным противником. Порою оно яростным неукротенным зверем бросалось на своих укротителей, и случалось, что дамбы и плотины переставали служить стенами неприступной крепости.

Так бывало, когда жестокие бури обращали вспять реки и те выступали из берегов, внезапно прорывали плотины и разом уничтожали плоды терпеливых трудов. В прежние времена лишь неширокая речка лежала между Голландией и другими нидерландскими землями. Так было еще в начале XIII века, до того часа, когда Северное море, нежданно хлынув на сушу, затопило тысячи фрисландских селений и образовало на их месте огромный залив Зюдерзее. С той поры затонувшая Западная Фрисландия стала дном этого залива, а Голландия оказалась узкой полосой суши, которую от уцелевшей Восточной Фрисландии отделял такой же водный простор, какой на западе лежал между нею и Англией.

Задолго до того, как кормильцами страны стали, наконец, тучные польдеры и не менее тучный скот, ее населению приходилось искать пропитание в седом и бурном море. С незапамятных вре-



Гентское ополчение. XIV век.

мен зеландские да голландские рыбаки промышляли сельдь в суровой Атлантике. Фламандские и брабантские купцы смело пересекали Ламанш, чтобы доставить из Англии чудесную шерсть. Вслед за рыбаками они пробивались к берегам Балтики и привозили оттуда хлеб.

Почему и как бедные Нидерланды превратились в богатейшую страну?

Невелики Нидерланды. Их недра бедны ископаемыми. И все же эта маленькая страна, скупая природой, страна дождей, ветров и наводнений, со временем прославилась как богатейшая в Европе. В чем же тайна богатства «бедных» Нидерландов?.. На этот основной вопрос отвечают и география, и история.

Географ подведет нас к карте и объяснит, что Нидерланды лежали на скрещении важнейших морских и речных путей средневековой Европы. Здесь устья полноводного Рейна, Мааса и Шельды, трех водных артерий, связывали глубинные районы Германии и Северной Франции с морем.

Морская дорога, извилистой лентой стлавшаяся вдоль всего побережья Западной Европы, от Скандинавии и Балтики на севере до берегов Франции, Испании и Португалии на юге, в средней своей части пролегла мимо Нидерландов. Именно в этом месте западный угол Европейского материка вплотную подходил к Англии крутым изломом своего берега. Расположенные здесь



Упаковка сельди в Амстердаме.

Фландрия и Брабант отделялись от Англии лишь узкой горловиной пролива.

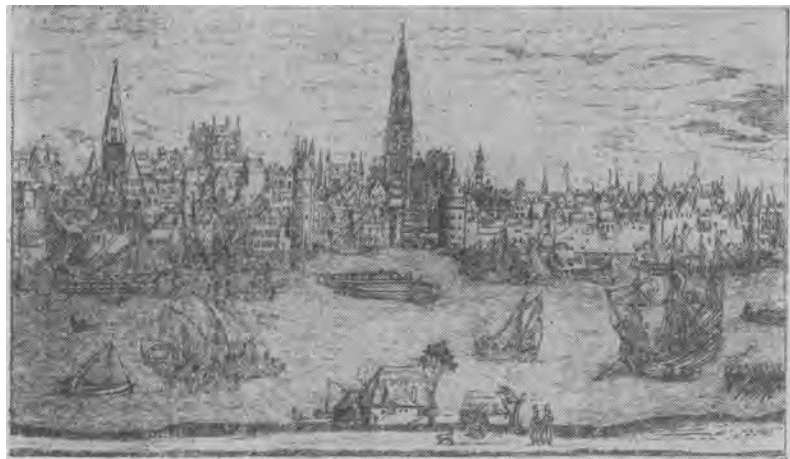
Коль скоро обе названные земли оказались на самом оживленном перекрестке, не мудрено, что тамошние приморские города превратились в торговые станции заезжих купцов, в крупнейшие стоянки собственных и иноземных кораблей. А так как Фландрия и Брабант являлись как бы мостом, соединяющим Англию с Европейским материком, то именно фландрские купцы и мореходы стали первыми торговыми гостями Англии.

В умелых руках фландрских и брабантских мастеров английская шерсть уже в XIII веке превращалась в те вызывавшие всеобщее удивление тонкие суконные и шерстяные ткани, которые завоевали признание повсюду, от Новгорода Великого до Константинополя.

Можно не удивляться тому, что страна, лежавшая на главном перекрестке торговых дорог Европы, стала родиной смелых рыбаков, китобоев, мореплавателей, предприимчивых купцов и искуснейших ремесленников.

Историк, конечно, согласится с выводами географа. Но, пожалуй, он кое-что к ним добавит. Он скажет, что феодальным завоевателям всегда бросались в глаза богатства нидерландских городов. Стремясь поскорее прибрать к рукам сокровища Нидерландов, заносчивые короли и герцоги не разглядели другого, не приметного на первый взгляд, но еще более ценного клада этой страны.

Таким, до поры до времени скрытым от вражеских взоров кладом был дух нидерландского народа, выкованный веками суровых



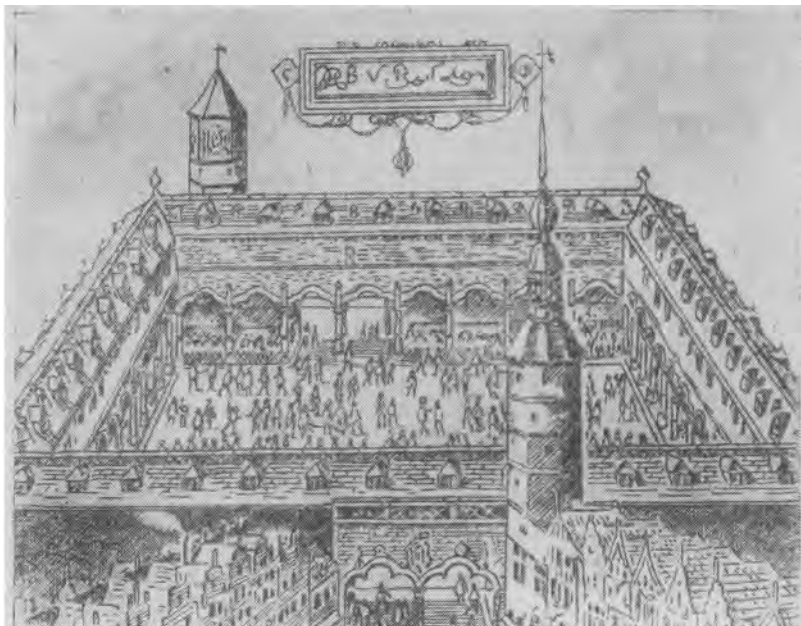
Панорама Антверпенского порта в XVI веке.

испытаний в опасных плаваниях и в еще более жестокой борьбе с океаном на освобождаемых от него равнинах. То был дух неутомимого трудолюбия, уверенности в собственных силах. Он отличал и скромного рыбака, и матроса, и возводившего плотину каменщика, и строившего мельницы и парусные суда плотника. То был выработанный столетиями твердый сплав упорства и отваги, ставший подлинным национальным характером.

Историк расскажет нам, что, по мере того как росли успехи Нидерландов, к их богатствам все чаще тянулись руки чужеземных хищников и местных феодальных властителей. Тем и другим довелось изведать силу национального характера и возраставшую стойкость народного сопротивления.

На потемневших от времени стенах собора в Куртре светлым золотом мерцало и поблескивало множество рыцарских шпор, висевших тут с начала XIV века, когда под Куртре мирным ремесленникам и крестьянам удалось наголову разгромить и обратить в бесславное бегство гордых французских рыцарей, тщетно пытавшихся завоевать страну под предводительством своего короля Филиппа IV Красивого. Реликвии собора в Куртре рассказывают о «битве шпор». Битва эта поразила современников не тем только, что французские рыцари впопыхах растеряли здесь свои золоченые шпоры. Она своим исходом доказала, что простой народ, объединившись, способен побеждать спесивых рыцарей, всю жизнь учившихся военному делу и слывших непобедимыми.

Не менее гордыми памятниками сплоченности и силы оказались многие хартии, запечатлевшие права и вольности нидерландских городов. Деньгами и оружием, угрозами и восстаниями



Антверпенская биржа.

скромные горожане заставляли надменных графов и герцогов признавать эти хартии. Более того, их вынуждали обсуждать и решать важнейшие политические вопросы на собраниях провинциальных штатов и Генеральных штатов всей страны, где, наряду с дворянскими, уверенно и веско звучали голоса горожан.

Великие хозяйственные перемены, большие успехи и новые противоречия

В XV и в начале XVI века Нидерланды наводняло множества иностранцев: не только купцов и моряков, но и любознательных путешественников, желавших собственными глазами увидеть расцвет торговли и промышленности. Их влекла слава Амстердама и Антверпена, удивляло великолепие ратуш, обилие рынков, устройство гаваней, красота центральных площадей и набережных. И лишь немногим бросались в глаза жалкие лачуги окраин и ремесленных поселков.

Позднее средневековье было для Нидерландов и временем невиданного расцвета, и порою великих тревог и разочарований. Удивительные перемены, прославившие и преобразившие торгов-

лю и промышленность, породили вместе с тем и разительно несходные картины успеха и разорения, благополучия и упадка, торжествующего богатства и прозябающей нищеты.

Амстердам

Просторная и удобная гавань Амстердама укрылась от буйных океанских штормов у западного побережья широкого и спокойного залива Зюдерзее. Приезжего здесь поражало все: и невиданное скопление кораблей, и весь необычный облик большого портового города.

Амстердам неспроста получил прозвище «голландской Венеции». От самых морских причалов, пересекая набережные, в разных направлениях тянулись то прямые, то извилистые улицы-каналы.

Под нависшими мостами темнели узкие полосы воды. В их дрожащей поверхности серебристая синева сменялась разноцветным отражением домов, черепичных крыш, огоньками редких фонарей и освещенных окон. Горожане и гости города, пробираясь по каналам на легких, быстро скользивших лодках, то и дело останавливались, когда их путь преграждала тяжеловесная баржа. Старательно огибая ее, они обычно интересовались ее грузом. То были товары, прибывшие из ближних краев и дальних стран. Их перегружали с борта морского корабля на баржу и доставляли на рыночную площадь Амстердама.

Здесь торговали балтийским хлебом, маслом и всевозможными корабельными снастями: холщовыми парусами, смолой, хитрыми навигационными приборами и морскими картами. Но главным товаром была рыба. Казалось, что ее стойкий запах пропитал все причалы, рыночные прилавки, даже перила мостов. Недаром пословица гласила, что Амстердам построен на селедочных костях. Отсюда ежегодно на лов сельди отправлялось свыше 1000 кораблей.

Выходу на лов предшествовало праздничное торжество. Закрывались все лавки и мастерские. Набережные и улицы-каналы украшались цветами, а с вечера озарялись яркими светлячками разноцветных фонариков. Уходивших на лов рыбаков провожали песнями и танцами.

Антверпен

В начале XVI века Антверпен затмил и Амстердам, и все другие города. Глубокое устье Шельды позволяло подходить к Антверпену судам с большой осадкой. На его рейде обычно стояло до 2000 судов, и ежедневно здесь разгружалось и загружалось 400—500 кораблей. Не меньше 1800 телег, груженных шерстью и кожей, каждый день въезжало в его ворота.

В узких улицах располагались склады и лавки местных торговцев и иноземных гостей. Около тысячи богатейших купцов и банкиров Европы прочно осели в этом шумном городе и основали тут свои постоянные представительства. Их издалека словно магнитом притягивала первая общеевропейская биржа. Ее величавое здание поднялось на главной площади Антверпена. Издали она казалась храмом, а вблизи оказывалась обширным подворьем, окаймленным высокой каменной стеной. Тут с утра и почти до самого вечера царили шум и разноязычный говор.

На Антверпенской бирже бывалые купцы и опытные капитаны договаривались об экспедициях, торговались, спорили, добивались от банкиров ссуды (денег в долг), без которой нельзя было снарядить корабли в дальние заморские страны. Тут можно было видеть мореплавателей, овеянных ветрами всех океанов, услышать необыкновенные рассказы о неведомых землях и народах.

Но с особым, придирчивым вниманием собравшиеся дельцы рассматривали разложенные на видном месте образцы различных товаров. Их разглядывали, ощупывали и до хрипоты спорили о цене и качестве каждого образца. Именно в этом занятии и заключалась главная задача участников биржевого торга.

В ту пору стало явно невыгодным доставлять из отдаленных мест громоздкие грузы только для того, чтобы их показать, а затем После осмотра и оценки снова переправить в ином, зачастую обратном направлении. Сама собой родилась мысль: показывать покупателям не весь товар, а только его образцы. Таким образом, биржа стала центральным местом, где покупка и продажа совершалась по образцам товара, находившегося где-то вдалеке. Тем, кто условился об оценке образца, оставалось лишь договориться о месте и сроке доставки товара и об условиях его оплаты. Нередко вся партия закупаемого товара отдавалась в долг или отпускалась в рассрочку, то есть оплачивалась не сразу, а несколькими взносами в заранее назначенные сроки. Из Антверпена во все концы света шли распоряжения, откуда и куда следует направить закупленные товары.

Так как Антверпенская биржа служила главным местом взаимных расчетов и платежей, Антверпен стал, естественно, не только торговой, но и банковской столицей Европы. Сюда отовсюду стекались дукаты, флорины, гульдены и ливры, червонцы и рубли, арабские дирхемы, марки и английские фунты. Все эти разнокалиберные деньги легко обменивались расторопными банкирами.

Но гораздо важнее было другое: в шутку говаривали, что Антверпен, расположившись на перекрестке великих торговых дорог, продувается насквозь всеми ветрами Европы. Эти ветры и приносят, мол, со всех сторон добрые и недобрые вести о прибылях и убытках, об удавшихся экспедициях и щедрой купеческой наживе, о кораблекрушениях, нападениях пиратов и разорениях.

Считалось, что только живя в Антверпене, можно быстро и наверняка разузнать о делах и торговых оборотах того или иного купца и на этом основании рассудить, сколько денег стоит ему одолжить и следует ли это делать вообще.

Потому-то именно здесь, в Антверпене, и появились представительства богатейших купцов и банкиров всех стран.

Мануфактуры Антверпена

Однако, кроме суетливого муравейника биржи да банкирских контор, в которых час за часом прощупывался пульс хозяйственной жизни многих стран, в Антверпене не меньшей славой пользовались невиданные прежде предприятия, поражавшие своими размерами и новой организацией труда. Замечательные товары рождались здесь не в тишине уединенной мастерской ремесленника. На виду у всех они создавались сотнями рук. Армия тружеников как бы разделялась на отдельные отряды, и каждый из них выполнял лишь одну определенную операцию. Все это отличало новый тип производства — *мануфактуру* от старого, средневекового ремесла. Всеобщее изумление вызывала типография купца Плантена, знаменитая вышедшими из ее стен библией на народном языке и волновавшими умы произведениями гуманистов.

В разных помещениях этой типографии трудились наборщики, печатники, корректоры, переплетчики. Прежде чем попасть на прилавки, книга проходила через руки всех этих работников. Тот же порядок царил и в огромной мыловарне, и на сахарном заводе, где заморский сахарный тростник перерабатывался в крохотные искристые белые кубики, представлявшие в ту пору новое и довольно дорогое лакомство.

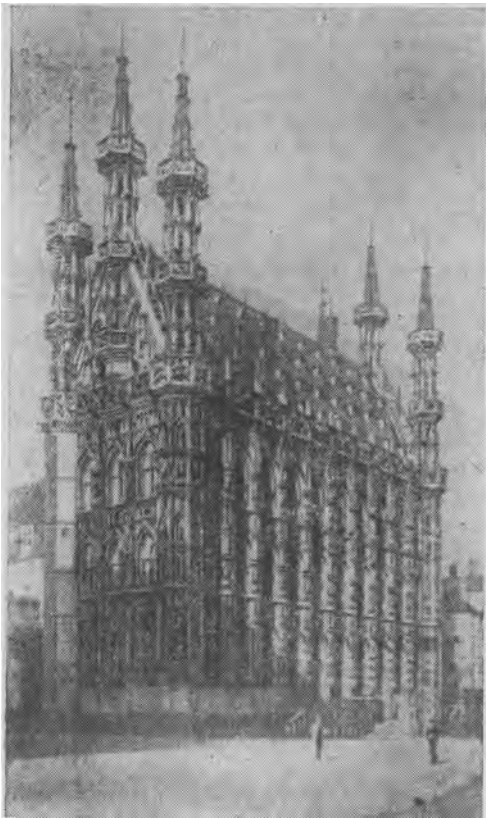
Однако куда большее значение имели просторные мастерские, в которых неузнаваемо менялись полученные из Англии сукна.

Сотни тружеников в особо отведенных для этого помещениях изо дня в день превращали непривлекательные на вид, грубые на ощупь, некрашенные или плохо окрашенные грязновато-блеклые привозные британские сукна в изысканные ткани местного образца: ровные, плотные и тонкие, радующие глаз чистотой цветов.

Одни работники очищали привозное сукно похожими на гребень скребками, другие отмачивали и осторожно растягивали его, третьи сушили, после чего над тканью колдовали опытные красильщики и искусные аппретурщики (специалисты по отделке).



Ковродел.



Ратуша в Лувене.

Тогдашнему горожанину, откуда бы он ни приехал в Антверпен, казалось, будто он перенесен в какой-то новый мир. Такое впечатление создавалось не только биржей и банковским делом, но и промышленностью.

Ничего общего с обычными цеховыми мастерскими! Взять хотя бы размер здешних предприятий и самый характер труда, который можно было наблюдать под их крышей. Хитроумно сменяя друг друга, работники разных специальностей общими силами выработывали большее число изделий и куда дешевле, чем это мог бы сделать самый опытный цеховой мастер со своими помощниками.

Тех, кто трудился на крупном (по тому времени) антверпенском предприятии, тогдашний путешественник никак не решился бы назвать ремесленниками. Ведь никто из них не имел ни мастер-

ской, ни собственных инструментов, ничего, кроме своих умелых рук. Однако общей бедой усердных тружеников мануфактуры было то, что все созданное их искусными руками принадлежало вовсе не им, а тому, кто собрал всех работников под одной крышей, кто распределил между ними работу, кто, на правах хозяина, богател за счет наемных тружеников, своих рабочих.

Надо ли удивляться, что новые предприятия Антверпена поражали всех, но радовали только немногих?..

С недобрый блеском в глазах отзывались о них сами работавшие, те, кто, создавая своими руками богатство для хозяев, терпел горькую нужду. Но, пожалуй, с еще большим гневом об этих больших заведениях говорил ремесленник, приехавший в Антверпен из другого города. Сердце его сжимала невольная тревога.

— Ведь уже теперь,—рассуждал он,— удешевленные изделия мануфактуры начинают господствовать на ярмарках и рынках. Уже сегодня с ними трудно соперничать нашему брату ремесленнику. Если же мануфактур станет еще больше, если завтра разросшийся поток их товаров хлынет во все стороны, тогда, чего доброго, он и вовсе вытеснит наши ремесленные изделия, а добрых искусных мастеров разорит и лишит последнего куска хлеба.

Вот возле здания, где перерабатывались грубые английские сукна, остановился горожанин, приехавший не то из Брюгге, не то из Гента. Он сжимает кулаки, а с его уст срываются яростные проклятия. К причине, вызвавшей такое негодование, мы вернемся позднее, а пока, прежде чем расстаться с Антверпеном, заглянем в еще одно любопытное место. Кстати, нам не придется далеко идти, так как оно находится совсем рядом со знаменитой биржей.

«Ковровая выставка» привлекала всех иностранцев. Здесь их ожидали ковры разных размеров, развешанные по стенам. Прежде чем посетители успевали разглядеть и оценить рисунок, их поражал яркий блеск пестрых красок, секрет которых тщательно оберегался. На стенах явно не хватало места для всех ковров, поэтому посетителей приглашали познакомиться со специальными альбомами рисунков. Выполненные уверенной рукой художников, они радовали глаз свежестью исполнения и сочетанием красок. Покупателю предлагали выбрать любой рисунок и указать желательный размер ковра. А когда покупатель узнавал цену заказа, он чаще всего терял на мгновение дар речи. Названная сумма казалась неправдоподобно дешевой. Поторговавшись для порядка, он спешил внести задаток и покидал выставку, обрадованный удачной сделкой.

Рассеянная мануфактура

Тайна дешевизны добротных ковров раскрылась бы перед всяким, кто отправился бы по следам пересылаемого заказа.

В сороковых годах XVI века в одних только окрестностях Оуденарде насчитывалось от 12 до 14 тысяч мужчин и женщин, ткавших ковры вместе с детьми, которых они приучали к этой утомительной работе с семилетнего возраста. Чтобы получить скудное вознаграждение от антверпенских хозяев, целые семьи от зари до зари гнули спины, напрягая внимание и утомляя зрение.

Ковровое дело — только один из примеров нового капиталистического производства, которое вовсе не собирало многих работников под одной крышей. Напротив, особая выгода именно в том и состояла, чтобы использовать крайне дешевую рабочую силу, разбросанную по сотням деревень и десяткам городов.

Так, наряду с централизованной мануфактурой, сосредоточившей все производство в одном месте, успешно развивалась децентрализованная, или *рассеянная*, мануфактура.

Перемены в хозяйственной жизни Нидерландов и результаты этих перемен

Надо ли удивляться тому, что Антверпен одновременно вызывал и восхищение, и ненависть? Им гордились купцы, промышленники и банкиры, в то время как тысячи нидерландцев питали к нему нескрываемую вражду. Вражда эта зажглась во многих сердцах именно тогда, когда опьяненные своими успехами антверпенские богачи проникались самодовольной гордостью.

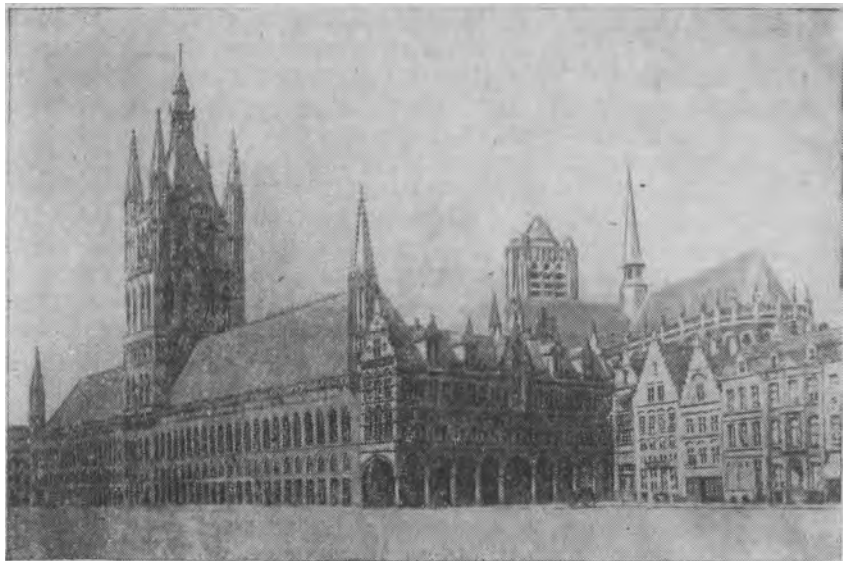
Бурное время небывалых хозяйственных перемен одновременно с торговыми успехами принесло с собою тысячам людей великие тревоги и бедствия разорения.

Годы расцвета Антверпена оказались временем упадка старинных и знаменитых городов Фландрии, временем, когда неузнаваемо менялась и жизнь многих селений. Одни из них пустели, другие становились промышленными поселками и порой разрастались в новые города.

Прославленные цехи старинных городов, еще недавно удивлявшие Европу своим искусством, горько жаловались на отсутствие работы. Беднели опытные мастера, подмастерья становились нищими. Чем же вызывались столь разительные перемены?

В XIII и XIV веках вся европейская знать облачалась в тонкие и прочные фландрские и брабантские сукна ярких окрасок, изготовленные из мягкой и шелковистой английской шерсти. Однако с конца XIV века в Англии стало развиваться собственное сукноделие. Как ни ценили английские короли доходы от продажи шерсти за пределы Англии, они все же предпочли поддержать своих отечественных сукноделов, и поэтому вывоз английской шерсти в Нидерланды был прекращен. Исчезновение драгоценного английского сырья подорвало и погубило старинное фландрское сукноделие. Впрочем, английские сукна долгое время оставались грубыми, толстыми и отличались грязным и неровным цветом. Их-то и привозили в Нидерланды для дополнительной окраски и отделки. Тем временем взамен английской сюда стала доставляться испанская шерсть. Из этой непривычной и жесткой шерсти научились вырабатывать легкие и дешевые ткани, доступные миллионам покупателей, не смевших прежде и мечтать о приобретении слишком дорогих материй.

Славные города Брюгге, Гент, Ипр, Лувен, Брюссель и слушать не желали ни об английских сукнах, ни о новом испанском сырье. Правители и опытнейшие мастера этих городов признавали только свои давно прославленные сукна и только нужное для них английское сырье. Всякая попытка вырабатывать ткани нового образца или производить сукна в какой-нибудь деревушке либо новом городе объявлялась ими незаконным, постыдным нарушением их исключительного права (монополии), которое они, с упорством отчаяния, тщетно пытались удержать.



Суконный ряд в Ипре (на снимке слева). XIII век.

Непреклонные приверженцы уходящей старины были похожи на мореплавателей, которых отлив оставил на мели. Но если мореплаватели могли ожидать, что их снимет с мели новый прилив, то у фландрских сукноделов такой надежды не было. В некогда шумных и многолюдных городах затихло торговое оживление. Ратуши и дома цехов из деловых зданий превращались в памятники старины. Пустели рынки. Иностранцы купцы постепенно перестали их посещать. Мастерские бездействовали и закрывались.

И все же немало горожан, прозябая на грани нищеты, вопреки всему, мечтали о возврате прежних времен. Они с ожесточением называли врагами и предателями тех соотечественников, которые своими руками улучшают привозные английские сукна или, вместо английской, берут в руки испанскую шерсть.

Именно так рассуждал и тот фландрский горожанин, которого мы заметили у здания антверпенской мануфактуры, где улучшались привозные английские сукна. Быть может, он лишь вчера узнал, что в 1560 году цена доставленных в Антверпен английских сукон составила третью часть цены всех прибывших сюда товаров.

— Если благодаря антверпенской мануфактуре производство улучшенных английских сукон достигло такого размаха, нам, старым сукноделам, уже не найти ни покупателей, ни заказчиков!

Подумав так, огорченный гость Антверпена побледнел и разразился проклятиями.

Но что бы ни думали и что бы ни говорили фландрские мастера, им не удавалось поддержать свой промысел. Безработица и голод гнали прочь из старинных городов все большее число обнищавших ремесленников. Они растекались по стране в поисках любого места, где были нужны рабочие руки.

Толпы преследуемых властями бродяг плелись по пыльным дорогам, надеясь найти пристанище в деревушке или на окраине промышленного города, где купцу-предпринимателю мог понадобиться дешевый труд изголодавшихся людей, готовых стать шерстобитами, валяльщиками, прядильщиками или ткачами.

Поток бедствующих ремесленников, покинувших свои цехи и города, сталкивался и смешивался с множеством сельских Жителей, которые нежданно-негаданно оказались такими же ненужными и лишенными пропитания.

Перемены в сельском хозяйстве

То были крестьяне, переставшие быть крестьянами,— вчерашние земледельцы, утратившие или почти утратившие связь с землей.

Все больше продуктов требовалось растущему промышленному населению страны. Все больше различного сырья нужно было самой промышленности. Хлеб, мясо, плоды и овощи, хмель (для изготовления пива), кормовая свекла, лен, растения-красители — на все это с каждым годом предьявлялся все больший спрос. Не мудрено, если многие землевладельцы захотели продавать как можно больше сельскохозяйственных продуктов и вскоре добились в этом деле поразительных успехов.

И вот, как это ни странно, в ту самую пору, когда по всей Европе шли толки о замечательных успехах нидерландского земледелия, крестьяне вытеснялись из сельского хозяйства как раз в тех провинциях, которые прославили себя этими успехами.

Увеличение урожаяв и продуктивности животноводства потребовало беспощадного разрушения вековых деревенских порядков и совершенно иной, новой системы хозяйства. Древнее трехполье уступило место плодосменному хозяйству, при котором поля уже не «отдыхали» под паром, а, напротив, постоянно использовались, включая каждый клочок земли.

Стараясь получить от своей земли наибольшую выгоду, землевладелец отныне распоряжался ею по-новому. В передовых провинциях бароны и дворяне отказывались и от крепостничества, и от барщины, и от оброка. Они шли на это не по доброте своей, а в силу расчета. Слишком уж мало давал подневольный барщинный труд, и поэтому его заменяли более выгодным наемным трудом. Столь же важно было добиться, чтобы поместье не дробилось

на мелкие крестьянские дворы и участки, а делилось на немногие зажиточные хозяйства с просторными полями и угодьями.

Так впервые появились сельскохозяйственные фермы, которых прежде и в помине не было.

Хозяин фермы — состоятельный крестьянин — присоединял к скромному собственному участку землю, взятую в аренду. Располагая двумя-тремя десятками гектаров, он заботливо выращивал хлеб, лен, свеклу, хмель либо вайду (краситель) — все, чего в то время требовал рынок. Добиваясь высоких урожаев, он применял удобрения, высевал обогащавшие почву травы. Еще больше внимания он уделял разведению скота. Фермер гордился свинарниками и хлевами, особенно отборным молочным скотом, который большую часть года, нагуливая вес, содержался в стойлах.

Рядом со скотным двором нередко сооружалась маслобойня, сыроварня или мельница. Фермер внимательно следил за рынком, за его требованиями и ценами. Узнавая о всех новинках агротехники, боясь отстать, он спешил применить их в своем хозяйстве.

Трудолюбивый, расчетливый и жадный, этот фермер являлся в деревне хозяином нового типа. Не ахти какой богатый, он во что бы то ни стало хотел разбогатеть, сам торговал и неумоимо работал в поле, на огороде и в хлеву. Требуя такого же труда от наемных батраков, платя им жалкие гроши, он оказывался маленьким деревенским капиталистом: настойчивым, алчным и жестоким. Именно такой хозяин-фермер и понадобился феодальным землевладельцам. Ведь земля, отнятая у многих крестьян и переданная немногим фермерам, производила больше продуктов. А чем больше денег выручали фермеры от их продажи, тем большую плату с них мог взимать феодальный господин за аренду этой земли. Тут была и особая выгода. Закрепленный годами обычай допускал лишь неизменные, навсегда установленные крестьянские повинности и платежи в пользу сеньора. А так как в XVI веке деньги постепенно дешевели, то выходило, что сеньор, получая одинаковые поборы, имел все меньше дохода.

Зато во взаимоотношениях с фермером сеньор не был стеснен. Отдавая землю фермеру на малый срок, он ухитрялся через пять-шесть лет заключить с ним новый договор и при этом потребовать более высокую арендную плату.

И коль скоро фермер волей-неволей платил все больше денег за арендованную землю, он упорно старался возместить эту потерю наибольшей наживой при наименьших затратах. Потому-то он и обходился лишь немногими батраками, отбирая самых крепких, выносливых и покладистых и наотрез отказывая в работе всем остальным деревенским жителям, как бы они ни нуждались в заработке. И вот в передовых районах страны большая часть прежнего деревенского населения лишалась кормилицы-земли, оказалась одинаково ненужной и сеньору, и фермеру, была вместе с детьми обречена на разорение и голод.

Промышленная армия нидерландской мануфактуры

Некоторые из обездоленных в поисках заработка отправлялись в портовые и промышленные города. Скитаясь по дорогам, они примыкали к знакомым уже нам бродягам, оставившим за спиной погасшие очаги фландрского сукноделия. Но большинство разоренных, особенно те, кто был обременен малолетними детишками, поневоле оставались в своей деревне, где вдруг им стали чужими родные, с детства знакомые поля. Отныне для таких вчерашних крестьян единственным носителем надежды оказывался купец-скупщик, и они неизбежно попадали к нему в кабалу.

Жители деревни, переставшие быть крестьянами, ходили на людей, переживших землетрясение. Безвыходность положения заставляла их принимать любые условия труда, любую плату, какие всемогущему скупщику угодно было им предложить.

Из разоренных крестьян, из бывших фландрских сукноделов теперь складывалась многочисленная, полунищая армия, рассеянная по деревням и городам. Нищета этой армии и дешевизна ее труда — вот та плодородная почва, на которой быстро выросло богатство заправил коврового, полотняного, кружевного производства, производства новых сукон и легких тканей.

Из жалких грошей, которые тысячекратно недоплачивались горемыкам-труженикам, составлялись огромные состояния тех купцов и банкиров, о богатстве которых можно было лишь смутно догадываться, присматриваясь к деловой жизни Амстердама и Антверпена.

Тем, кто знал Нидерланды только понаслышке, они казались страной сплошных успехов и всеобщего богатства. Подобного взгляда нередко держались иноземные феодалы, для которых Нидерланды были только желанной добычей. Но перед тем, кто сколько-нибудь продолжительное время дышал воздухом этой страны, кто внимательно ознакомился с ее деловыми буднями, Нидерланды представляли в совершенно ином свете. В процветающих центрах торговли, в самых знаменитых городах взорам терпеливого наблюдателя открывалась не только противоположность между богатством одних и бедностью других, но и прямая связь их друг с другом, та простая истина, что сокровища богачей создаются за счет бедняков и нищих.

Путешественников поражала и та зримая грань, которая отделяла передовые провинции от отстающих. В одних местах бурлила торговая жизнь и росла промышленность, тогда как прежние очаги просдавленного производства переживали глубокий упадок.

Успехи торговли, мануфактуры и сельского хозяйства преобразили главным образом те области, где звучала фламандская речь. И напротив, в валлонских провинциях ¹ жизнь на первый взгляд

как бы остановилась. Однако влияние века ощущалось и здесь, на валлонском юге. Ведь недаром тут разорялись и пустели знаменитые города. В валлонской деревне старые порядки оставались непоколебленными. И все же жители этих деревень горько жаловались на новые времена. Хотя тамошние сеньоры вовсе не пытались менять стародавнюю систему земледелия, они тем не менее остро завидовали помещикам севера, сумевшим обогатиться с помощью перемен.

Желая жить так же широко и вольготно, как землевладельцы севера, сеньоры нидерландского юга стремились выжать как можно больше из подневольного труда своих крепостных. Расплачиваясь за необузданную жадность своих господ, валлонские крестьяне ощущали в XVI веке еще более сильный феодальный гнет, чем их отцы.

Итак, на рубеже XVI века на фламандском севере и на валлонском юге сложились разные, несходные картины жизни.

На юге и горожане, и крестьяне под влиянием горестей и испытаний последнего времени считали счастливой порой свое недавнее прошлое. Упадок некогда процветавшего ремесла и возросшее обирательство крепостных отныне толкали тысячи людей к тому, чтобы видеть свое спасение в возврате к прежним цеховым и вотчинным порядкам, которые на расстоянии представлялись куда лучшими, чем были на самом деле.

Совсем не то было в провинциях фламандского севера. Там жизнь настолько изменилась, что приходилось думать не о возврате к исчезнувшим порядкам, а о борьбе со старыми и с новыми угнетателями. Фермеров здесь донимали поборы сеньоров-землевладельцев, а горожан — налоги феодальных властителей. Батраков еще больше отягощала скаредность их нанимателей-фермеров. Еще настойчивее, еще громче звучал ропот тружеников растущей мануфактуры, нещадно обираемых купцами-скупщиками и предпринимателями. Здесь не мечтали о мнимой вчерашней справедливости, а упорно искали новой правды.

Во всей стране, и в особенности на севере, обострялись противоречия, сталкивались непримиримые коренные интересы. Постепенно нарастая, они-то и составляли предысторию близившейся, понемногу назревавшей революции. Однако эта надвигавшаяся революция была ускорена самым грозным в истории Нидерландов натиском феодалов-завоевателей, не только посягнувших: на древние права и вольности народа, но и пытавшихся растоптать все источники и основы его дохода и благосостояния.

Отпор чужеземцам — феодальным поработителям и стал началом Нидерландской буржуазной революции, явился порывом подлинно всенародной освободительной борьбы, на время объединившей все земли и все силы.

¹ *Валлонским* называли население, говорившее на французском языке.

НАЧАЛО НИДЕРЛАНДСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

С начала XVI века Нидерланды входили в состав многонациональной монархии Карла Габсбурга. В Германии его называли Карлом V, а в Испании Карлом I.

Нидерланды были лишь крохотной частицей гигантской монархии, раскинувшейся по обе стороны Атлантического океана. Но сам Карл V недаром называл эту маленькую страну «лучшей жемчужиной моей короны». И не напрасно! Из пяти миллионов флоринов годового дохода империи небольшая страна трудолюбивых горожан, мореходов и земледельцев приносила казне целых два миллиона, тогда как Испания и «Индия» (так тогда называли новооткрытые земли Америки) давали всего по полмиллиона каждая.

Тысячи нидерландских торговцев, фермеров, рыбаков видели, что деньги, которые они исправно отдают в императорскую казну, без всякой пользы для самих Нидерландов, оказываются распыленными по всему миру. С каждым годом они все более возмущались тем, что им слишком дорого приходится оплачивать ненужную славу своей страны, как «лучшей жемчужины» императорской короны.

Однако сам Карл и его советники никак не хотели выпустить из рук столь большую ценность. Многих знатных дворян-нидерландцев они перетянули на свою сторону высокими постами и наградами.

Самые именитые купцы, самые удачливые заправила нидерландской мануфактуры предпочитали быть не гражданами независимого города или маленького графства, а подданными гигантской империи. Им было нужно, чтобы перед биржей Антверпена, перед их кораблями и товарами открывался неограниченный простор империи, в которой, как говорили, «никогда не заходит солнце».

Карл V подарил нидерландским богачам щедрый источник жизни, позволив им беспрепятственно торговать с заокеанскими землями.

А когда скупщикам и владельцам мануфактур понадобился труд разорившихся ремесленников и крестьян, император обр-

шил на бездомных бедняков, скитавшихся по дорогам страны, жестокие гонения. Им запрещалось просить подаяние, так как их руки понадобились хозяевам полотняного, коврового и иного производства.

Беспощадные указы Карла V снова и снова повелевали бичевать злополучных «бродяг», брить им головы, лишать крова, с тем чтобы поскорее загнать их всех в кабалу скупщиков.

Когда же в народной среде нашлись люди, смело заговорившие о «нарушении божьей справедливости», появился указ Карла, прозванный «кровавым». Он обязывал разыскивать искателей правды, предавать пыткам и казням всякого, кто рассуждает о недозволенных вещах. Но этому указу не решались дать ход.

Чем больше противников императорской власти становилось в Нидерландах, тем важнее было для Карла V иметь в этой стране хотя и немногочисленных, но сильных сторонников.

Нидерланды переходят под власть Испании

В 1555 году грандиозная империя Карла V распалась. Власть над Нидерландами перешла к сыну императора — Филиппу II Испанскому. Жители нидерландских провинций вскоре поняли всю гибельность совершившейся перемены. Народ открыто и с каждым днем все резче проявлял ненависть к испанским властям. От короля постепенно отвернулись даже те, кто поддерживал его отца.

Общительных и шумных, веселых нидерландцев все раздражало в облике и поведении этого бледного, болезненно хилого и напыщенно высокомерного короля: его сосредоточенная замкнутость, ледяная надменность, с которой он принимал приветствия и выслушивал речи и донесения, привычка медленно и с расстановкой, скупко цедить испанские слова, явное пренебрежение к языку, культуре и обычаям Нидерландов.

Деловых людей, привыкших к решительным словам и быстрым действиям, смущала нерешительность Филиппа и его пристрастие к писанине.

Этот молчаливый государь, взявшись за перо, вдруг становился многословным и был способен строчить предлинное письмо человеку, сидящему в соседней комнате.

В Нидерландах, где гостеприимно принимали людей всех наций и верований, самое отталкивающее впечатление производил католический фанатизм нового государя. Здесь всех раздражали долгие молитвы и пышные богослужения, которыми он утомлял своих подданных.

Этот король, начисто лишенный проницательности, ума и дарования, возмещал недостаток талантов усердием в канцелярских трудах, в угождении церкви и в преследованиях еретиков. Самые большие удовольствия короля состояли в том, чтобы в одиночестве наесться пирожных и подолгу наслаждаться зрелищем сожжения еретиков.

Политику беспощадного разорения Нидерландов, так же как и жестокие расправы над еретиками, стали приписывать злой воле Филиппа. Его одного чаще всего считали виновником всех бедствий. Такой взгляд был ошибочным, как ошибочно было и представление о Филиппе II как всемогущем повелителе Испании и ее народа.

О силе, которая в Испанской монархии была могущественнее монарха

За Пиренейским хребтом давным-давно, в семивековых битвах реконкисты сложилась большая, неукротимая и своевольная сила, которую не мог одолеть и король Филипп.

Такой силой являлось испанское дворянство. Десятки поколений дворян-воинов, сменяя друг друга, вели непрерывные жестокие войны. Они на долгие годы отрывались от дома, от поместий, от мирной жизни. В походах и битвах ковалась их боевая выучка, закалялись выносливость и отвага. На дорогах войны, на полях сражений для них становился законом долг взаимной выручки и сплоченности.

Нравы и понятия многих поколений складывались в грубой и суровой обстановке лагерной жизни, где превыше всего ценились доблесть и добыча. Ради нее дворянские силы стремились оттеснить все дальше к югу рубежи арабских эмиратов.

Дворянам, ставшим постоянной войсковой силой, полезный труд и заботы о хозяйстве казались ненужной обузой. Они смолodu проникались убеждением, что за пролитую кровь, за все невзгоды походной жизни благородного воина должна вознаграждать одна лишь добыча, и притом не только отбитая у врага, но и беспощадно отнятая у мирных арабских поселенцев.

А для того чтобы погоня за разбойничьей добычей шла день за днем, надо было не ведать сострадания, пренебрегать слезами и стонами беззащитных женщин и детей и преисполниться бесчеловечной ненавистью к своим жертвам. Этому учила церковь, внушая, что каждый удар шпаги, каждый выстрел приближают час победы католической церкви над исламом.

Семь столетий твердили это попы и монахи. И пока на Пире-

¹ *Реконкиста* — в переводе «обратное завоевание». Так называли долгие войны против арабов, завоевавших Пиренейский полуостров в начале VIII столетия.

нейском полуострове шли войны с арабами, у дворян Испании, как и у крестоносцев, волчьи повадки хищников оправдывались лютой ненавистью к врагам церкви.

Мир, наступивший после победоносного окончания этих войн, поставил тысячи дворян в такое положение, которое казалось им безвыходным. Что мог делать, чем должен был жить вчерашний воин, если, к примеру, он был пятым по счету сыном мелкопоместного землевладельца и если было известно, что отцовское поместье целиком перейдет к старшему из братьев?.. Если бы такому заносчивому отпрыску дворянского рода кто-нибудь посоветовал зарабатывать себе на хлеб трудом собственных рук, ответом явился бы уничтожающий взгляд и прозвучала бы горделивая поговорка кастильских дворян: «Ведь мы идальгос (рыцари) — те же короли, лишь денег меньше в кошельке имеем...» Эти странные слова благородный идальго произносил так же торжественно, как слова молитвы или присяги королю.

Не удивительно, что в ту пору на проезжих дорогах стали появляться банды дворян-разбойников.

В доставшихся Испании новооткрытых землях Америки появилось новое поприще для людей с длинной шпагой и короткой совестью. Молва о неслыханной удаче завоевателей-конкистадоров кружила головы. Дворяне с замиранием сердца слушали рассказы о разграблении Мексики и Перу, о сокровищах дворцов и храмов, о серебряных копях и золотоносных рудниках, где сказочные богатства выходцев из Испании создавались руками погибающих, заживо погребенных невольников-индейцев.

Успехи конкистадоров еще более укрепляли уверенность испанских дворян, что они прирожденные завоеватели. Но так



Филипп II испанский.

как на каждого рыцаря заморской удачи приходились десятки земляков, сложивших головы за океаном, то «прирожденные завоеватели» все же предпочитали не переплывать на ненадежных каравеллах грозного океана и не погибать от отравленной стрелы, москитов, змей и тропической лихорадки.

С того времени, как король объявил себя главой патрульных отрядов Священной германдады (охранявшей дороги страны), для дворян зазвучал надеждой и утешением призыв: «Пусть король нас содержит!»

Удрученные постылым для них миром, дворяне снова рвались к войне. Теперь они охотно облачались в мундиры копейщиков и мушкетеров.

Ни в одной стране неукротимые головорезы-дворяне не представляли такой грозной опасности, как в Испании. Еще не став покорителями соседних стран, они превратились в прожорливых нахлебников королевской казны. Чтобы их кормить и одаривать в дни мира, требовалось куда больше денег, чем в дни войны.

В 1521 году руками дворян было задушено восстание и растоптано самоуправление испанских городов. С тех пор все решения о новых налогах и законах принимали одни лишь представители дворян. Чем больше разрастались королевская армия и флот, тем более голодными становились деревни Испании. Города, процветавшие под владычеством арабов, приходили в упадок. В петле страшного налога «алькабалы» задыхались ремесло и торговля.

То, чего не могли прибрать к рукам сборщики налогов, ухитрялась отнимать грозная инквизиция. В ее застенках томилась тысячи людей, обвиненные либо в тайном соблюдении обрядов и обычаев мусульманской веры, либо в ереси.

Многодневный мрак заточения, жестокий допрос под пыткой, наконец, публичное сожжение «изобличенных» — для чего все это было нужно?

Инквизиторы отвечали: «Для защиты святой католической веры!» И только шепотом, да и то редко, с опаской произносились другие слова: «Для пополнения королевской казны!» Ведь имуществом своих жертв сначала завладевала инквизиция, а затем оно переходило в казну короля.

В дни торжественных аутодафе ¹ подолгу гудел погребальный звон колоколов. На глазах тысяч собравшихся привязанные к столбам люди вдруг превращались в пылающие факелы.

И когда в застывших взорах множества смотревших читался немой ужас, в глазах королевских идальго вспыхивали искры злобной радости... «Смерть еретикам! Да покарает их господь! Да

¹ *Аутодафе* — так назывались мрачные празднества, во время которых жертвы инквизиции сжигались на глазах многочисленной толпы,

лишатся они своих сокровищ!..» И если бы кто-нибудь осмелился обронить хоть слово в защиту казнимых, в воздухе стальной молнией сверкнули бы шпаги, выхваченные из ножен «благочестивыми» дворянами.

Исступленная преданность католической вере стала знаменем, под которым дворяне Испании грабили и порабощали народ собственной страны и под которым они были готовы покорять другие «еретические» народы. Все они почтительно склонялись перед Филиппом II как подданные, как слуги, как солдаты. Но их повиновение объяснялось лишь тем, что сам король рабски служил своим воинственным любимцам, которыми гордился и которых втайне боялся. Долгами часами, до боли сжимая виски, этот повелитель просиживал в своем кабинете, размышляя над неразрешимой задачей: как покрыть растущие расходы?

Подчиняясь жадной и буйной своей военщине, Филипп II думал о богатствах Нидерландов как о лучшей добыче. Ожидая случая, чтобы швырнуть сокровища этой страны под ноги своим дворянам, он подбирался к цели, вызывая нараставшее негодование и тем самым приближая грозный час восстания мятежных провинций.

Политика Филиппа II в Нидерландах и ее плоды

До поры, до времени Филипп II таил свои подлинные намерения под маской снисходительной благосклонности к своим новым подданным. По совету отца он даже ввел в Государственный совет видных нидерландских вельмож. Однако они вскоре поняли, что никак не могут влиять на тайные планы и указы короля, обдуманно и подписанные без их участия.

Вельможи, бургомистры городов, депутаты Генеральных штатов, а затем и весь народ убеждались, что испанский повелитель интересуется мнением нидерландских подданных гораздо менее, чем их имуществом, доходами и богатствами.

Жестокие распоряжения Филиппа обрушивались на страну одно за другим. Каждое воспринималось как незаслуженная обида, как подрыв народного благосостояния.

У нидерландских купцов было отнято дарованное Карлом V право беспрепятственной торговли с Америкой. Пришлось огорчиться и промышленникам: король на 40% поднял пошлину на доставляемую из Испании шерсть. Таким образом, он нанес удар процветающему производству легких шерстяных тканей. Они разом вздорожали и стали недоступны большинству населения.

Всех взволновало намерение Филиппа переложить на Нидерланды значительную долю огромных долгов империи Карла V и своей монархии. Это бремя было явно непосильно.

Не удивительно, что Генеральные штаты Нидерландов стали ареной борьбы. Чтобы сломить сопротивление тех, кто защищал национальные интересы маленькой вольнолюбивой страны, в Мадриде придумали хитрое средство. Там пожелали, чтобы в Нидерландах вместо прежних трех епископов оказалось семнадцать. Рабелепствующим перед королем епископам предстояло прежде всего склонить к полной покорности строптивые Генеральные штаты. Кроме того, они потребовались и для создания «епископской инквизиции», которая сумела бы нагнать страх во всех провинциях, действуя по примеру инквизиции испанской.

Итак, оставалось учредить в Нидерландах 14 новых епископств. Но выполнить этот план было куда труднее, чем задумать! Католических епископов и без того едва терпели в нидерландских городах. Там и слышать не хотели о новых епископах.

Филипп и его советники решили: прежде чем затянуть петлю на шею нидерландского народа, надо сломить его дух. В Нидерланды были привлечены иезуиты¹. Понадобились их острый слух, вкрадчивые речи, лукавое проникновение в чужие мысли, тайные доносы.

Лежавшему дотоле под сукном «кровавому указу» Карла V был дан ход. Но, по совету иезуитов, Филипп отменил публичные казни, так как они могли рождать сочувствие к казненным. Зато инквизиторы получили широкие полномочия. Они начали рыскать по городам и селам, а в их застенках погибали не только смелые искатели правды, но зачастую и совершенно невинные люди, ставшие жертвою доноса и подозрения.

Советники Филиппа рассчитывали, что политика беспощадного устрашения очень скоро приведет небольшой народ к молчаливой покорности. Они ошибались, так как не имели представления о мужественном народе, умевшем побеждать природу и отражать натиск врагов.

Книги и театр.

Юмор и негодование

Нидерланды, с сотней городов, полутора сотнями торговых местечек и множеством промышленных поселков, были, в отличие от тогдашних феодальных государств, страной почти сплошной грамотности.

Люди, связанные с ремеслом и торговлей, с детства привыкли читать и считать. И не даром в Нидерландах рано возникло и сразу же получило широкое распространение книгопечатание.

¹ См. очерк «Орден иезуитов».



Разгром католических церквей иконоборцами.

Предание рассказывает, что еще до Гутенберга Лоренц Кистер, или Лоренц-пономарь, впервые отпечатал подвижными буквами небольшую грамматику. В Гарлеме доныне как драгоценные реликвии оберегаются первые издания этой карманной грамматики, восходящие к 1423—1440 годам. И, разумеется, совсем не случайно, что колыбелью первопечатных книг оказались приморские города Голландии.

Разносторонние торговые связи, мирное общение со многими странами, деловая предприимчивость порождали ту широту кругозора, которая никак не могла мириться с невежеством и убогими предрассудками средневековья. Любопытность здесь стала матерью книгопечатания и книготорговли.

Подлинным чудом было то, что вместо 500 крон, которые еще недавно стоила рукописная библия, за библию, отпечатанную в типографии, любой труженик уплачивал всего лишь 5 крон.

Однако то, что библию стали читать всюду: и в купеческом доме, и в рыбацкой хижине, читать с величайшим увлечением,— было отнюдь не чудом. В патриархальной простоте библейских времен, в евангельском осуждении корысти и жадности скромные нидерландцы находили нечто совершенно несовместимое с поведением епископов и попов, отечественных феодалов и испанских пришельцев. Сравнения, которые напрашивались сами собой, пре-

вращались в грозные обвинения. Они толкали простых людей к острой критике всего, что им мешало жить и пользоваться плодами своего труда.

Недаром уже Карл V видел великую опасность в том, что библию читают вне церкви, в домах простых людей, и требовал в своем указе, чтобы такое преступление каралось смертью.

И вот, после того как Филипп II велел применять забытый указ отца, инквизитор Тительман предал казни учителя, уличенного в чтении библии. Тот же инквизитор казнил ткача из Турне за то, что он списывал гимны из книги, изданной в кальвинистской Женеве.

Но чем усерднее преследовалось чтение библии, тем больше ее читали и тем крепче становилась уверенность читавших ее людей в своей безусловной правоте. Ведь критику сложившихся порядков они основывали на авторитете священного писания.

Почти в каждом городе и даже в крупных селениях давно возникли так называемые «Риторические камеры»¹, особые общества-клубы. Каждое имело свой герб и свой устав, казначея, знаменосца и шута. Председатель назывался не иначе как королем, капитаном либо архидиаконом. Здесь увлекались отнюдь не церковным красноречием, а живым метким словом, рождавшимся в народной среде, сверкавшим в стихе, в песне, рассказе, сатирической сценке.

Риторы устраивали шествия, веселые шумные карнавалы и театральные зрелища. А возглавлявший их король или капитан добросовестно оправдывал свое шуточное звание: в праздничных увеселениях он важно выступал в достойных высокого титула бутафорских доспехах, всем обликом и повадками пародируя дутую надменность изображаемой персоны.

Влияние раторов — певцов, поэтов, музыкальных импровизаторов было столь велико, что еще в 1493 году отец Карла V (Филипп) созвал в Мехельне съезд риторических камер. Сила раторов была в их неотделимости от народа, от своих земляков, односельчан.

На грубо сколоченных подмостках деревенской сцены весело звучали сатирические стихи. Вопреки всем страхам и запретам народ хохотал, видя алчного епископа, гнусного инквизитора, чванного испанца в исполнении не всегда искусных, но пылких и подкупающе искренних актеров. Из конца в конец страны катился поток едкого, бичующего остроумия. Передаваемые из уст в уста куплеты, анекдоты и рассказы, родившиеся на подлинно

¹ *Риторика* ~ искусство красноречия, одно из «семи свободных искусств», преподаваемых в средневековых школах и университетах.

народной сцене, открывали многим глаза на все злое бедствия и несправедливости.

Вот один из таких рассказов.

Жестокий инквизитор Питер Тительман повстречался на проезжей дороге с судьей по уголовным делам, носившим прозвище Красный жезл. Увидев инквизитора, ехавшего в сопровождении единственного секретаря, Красный жезл удивленно спросил:

— Как вы, ваше преподобие, решаетесь пускаться в путь без всякого конвоя?.. Ведь я еду под охраной сотни конных стражников!

— Сын мой, вы преследуете и караете опасных преступников, а же расправляюсь с невинными людьми. Поэтому я и не нуждаюсь в охране.

— Что же произойдет, если я уничтожу всех преступников, а вы, ваше преподобие, уничтожите всех невинных людей?..



Герцог Альба.

Сопrotивление разгорается

Вся сила народного негодования обрушилась на испанского ставленника кардинала Гранвеллу, советника Маргариты Пармской, сестры Филиппа II и правительницы Нидерландов.

Все нидерландское общество было охвачено возмущением. Отечественное мореходство, торговля и промышленность были не только источником наживы богачей, но и средством пропитания бедняков. Подрыв хозяйства страны грозил тем и другим. Вельможи, разгневанные обирательством страны и происками инквизиторов, глумились над Гранвеллой в своих застольных речах и тостах. Они наряжали своих слуг в шутовские одеяния, похожие цветом и покроем на кардинальскую мантию ненавистного им министра Маргариты.

Ставший всеобщим посмешищем, Гранвелла был вынужден бежать из Нидерландов. Ободренные первым успехом, католические и протестантские дворяне объединились, чтобы сообща просить Филиппа смягчить политику.

В 1566 году многочисленная делегация дворян явилась к Маргарите Пармской, чтобы вручить ей петицию. Дворяне просили отменить указы о еретиках, сохранить старинные вольности, немедленно созвать Генеральные штаты. Один из угодливых при-

дворных, желая успокоить встревоженную правительницу, бросил по адресу дворянских делегатов презрительное словцо «гёзы» что означало «нищие».

Слово «гёзы» вскоре превратилось из оскорбительной клички в гордое наименование тех, кто поднялся на защиту независимости и свободы Нидерландов.

Пока вельможи изощрялись в остроумии за пиршественными столами, простые люди начали действовать. Мастеровые и матросы, ткачи и грузчики дали, наконец, волю накопившемуся в их сердцах негодованию. Всей своей тяжестью оно обрушилось на католическую церковь, на показную, театральную пышность ее культа, оплаченного лишениями верующих.

Вооруженные палками и молотками, мужчины, женщины, подростки врывались в соборы, предавая уничтожению иконы, ломая украшения, разбивая многоцветные узорчатые стекла окон. В вихре пыли и грохота рушились статуи святых, падали с головокружительной высоты обломки лепных капителей, отбитые руками тех, кто с риском для жизни взбирался по устремленным ввысь гладким колоннам.

Даже враги «иконоборцев» единодушно признавали их полное бескорыстие. Никакими деньгами их нельзя было ни подкупить, ни остановить их пылкого порыва. Во внезапно вспыхнувшем движении «иконоборцев» проявилась неукротимая ярость народных масс. Уничтожая дорого стоившую бутафорию церковного культа, они не трогали палачей-инквизиторов и церковных феодалов и в слепом своем гневе били, что называется, «не по коню, а по оглобле».

Самостоятельное выступление народа внушало невольный страх всем, кто жил за его счет. Вельможи и дворяне боялись, что не сегодня-завтра народ более метко ударит по своим врагам. Надо ли удивляться, что граф Эгмонт, поставивший свою подпись под петицией гёзов, обрушил на участников иконоборчества преследования и казни в той области, где он возглавлял военные силы.

Движение иконоборцев было на руку Филиппу II. Теперь он мог давно задуманное порабощение и ограбление Нидерландов объявить заслуженной карой безбожных еретиков.

Карательная экспедиция герцога Альбы

В мирные Нидерланды отправилось отборное испанское войско во главе с герцогом Альбой. Этот иссохший старец с длинным узким лицом, острой седой бородой и непроницаемым взглядом под сурово сдвинутыми бровями слыл опытным полководцем. Под ледяной учтивостью он таил непримиримость ревностного католика и жестокость прирожденного палача. Уверенный в превосход-



Разгром Мехельна

стве своего войска, он не сомневался, что сломит сопротивление мирного народа. Отправляясь в Нидерланды, Альба похвалялся, что вскоре в Испанию потечет «поток сокровищ глубиною в три ярда».

Тщетно правительница Маргарита убеждала, что наказать следует одних лишь зачинщиков волнений, избежав большого кровопролития и разорения страны, живущей промышленностью и торговлей.

Тщетно сам папа уговаривал Филиппа II не прибегать к огню и мечу. Альба, рассуждавший так же, как и его король, заявлял: «Лучше путем войны сохранять для бога и короля обедневшее и даже разоренное государству, чем оставлять его в цветущем состоянии для еретиков и сатаны». Это означало, что Альба готов подорвать все источники существования Нидерландов и даже превратить в пепелище главные очаги их хозяйства и культуры.

Для всех испанских дворян богатства Нидерландов становились такой же приманкой, какой для их дедов служили сокровища мавританских халифатов.

Прибыв в Нидерланды, Альба заманил к себе в гости тех, кого он прежде всего обрек на смерть. Граф Эгмонт и адмирал Горн,

попавшие в ловушку, были публично обезглавлены, невзирая на прежние их военные заслуги, казнены за то, что осмелились подписать «мятежную» петицию гёзов.

«Кровавым советом» прозвали нидерландцы созданный Альбой «Совет по делам о волнениях», успевший за три месяца вынести 1800 смертных приговоров. Не только иконоборцы, но и сотни не причастных к этому движению людей обрекались на смерть либо за то, что «не противились осквернению церкви», либо за то, что не донесли о тех, кто подписывал петицию или посещал еретические собрания.

В Утрехте была казнена 84-летняя набожная католичка под тем предлогом, что в ее доме без ее ведома переночевал кальвинистский проповедник. Но истинной причиной являлось богатство этой женщины. Когда по пути к месту казни повозка с осужденной на мгновение задержалась на перекрестке, арестованная, встретив недоуменные взгляды прохожих, с истинно нидерландским юмором пояснила: «Каплун слишком жирен и потому должен быть зажарен!..»

Современник писал: «Столбы на улицах, заборы, подъезды домов, изгороди на полях — все это было увешано скелетами задушенных, сожженных и обезглавленных».

Тысячи людей бежали из страны. На время смолкли голоса недовольных. Альбе казалось, что он уже сковал страну молчаливым повиновением. Он ошибался. Наступило не успокоение, а грозное затишье перед бурей.

В 1568 году Альба ликовал. Ему удалось вытеснить из страны отряды, на вербованные в Германии знатным нидерландским вельможей Вильгельмом Оранским. Городам, открывшим ворота перед этими отрядами, грозила жестокая месть.

В 1569 году был издан указ об «алькабале», означавший, что отныне десятая часть стоимости любого проданного товара отдается испанской казне. Под зловещим бременем алькабалы уже успела зачахнуть торговля испанских городов. Теперь этот указ нес гибель нидерландской торговле, которая не смогла бы выдержать конкуренции дешевых английских товаров.

Нидерландские горожане не могли и не хотели подчиниться указу. Разом закрылись все мастерские и лавки. Торговое оживление сменилось могильной тишиной. Ничего нельзя было купить и для нужд испанского гарнизона. Альба собирался повесить упорствующих купцов на дверях их запертых лавок. Однако выполнению этого намерения помешало неожиданное событие.

Английская королева под давлением Испании отказала в убежище бежавшим в Англию нидерландским мореходам. Тем пришлось снова вывести свои корабли в море. Готовясь уплыть к далеким берегам Нового Света, беглецы бросили якоря у берега зеландского острова Бриль, желая запастись продуктами и пресной водой. Но местные жители встретили новоприбывших таким

восторженным ликованием, что намерения последних сразу изменились. В Бриль со всех сторон стали направляться корабли, и вскоре небольшая флотилия беглецов превратилась в грозную эскадру «морских гёзов», поднявших знамя борьбы против испанских поработителей. Давний опыт мореходов и горячая любовь к обиженной родине помогали морским гёзам побеждать противника.

Успехи морских гёзов всколыхнули приморские провинции севера — Зеландию и Голландию. В них широко развернулась освободительная борьба. Каждый город вносил свою лепту в общую казну, за счет которой разрастался и оснащался боевой флот морских гёзов. В суровой обстановке войны и лишений советы городов нередко добровольно удваивали свои взносы. Отныне эти советы были протестантскими. Возглавив борьбу, они теперь беспощадно изгоняли попов и католических чиновников, которых считали врагами и в которых подозревали лазутчиков противника.

Взносы городов, отнятые у церкви богатства, захваченные на море испанские грузы — все это отныне шло на дело освободительной борьбы, но она требовала не только сильного флота, но и крепкой армии и, прежде всего, новых оборонительных укреплений.

Чтобы помешать этому, Альба решил ускорить свой поход на север и разгромом «провинившихся» городов устранить всякое дальнейшее сопротивление.

Трагедия трех городов

У стен беззащитного Мёхельна горожане доверчиво встретили Альбу торжественной церковной процессией. Пока звучали псалмы, солдаты заваливали ров хворостом и мусором, а когда вокруг города запылало огненное кольцо, войско ворвалось в ворота. Трехдневный грабеж стер всякое различие между католиками и протестантами. Те и другие стали жертвами, а их имущество — добычей озверевших завоевателей. Улицы и дворы, одежда солдат были покрыты перьями и пухом из множества распоротых перин, которые понадобились грабителям как мешки, набиваемые добычей.

Город Цутфен не распахнул ворот перед испанским войском. Альба, разгневанный непослушанием, приказал не оставлять в этом городе живым ни одного человека.

После обстрела из пушек вал и стены плохо защищенного города были взяты штурмом. Был перебит небольшой гарнизон. Затем часть города подожгли. Бегущих от огня с криком преследовали. Укрывшихся в жилищах выгоняли на улицы. Тех и других окружали. Пошли в ход сабли и кинжалы. Одних рубили и закалывали, других вешали на деревьях, третьих раздевали донага и выгоняли в поле навстречу зимней стуже.

Современник, очевидец событий, писал: «Вопль агонии слышался над Цутфеном как отголосок великого избиения».

Шквал испанского нашествия подкатился к Голландии. На его пути оказался город Нарден на берегу Зюдерзее.

Сын Альбы дон Фредерик, на которого было возложено командование, отказался разговаривать с делегацией Нардена. Злополучным делегатам было приказано сопутствовать авангарду испанского войска и ждать решения участи города у его ворот. Там-то именитым горожанам, ректору латинской академии Гортензиусу и сенатору Герриту, пришлось иметь дело с внимательным и любезным испанским офицером Юлианом Ромеро. Тот потребовал ключи от города и, улыбаясь, уверял, что, жителям сдавшегося Нардена обеспечивается полная неприкосновенность жизни и имущества.

Получая ключи, Ромеро троекратно пожал руки своим почтенным собеседникам и заверил их честным словом воина в святости и нерушимости своих обещаний.

Медленно растворились городские ворота. Впереди 600 мушкетеров шагал Ромеро вместе с представителями города.

Жены членов магистрата предложили испанцам занять места за празднично накрытыми столами и воздать должное еде и напиткам, приготовленным заботливыми хозяйками. Изысканный ужин затянулся до позднего вечера. По его окончании сенатор Геррит, принимавший в своем доме Ромеро, вышел с ним на прогулку. Их шаги гулко раздавались на пустынной площади. Тишину ее нарушили внезапно зазвучавшие колокола ближней церкви «Гостиного дома».

Ромеро, широко улыбаясь, пояснил, что колокол созывает всех почтенных членов нарденовского совета и купеческой гильдии на небольшое, но неотложное совещание.

Около пятисот именитых граждан, встревоженных и недоумевающих, сгрудились в церкви, скупо озаренной несколькими светильниками. Обмениваясь вопрошающими взглядами, вздыхая и переминаясь с ноги на ногу, они молчаливо и напряженно ждали... Наконец дверь открылась и тут же затворилась за торопливо вошедшим священником.

— Во имя божие,— произнес он,— опуститесь на колени и... читайте заупокойную молитву!

Не оборачиваясь, священник отступил на несколько шагов. Двери за его спиной настезь распахнулись, и мимо пятывшегося священника вихрем пронеслись воины, крепко сжимавшие в руках сверкающие клинки шпаг и кинжалов.

Удары металла, вопли ужаса и возмущения, исступленный рев неистовствующих солдат... Не прошло и часа, как резня закончилась. Убитых и раненых поспешно обшаривали, карманы выворачивали, перстни срывали.

Повалена дубовая кафедра проповедника. Ударами секиры

расколоты сухие доски. Поднесен зажженный трут. Дерево вспыхивает. Высоко взметнувшееся пламя пляшет над обломками кафедры и, дрогнув, поникает, когда в него попадают тела сраженных. Низко стелется и тяжелыми клубами медленно плывет кверху густой чадный дым. Испанские солдаты мигом оказываются вне церкви. Ее двери со стуком захлопываются и слышится скрипучий звук запираемого замка.

Бойня, начавшаяся в церкви, продолжалась на улицах. Одни солдаты настигали и закалывали прохожих, другие поджигали дома, третьи стерегли ворота и стены, препятствуя бегству из города. Озверевшие убийцы похвалялись своим умением одним-двумя ударами меча рассечь тело еретика.

Одно за другим были срыты укрепления вокруг Нардена. Кратко звучало донесение Альбы, посланное королю: «У граждан и солдат перерезаны глотки. Ни одна мать не имеет сына!..»

Героическая оборона Гарлема — перелом в ходе войны

Альбе казалось, что участь трех городов должна парализовать ужасом и отчаянием все остальные города. Произошло обратное. Расправы палачей-завоевателей опалили все сердца гневом и решимостью сражаться и устоять.

На пути поработителей неприступной твердыней стал Гарлем. Южная Голландия с Амстердамом находилась в руках Альбы, голландский север отстаивал свою независимость плечом к плечу с морскими гёзами. Между завоеванным югом Голландии и боровшимся севером лежала узкая перемычка суши. Она измерялась часом ходьбы от берега Северного моря на западе до побережья Зюдерзее на востоке.

Там, где эта перемычка еще более сужалась, и был расположен Гарлем, огражденный с запада крепостным валом и старыми стенами и омываемый с противоположной стороны большим озером.

По узенькому гребню плотины, отделявшей озеро от Зюдерзее, пролегла мощная дорога, связывавшая Гарлем с Амстердамом. В силу своего местоположения Гарлем являлся для завоевателей желанным ключом к еще не покоренному северу Голландии.

Отборное тридцатитысячное войско испанских солдат и немецких наемников с полуторатысячной конницей — таковы были силы осаждавших.

Гарлем насчитывал 30 тысяч населения, включая младенцев и престарелых. Он располагал лишь четырёхтысячным гарнизоном.

На стороне осаждавших было преимущество опыта, боевой выучки. Их головы кружил недавний военный успех, их рвение разжигалось обещанием добычи.

Начальник гарлемского гарнизона Рипперда собрал на площади граждан и солдат. В простых словах он изложил скорбную историю трех городов. Рассказ венчали слова: «Именно такая участь ждет и нас, если город достанется врагу!..» Речей и споров не было. Лес рук, разом поднявшихся, был ответом. Все поклялись сражаться, не щадя сил, и каждый торопился занять свое место в рядах бойцов.

Испанские солдаты были вне себя от изумления, когда их на марше атаковал женский кавалерийский эскадрон. Его создательницей и командиром стала 47-летняя горожанка Кенау Гесселер, сумевшая превратить спортивную забаву мирных дней в нужное боевое дело.

Вторая стычка разыгралась с другой стороны города.

Небольшая флотилия гарлемцев незадолго до осады приблизилась по озеру к Амстердаму. Неожиданный мороз сковал суда в ледовом плену. Испанские солдаты по льду направились к судам, намереваясь завладеть ими. Вся команда кораблей также сошла на лед и вихрем понеслась навстречу врагу. Неуклюже ступавшие по скользкой поверхности замерзшего озера пехотинцы-южане вдруг оказались со всех сторон атакованы мгновенно налетавшими на них и молниеносно ускользавшими от ударов скороходами-конькобежцами. Несколько сот трупов оставили на льду отступившие испанцы.

Сменившая морозы оттепель позволила отвести суда к гарлемским причалам.

Осада началась трехдневным артиллерийским обстрелом. Уже в первый день было сделано 680 выстрелов. После такой подготовки начался приступ. Набатный звон цоднял всех граждан. Со стен города низвергались камни, лилось кипящее масло, падали горящие угли, а на шеи взбиравшихся по осадным лестницам ловко набрасывались осмоленные зажженные обручи. Атака была отбита. Она стоила нападавшим 400 убитых и раненых. Знакомый нам уже Ромеро потерял глаз.

Первый успех не избавил город от тревожной заботы о пополнении запасов. Офицера, посланного из Гарлема за боеприпасами и продовольствием, испанцы перехватили и обезглавили. Его отсеченную голову перебросили через городскую стену с издевательской запиской: «Это голова капитана Конинга, который уже в дороге с подкреплениями доброму городу Гарлему».

В ответ из города через ту же стену перебросили бочонок с 11 головами пленных испанцев и пояснением: «10 голов — эта десять грошей алькабалы, а 11-я — это проценты!»

Дон Фредерик считал, что первый неудавшийся штурм обошелся слишком дорого. Поэтому он решил перейти к подкопам и каждодневному разрушительному обстрелу стен.

Из испанского лагеря один за другим вели подкопы, которые позволили бы произвести взрыв мин. Однако в осажденном Гар-

леме нашлись и минеры, и самоотверженные саперы. Они ухитрились делать встречные подкопы, опережать врага и взрывать собственные мины вне городских стен, взметая вверх все результаты работы врага.

Случалось, что противники вплотную сталкивались друг с другом в удушливой темноте прорытого с двух сторон туннеля. Во мраке завязывалась ожесточенная рукопашная схватка и два задыхавшихся человека убивали один другого единственно возможным в такой тесноте оружием — кинжалом, закупорив своими телами всю подземную щель.

Тем временем огонь пушек изо дня в день сокрушал явно обветшавшие стены, образуя в них трещины и проломы. Осажденные наспех забрасывали их чем попало, а однажды испанцы увидели, что в один из проломов полетели статуи святых, притащенные из какой-то церкви. Испанские офицеры, у которых никакое зрелище пыток и казней не вызывало возмущения, на сей раз лицемерно спорили, можно ли таранить пушечными ядрами стену, рискуя попасть в святого.

Во вражеском лагере никто и не догадывался о тайной работе, которая неумоимо велась долгими зимними ночами в безмолвном городе. В те часы, когда враги за стенами Гарлема затихали, за линией старых разрушавшихся стен постепенно поднималось серпообразное каменное полукольцо, упиравшееся двумя своими концами в озеро. Истомленные за день бойцы сменялись стариками, женщинами и детьми. На носилках волокли камень, песок, цемент и под руками каменщиков вырастал новый оборонительный пояс.

После многих обстрелов стены едва держались. И вот был назначен повторный, на сей раз ночной штурм. Он был нацелен на пробитую пушками неширокую брешь. В нее яростно устремился поток нападающих, встреченный прицельным огнем изнутри.

Здесь почти до утра кипела битва. По сотням павших в атаке соратников испанские солдаты прорвались сквозь отвоеванную ими брешь.

Подкашиваемые слева и справа выстрелами и ударами секир и мечей, прорвавшиеся упорно взбирались на старый рavelин, откуда, как им казалось, оставалось лишь спуститься в незащищенный город. Достигнувшие верхней площадки участники ночного штурма уже торопливо развешивали свое знамя, чтобы, наконец, водрузить его на захваченном рavelине.

Внезапно они увидели перед собой, вместо панорамы беззащитного города, грозно возвышавшийся каменный полумесяц, ошестинившийся наведенными на них пушками, матовый блеск которых слегка золотило поднимавшееся утреннее солнце...

И в этот, заранее намеченный момент взорвалась подведенная под рavelин мина. Вместе с грудой камней она подбросила вверх и разметала в стороны руки, ноги и головы мнимых побе-



Расправа над жителями Гарлема.

дителей. Солнце, поднявшееся первого февраля 1573 года над Гарлемом, не было для чужеземцев солнцем победы.

Оправдываясь перед отцом, дон Фредерик поневоле стал говорить правду: «Эти граждане делают столько же, сколько могли бы сделать лучшие в мире солдаты. Они себя ведут именно как такие солдаты. Их инженеры творят неслыханные вещи».

Как ни гневался Альба на своего сына, он и сам был вынужден оправдываться перед королем Филиппом и при этом искать спасения в неизбежном признании горькой правды: «Это, ваше величество, такая война, какой прежде никогда не видывали и о которой нигде на свете не слышали. Никогда еще ни одна крепость не защищалась с таким искусством и храбростью, как Гарлем... Рост этих изменников,— добавлял Альба,— это настоящее чудо!..»

Чудо, так поразившее Альбу, заключалось в небывалой силе духа, проявленной вольнолюбивым и закаленным в борьбе народом в час его трагической самозащиты, когда он обнаружил ту отвагу и самопожертвование, которые были невозможны ни для военных наемников, ни для профессиональных грабителей и убийц, сражавшихся под испанским королевским знаменем.

Вторая половина зимы 1573 года принесла осаждавшим бедствия стужи, недоедания и болезней, ропот солдат, растерянность военачальников.

Для осажденных она означала голод и еще большие лишения. Боясь грозившего им полного истощения запасов, они тщетно пытались вызвать решительное сражение. На гребне новой стены Гарлема вдруг появлялись самозванные актеры в золоченых церковных ризах. Они на шутовской лад изображали католическое богослужение. Так привычным оружием театральной сатиры защитники города пытались больно хлестнуть набожных испанцев, чтобы толкнуть их на опрометчивый штурм.

Однажды на заре отряду пеших воинов и женскому эскадрону удалась блестящая вылазка. Было сожжено 300 палаток, 800 врагов зарублено, а горожане потеряли лишь четырех человек. Захваченные трофеи поместили на насыпи, которой придали форму могилы, а над нею водрузили большую надпись: «Гарлем — кладбище испанцев!»

Но ни отчаянная смелость внезапной вылазки, ни вызывающие насмешки не достигали цели. Слишком велик был суеверный страх перед непокорным городом, которому сам дьявол помогает доражать идущих на штурм.

Отчаявшись в успешном исходе борьбы, дон Фредерик добивался снятия осады. Альба пригрозил ему отцовским проклятием. Голодный город все еще страшил испанский лагерь. В туманные ночи на льду замерзшего озера иногда под охраной вооруженных конькобежцев проскальзывало несколько саней С порохом и продуктами.

Альба с нетерпением ожидал ледохода. В амстердамской гавани готовили флотилию, которую предстояло перетащить волоком к озеру и там столкнуть на воду.

В Гарлем пришла тяжкая весть: отряды, шедшие с севера на выручку города, были разбиты войском Альбы. С началом навигации расчеты Альбы оправдались. Его суда хозяйничали на гарлемском озере. Город оказался отсеченным от всех мест, откуда он получал помощь.

В Гарлеме была на счету каждая горсть отрубей и каждая крупица пороха. Истощенные люди замертво валились на улицах.

Письмо, полученное от принца Оранского, содержало совет позаботиться о сносных условиях капитуляции при сдаче города. Весть об этом отступничестве вызвала гневные демонстрации в не занятых врагом голландских городах.

Голод сделал то, чего не могло достичь оружие врагов. Гарлем пошел на переговоры. И так как слову испанских генералов никто уже не верил, посредником выступил граф Амерштейн — начальник немецких наемников, воевавших под испанским знаменем. Он обещал Гарлему милосердие, а сложившим оружие — пощаду.

В сдавшемся Гарлеме «победителей» встретила картина запустения и смерти. На улицах валялись трупы людей и скелеты коней, обглоданные изголодавшимися обитателями города.



Открытие шлюзов, наступление морских гёзов и бегство испанского войска от стен Лейдена.

Из четырехтысячного гарнизона уцелело 1800 человек. Но жизнь была сохранена только 600 немецким наемникам с условием не воевать против Испании. Все остальные воины, так же как и ряд видных граждан, вопреки вероломным обещаниям посредника, были казнены. Когда пятеро палачей выбились из сил, обреченных стали связывать по двое спиной к спине и бросать в озеро.

После казней населению была объявлена амнистия с оговоркой, что она не распространяется на 57 заложников, оставшихся за тюремной решеткой.

Занятие Гарлема казалось победой, похожей на поражение. За семь месяцев по его стенам было произведено более 10000 пушечных выстрелов. Под, этими стенами сложило головы около 12 000 испанцев.

Упрямый Альба не понимал, что события доказали полный провал всей его политики в Нидерландах. Вместо притока сокровищ из еретической страны Испании пришлось за пять лет отправить туда 25 млн. флоринов, что вконец истощило королевскую казну.

В итоге вместо сокровищ — разорение, вместо покорности — непреодолимое сопротивление.

А между тем сам Альба винил себя только в том, что допустил чрезмерную мягкость, даровав «амнистию» Гарлему. Он писал ко-

ролю, что намерен и впредь дотла сжигать все населенные места в Нидерландах.

Ответное послание короля гласило, что казна Испании не может удовлетворить требований Альбы, но зато герцогу легко найдется более искусный преемник, который сумеет прекратить войну умеренностью и снисходительностью.

Новая неудача, понесенная завоевателями под небольшим городом Алькмаром, показала, что в ходе борьбы наступил решающий поворот. Попытка штурма встретила со стороны Алькмара такой сокрушительный отпор, что захватчикам поневоле пришлось перейти к блокаде окруженного ими города.

Если завоеватели, потеряв веру в силу оружия, сделали своим союзником голод, то жители Голландии призвали на помощь еще более грозного союзника — океан. Штаты Голландии вынесли героическое решение: «Лучше потопить, чем потерять!»

В палатку испанского командующего были принесены обломки дорожного посоха, который у стен Алькмара испанский патруль вырвал из рук алькмарского плотника, пробиравшегося обратно в город после посещения морских гёзов. Послание, спрятанное внутри посоха, гласило: будут вскрыты близлежащие шлюзы «Зип» и океанские воды хлынут к Алькмару. Осада Алькмара была тотчас же снята.

Лейденская драма

Начатая Альбой карательная экспедиция уже без него кончилась под Лейденом, вторично осажденным с мая по октябрь 1574 года.

Горожане с презрением отвергли предложение о сдаче на милость короля. Мужество и стойкость лейденцев оказались такими же непреодолимыми, как и у гарлемцев. Но все дороги, ведущие к Лейдену, были в руках врагов, и запасы продовольствия быстро таяли, а с ними таяли и силы осажденных. Скупое отмеривались порции пищи, и голод, снова становился страшным союзником завоевателей. Из вражеского лагеря шли насмешливые послания «собакоодам» и «крысоодам» с предложением сдаваться.

Между тем вся надежда осажденных была на морских гёзов, которые, взорвав три преграды плотин, могли затопить океанскими водами пятнадцать миль, отделяющие Лейден от побережья. Неумоимо, ночь за ночью, трудились моряки, каждым часом как бы перечеркивая терпеливое дело столетий. Наступление на сушу ускорялось, когда дул попутный ветер. Но вот в пяти милях от цели перемена ветра резко понизила уровень наступающих вод. Впрягаясь в построики, моряки тщетно пытались тащить на себе по мелководью тяжелые суда.

В это время в городе было мало людей, способных твердо держаться на ногах. Они, изнемогая от голода, вглядывались в горизонт и прислушивались к звукам, доносившимся из-за стен. Они не знали, что ветер неожиданно изменил направление и норд-ост опять погнал океанские воды к Лейдену. Вздудись паруса армады гёзов. На мачтах их кораблей дерзко реяли знамена с изображением десяти грошей и полумесяца, с надписью: «Лучше туркам, чем папе!..»

В последнюю ночь, когда осаждавших устрашал зловещий для них шум приближавшегося океана, раздался грохот мощного обвала. Он принят был в испанском лагере за канонаду морских гёзов, и это послужило последним толчком, чтобы решиться на бегство. Солдаты в панике отступали, а между тем тревогу вызвала внезапно рухнувшая городская стена, открывшая зияющую брешь, которой уже не смогли воспользоваться враги города... А через несколько часов океанские воды действительно подошли к городу, залив все пространство недавнего лагеря осаждавших... Морские гёзы пришли на выручку лейденским братьям, осуществив суровое решение голландских штатов: «Лучше потопить, чем потерять!»

* * *

В жестоких столкновениях с беспощадным иноземным врагом, в беспримерных испытаниях и лишениях не слабела, а, напротив, крепла и мужала воля нидерландского народа. В справедливой борьбе за свою, независимость проявились его невиданная стойкость и поразившее весь мир неизмеримое моральное превосходство над феодальными войсками.

Но героическая оборона Гарлема, Алькмара и Лейдена, победы морских гёзов и жертвы, понесенные всем голландским народом, отдававшим океану свои поля, чтобы не уступить своей земли врагу,— все это оказалось лишь началом Нидерландской революции. В сложной борьбе сил, в долгом и напряженном столкновении противоречивых интересов ковались новые судьбы страны, различные для ее севера и юга.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА, НОВЫЕ ЛЮДИ

Людам, жившим в XIV—XVI столетиях, казалось, что на их глазах вновь оживает культура древней Греции, что их современники становятся достойными учениками выдающихся ученых, поэтов и художников античного мира и смело выступают продолжателями их великого дела.

В противовес старому церковному взгляду на человека как на существо ничтожное, жалкое и греховное, а потому и вынужденное постоянно вымаливать прощение у господя бога, отныне сложилось и окрепло убеждение, что человек вправе пользоваться всеми радостями жизни и сполна наслаждаться ее щедрыми дарами.

Представление о бессилии человеческого разума было отброшено. На смену ему пришла гордая уверенность в могуществе человеческого ума, в его способности познать окружающий мир, решить загадки мироздания, изучить природу, раскрыть все ее кладовые и поставить все ее силы на службу людям.

Прежде все непонятное пытались объяснить непостижимой для человека божественной волей, и потому «наукой наук», главной премудростью средневековья было богословие, уводившее человеческую мысль прочь от постижения законов природы.

Начиная с XIV века передовые люди явно пренебрегали богословием. Они хотели, чтобы искусство правдиво отображало жизнь, радовало и облагораживало человека, а наука рассеивала мрак неизвестного.

Людей новой эпохи стали называть *гуманистами* — от латинского слова *humanus* (гуманус), что значит «человеческий».

Художники, поэты, зодчие, ваятели и ученые искали опору не в богословских трудах и творениях средневековых художников, а в> полузабытом наследии далекого прошлого: в жизнерадостном искусстве, науке и философии древних, особенно греков.

Найденные в ту пору археологами произведения искусства греческих и римских мастеров и рукописи древних мыслителей служили художникам и ученым превосходными образцами. Они их терпеливо изучали, следовали им в своем собственной творчестве, сызнова возрождая прекрасный мир античного искусства,



Брунелеско. Фасад капеллы Пацци во Флоренции (начата в 1430 г.).

воссоздавая и продолжая дело древних математиков, естествоиспытателей, географов, медиков и философов. Потому-то новая молодая культура XIV—XVI веков, возрождающая интерес древних эллинов к человеку, вошла в историю как Возрождение.

Настойчивый интерес к памятникам седой старины, как и новая оценка человека, его ума и его прав, возник именно оттого, что люди XIV—XVI веков прониклись верой в собственные силы.

Чем же вызывалась столь решительная смена воззрений и стремлений, какие причины привели к этому?

В Европе все еще царил феодализм. Но с каждым десятилетием все большее значение приобретали города, их торговля и промышленность. Что же изменилось в жизни городов и горожан? В раннюю пору своего существования небольшие средневековые города были удивительно похожи друг на друга: и одними и теми же ремеслами, и тем, что каждый из них снабжал изделиями лишь ближайшие селения и замки.

Но со временем картина стала другой: многие города быстро росли, втягивали в свои стены тысячи беглых крестьян, принимали новый облик. Здесь получала преимущественное развитие

какая-нибудь одна отрасль производства, быстро заслонявшая и оттеснявшая на задний план все прочие ремесла.

Тончайшие наблюдения, производственные навыки и секреты, весь накопившийся опыт работы переходили от дедов и отцов к таким мастерам, которые становились хозяевами разросшихся мастерских и распоряжались сотнями подмастерьев-рабочих. Их изделия, выпускаемые в невиданном до того количестве, предназначались уже не для заказчиков, живущих поблизости, а для безвестных далеких покупателей, рассеянных по всей стране, а порою и за ее пределами.

Так появились прославленные промышленные города, ставшие колыбелью производства, связанного со всем тогдашним миром. Фландрские города и Флоренция давали всем европейским странам шерстяные и тонкосуконные ткани, Венеция дарила им стеклянные чаши и кубки, Милан — резные панцири, Аугсбург — бумазю, Ульм — бархат, Констанца — полотно и т. д. И, не в пример мелким средневековым городкам, богатые многолюдные города протянули свои щупальцы к отдаленным гаваням и чужеземным краям и уже не могли жить без оживленнейшего и постоянного товарообмена со всеми странами.

Северогерманские города, объединенные союзом «Великая немецкая Ганза», до XVI столетия возглавляли торговлю, связывавшую Скандинавские страны и Англию со всей остальной Европой.

Еще большей была роль североитальянских городов, которые со времени крестовых походов завладели всей средиземноморской торговлей. Они прочно обосновались в восточных землях и несказанно обогатились, сохраняя в своих руках весь товарооборот Запада и Востока, пробившись в бассейны Черного и Азовского морей, втянув в свой оборот не только товары Турции и арабских стран, но и далекой Индии и Китая.

С таким же постоянством, с каким горожане обменивались товарами, они обменивались и сведениями, познаниями, деловым опытом, техническими новинками, изобретениями, книгами, идеями.

Чтобы понять то гордое чувство уверенности в себе, которое отличало людей Возрождения от их предшественников, достаточно бросить взгляд на стремительный поток открытий, изобретений, новых книг, замечательных произведений искусства, которыми так богато было это время.

Около 1300 года итальянец Флавио Джойа усовершенствовал компас, благодаря чему мореходы смогли не только плыть вдоль морских берегов, но и выходить на просторы открытого моря.

Изобретение пороха и появление огнестрельного оружия вызвали полный переворот в военном деле.

Появившиеся в Италии в XIV веке первые оптические приборы позволили наблюдать небесные тела и постепенно открыли новый



«Моисей». Статуя работы Микеланджело.

мир недоступных человеческому глазу явлений природы.

На пороге XV столетия появляются первые доменные печи. В том же столетии книгопечатание обеспечило широкое распространение литературных произведений и научных трудов, так как печатные книги оказались гораздо дешевле и доступнее рукописных.

Компас, парусные суда, способные двигаться по воле кормчего, а не по капризу ветра, появление морских карт — все это дало толчок успехам мореплавания. Стали возможными Великие географические открытия, разом раздвинувшие рамки мира.

Мир, по словам Энгельса, сразу сделался почти в десять раз больше. Вместо четвертой части одного полушария весь земной шар теперь лежал перед взором западноевропейцев, которые спешили завладеть остальными семью восьмыми.

Появление новой науки и искусства

Многие ученые того времени, открыв один раз самую великую книгу, которая вообще существует на Земле,— книгу природы, так увлеклись ее чтением, что уже не пожелали закрыть ее. Они не только думали, как построить новые ткацкие станки, как построить новые корабли, чтобы они могли ходить под парусами не только по ветру, но и против ветра, они не только изобрели много других нужных и полезных вещей, но и стали постепенно проникать в тайны природы, чтобы подчинить ее себе и заставить служить людям. Вместо «священного писания», которое до сих пор было единственным авторитетом, содержало небылицы и нелепости, которые люди должны были признавать непреложной истиной, все большее значение приобретали изучение природы и наука, построенная на опыте.

Великий художник Леонардо да Винчи (1452—1519) занимался одновременно механикой и биологией, мечтал о том, чтобы создать летательный аппарат.

Знаменитый врач и естествоиспытатель Парацельс (1493—1541), внимательно изучая химические свойства материи, высказал догадку, что все процессы в организме суть химические процессы, и на этом основании впервые создал учение о лекарствах как средствах вмешательства и помощи человеческому организму в его борьбе с болезнями. Он, правда, еще сохранял веру в лженауку алхимию и разные средневековые предрассудки, но в то же время сделал много полезных открытий, изучая непосредственно природу.

Испанский врач Мигель Сервет (1511—1553) впервые открыл, что кровь у человека и животного движется по кровеносным сосудам. Это открытие, которое сочеталось у Сервета с другими смелыми мыслями, отрицавшими нелепости религии, послужило основанием для осуждения его как еретика. Он был сожжен в Женеве по приказу женевского реформатора Кальвина¹.

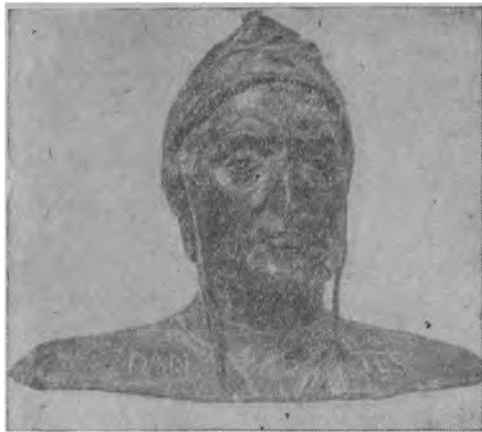
На основе наблюдений над природой развиваются и теоретические знания. Лука Пачьоли (1445—1514) написал большое сочинение по



Голова Давида. Микеланджело



¹ См. очерк «Шан Кальвин и Голова Венеры. Деталь картины Боттичелли: «Рождение Венеры»



Бюст Данте Алигьери.



Рафаэль. Автопортрет.

арифметике и геометрии, математик Джеронимо Кардано (1501 — 1576) развивал дальше алгебру. Большие открытия были сделаны в области астрономии. Польский ученый Коперник (1473—1543) установил, что не Солнце вращается вокруг Земли, а, наоборот, Земля вращается вокруг Солнца. Его последователь Иоганн Кеплер (1571—1630) впервые дал точное математическое выражение законов движения планет вокруг Солнца. Другой последователь Коперника, механик и астроном Галилео Галилей (1564—1642), изобрел телескоп и с его помощью установил, что на Луне есть горы, у Юпитера имеются спутники, подобные нашей Луне, что Млечный путь представляет собой колоссальное скопление звезд. Эти открытия произвели огромное впечатление на современников, но в то же время вызвали и ярость мракобесов. Католическая церковь, покровительница суеверий, невежества и темноты, заставила Галилея отречься от теории Коперника.

Природа зачаровала нового человека. Он любовался ее красотой, крепким телом и упругими мышцами юноши, изяществом женского лица, улыбкой ребенка. Все это новые художники хотели передать так, как видели сами.

Такое отношение к изображаемым предметам мы называем реализмом в искусстве. Прежние художники, в соответствии с господством богословия во всем средневековом мировоззрении, служили прежде всего церкви. Архитекторы строили храмы; живописцы и скульпторы изображали святых или события библейской и евангельской истории. Художника интересовала по преимуществу идея изображения: восхваление подвига святого или мученика, стремление представить величие бога или безмерное милосердие богоматери, то есть то, чего он не мог наблюдать в действительности. В угоду своей идее художник часто предна-

меренно искажал действительность, пренебрегая при изображении тела правилами перспективы и анатомии. Стараясь подчеркнуть «неземное», божественное выражение лица, художники прибегали к условному его изображению: искажали его пропорции, заставляли жить на лице одни глаза, придавая им выражение одного-единственного чувства (скорби, смирения и т. п.).

Совсем по-иному творили художники Возрождения. Архитекторы строили уже не только храмы, но и просторные светлые жилища, да и самый храм они возводили так, чтобы в нем было больше воздуха и света, в то время как в средневековых готических соборах — высоких, с узкими, едва пропускавшими солнечный свет окнами,—всегда царил полумрак.

Знаменитый итальянский художник Рафаэль (1483—1520), так же как и средневековые художники, изображал богородицу с младенцем на руках. Но его кисть не повторяла прежний плоский и бесплотный образ, в котором поколения верующих привыкли угадывать деву Марию. Его богородица ожила! Она предстала перед зрителями в виде обаятельно прекрасной земной женщины, лелеющей своего младенца и пронизанной светлым чувством материнства.

Рафаэль славил не легендарную мать Христа. В жизненно правдивом образе молодой женщины-матери он воспевал спокойное величие и тихую радость материнства, женственную прелесть своих вполне реальных современниц. Эти произведения перестали быть иконами, хотя и выполнялись для церкви.

Атлетические фигуры героев библии (Моисей, Давид), изваянные великим скульптором и живописцем Возрождения Микеланджело Буонарроти (1475—1564), отразили могучий, закаленный в жизненных несчастьях дух самого художника. Люди этого времени обладали большой предприимчивостью и силой характера, похвалялись тем, что своим богатством и положением они обязаны не титулам или происхождению, а собственным усилиям. Им нравилось поэтому, чтобы их изображали на картинах. Портрет сделался распространенным жанром искусства.

В своих сочинениях — стихах, прозе — новые писатели и поэты изображали радость и страдания обычных людей. Они первые поставили человека в центре своего внимания и всячески старались показать, что человек обладает неисчерпаемыми силами Духа.

Энгельс, говоря о мастерах эпохи Возрождения, называет их титанами по силе мысли, страстности и характеру, по многосторонности и учености. И все-таки следует помнить, что во времена Возрождения великолепные дворцы, прекрасные картины и превосходные сочинения поэтов, писателей и художников, зачастую выходцев из простого народа, создавались для богачей. Лишь немногие из замечательных произведений искусства были доступны для обозрения простых горожан.

Самой крупной фигурой, ознаменовавшей переход от средневековья к Возрождению, был итальянский поэт Данте (1265—1321). Энгельс сказал, что закат феодального средневековья, заря современной капиталистической эры отмечены одной колоссальной фигурой. Это — итальянец Данте, последний поэт средневековья и в то же время первый поэт нового времени.

Данте был верующим католиком. Картина мира, которую он нарисовал в своем замечательном произведении «Божественная комедия», построена на основе учения церкви. В соответствии с этим учением на том свете существует ад для грешников, рай для праведников и чистилище, куда посылают души только что умерших людей, о которых еще не известен приговор бога.

Ад находится в центре земли. Сюда попадают после смерти грешники, где их предают «адским» мучениям. Ад напоминает собой воронку, широкий конец которой выходит на поверхность Северного полушария. Южное полушарие покрыто водой, в центре его от падения дьявола земля образовала огромную уступчатую гору в виде усеченного конуса. Здесь помещается чистилище. На плоской ее вершине — земной рай, где когда-то будто бы жили первые люди — Адам и Ева. И вот Данте рассказывает, как он однажды попал на тот свет и, руководимый римским поэтом Вергилием, почитаемым и в средние века, а затем своей рано умершей возлюбленной Беатриче, посещает ад, чистилище и рай. У врат надпись: «Оставь надежду, всяк сюда входящий».

В аду, который представляет собой воронку с девятью кругами, томятся грешники. Чем горше их наказание, чем более тяжки их грехи, тем ниже они помещены в аду.

В первом, самом верхнем круге, или ярусе, ада Данте встречает великих философов и ученых древности. Они не были христианами, поэтому доступ в рай для них закрыт. Но они ведь не совершили никаких тяжких преступлений, наоборот, облагодетельствовали человечество своими трудами и своей мыслью. Их не за что наказывать. Поэтому в первом круге ада еще нет настоящих мучений. Данте, несмотря на то, что он был «последним поэтом средневековья», как новый человек, преклонялся перед философией, наукой и искусством древних и не мог допустить, чтобы почитаемые им великие люди могли мучиться в аду только за то, что они не были христианами.

Спускаясь вниз вплоть до девятого круга, Данте рассказывает, что он там видел. В третьем круге, например, томятся обжоры и непрестанно лает трехглавый пес Цербер. В четвертом круге мучаются скупцы и расточители, среди них оказывается много пап и кардиналов. В пятом круге ада — гневные люди. В шестом — еретики. В седьмом — кары постигают насильников. Здесь три отделения. В первом — насильники против людей, грабители и убийцы. Их Данте заставляет купаться в кипящей крови. Здесь Александр Македонский, Пирр, царь Эпирский,



Томас Кампанелла.

Атила и др. Во втором отделении седьмого круга — насильники против самих себя, то есть самоубийцы; они превращены в деревья, которые терзают гарпии — птицы с железными клювами. В третьем отделении мучаются под непрерывным огненным дождем насильники против бога: богохульники, ростовщики. В восьмом круге ада — десять рвов, или «злых ям». Здесь мучаются всевозможные обманщики, и к ним (как и к обитателям девятого круга — предателям) Данте беспощаден. В одной из ям восьмого круга — оболстители, их бьют длинными бичами рогатые черти; в другой — лстецы, они купаются в зловониях; в третьей яме — люди, обманом и подкупом получившие высокие церковные звания: тут папа Николай III, и здесь же место, ожидающее папу Бонифация VIII, которого Данте не смог увидеть в аду только потому, что этот глава римской церкви еще был жив, когда Данте писал свое произведение. В четвертой яме — колдуны и волшебники, у них головы вывернуты назад, и они плачут, орошая слезами собственные спины. В пятой яме варятся в кипящей смоле взяточники, и, если они пытаются вырваться из смолы, черти подхватывают их на вилы, и т. д. В девятую яму Данте посадил пророка мусульман Мухаммеда, как распространителя ложной религии. И, наконец, девятый круг. Здесь томятся предатели, то есть люди, совершившие, по мнению Данте, самое страшное преступление. В центре круга сам дьявол — Люцифер, грызущий Брута и Кассия — убийц Цезаря и Иуду — предателя Христа.

Через чистилище, где томятся грешники, ожидающие либо прощения, либо осуждения, Данте попадает в преддверие рая, где

страстно ненавидит своих врагов и «наказывает» их в аду самыми невероятными муками. Все исследователи великой поэмы отмечают, что в описаниях пейзажа потустороннего мира Данте дал великолепные реалистические картины природы родной Италии, предвосхитив в этом отношении художников XV и XVI веков.

Искусство следует природе,
Как ученик ее, за пядью пядь...—

говорит он в XI песне «Ада».

Данте написал свою «Комедию» на итальянском, а не на латинском языке. В своих скитаниях по Италии он внимательно изучал народные говоры и на основе своего тосканского наречия, обогатив его заимствованиями из других наречий Италии, Данте создал литературный итальянский язык, который существует и до наших дней. Данте мечтал о государственном единстве Италии и скорбел, видя ее политическую слабость — результат феодальной разобщенности:

Италия! Раба! Приют скорбей!
Корабль без кормчего среди бури дикой,
Разврата дом, не мать областей...
(«Чистилище» у Песнь VI.)

Жажда знания, интерес к жизни, природе, к человечеству со всеми его страстями, недостатками и достоинствами, большое чувство любви к Беатриче, интерес к себе как центру тончайших переживаний, к своей известности и славе — все эти черты свойственны человеку Возрождения, каким был Данте.

Среди гуманистов было много ученых, положивших начало современной науке. Недаром Энгельс говорил, что собственно си-

стематическая экспериментальная (то есть основанная на опыте) наука стала возможной лишь со времени Возрождения. Замечательные математики, инженеры, техники и астрономы разрабатывали практические и теоретические знания. Люди того времени поражали своей разносторонностью, являясь часто крупными представителями сразу нескольких наук и искусств. Наиболее поразительным примером такой разносторонности был гениальный художник и вместе с тем ученый, инженер, архитектор Леонардо да Винчи.

Французский историк Мишле сказал однажды, что все Возрождение можно свести к двум открытиям — «открытию мира а открытию человека». Под первым он подразумевал не только Великие географические открытия, но и бесконечно расширившиеся знания человека о вселенной.

Наше общее суждение о Возрождении будет неполным, если мы не скажем о тех великих умах человечества, которые создавали свои произведения не только для богатых купцов и аристократии, но и для простого трудового человека. Этим мыслителям волновало все, что происходило вокруг них: и то, что дворяне сгоняли крестьян с земли или старались выжать у них возможно больше денег, и то, что капиталисты притесняли ремесленников и рабочих.

По всем странам Европы бродили толпы нищих, голодных и плохо одетых людей. И там, где контрасты богатства и нищеты были всего сильнее, там и появились люди великого ума и великого сердца — гуманисты в наилучшем и наиболее широком смысле этого слова. Они сочувствовали горю простых людей. Они поняли, что все зло происходит оттого, что одни владеют всем, а у других нет ничего, кроме своих рук. И до тех пор, пока существует частная собственность на землю и предприятия, будет сохраняться и нищета одних и богатство других. Поэтому они и стали противниками частной собственности, первыми социалистами. Это были три Томаса: Томас Мор, Томас Мюнцер и Томас (Томмазо) Кампанелла. Их называют обычно социалистами-утопистами — по названию сочинения «Утопия», написанного одним из них — Томасом Мором. Слово «утопия» — греческое и означает «нигде». Томас Мор описал порядок на фантастическом острове Утопия, где нет частной собственности. Для того времени это была чрезвычайно смелая мысль, предвидение нового, справедливого строя, противоположного феодальному и капиталистическим порядкам. Но социалисты-утописты ошибочно думали, что этот порядок можно установить в обществе без всякой борьбы, путем мирных преобразований.

История нашей Родины и других социалистических республик показала, что социализм может установиться только в результате социалистической революции и победы диктатуры пролетариата и что буржуазия добровольно, без борьбы не откажется от своего господства.

АФРИКАНСКИЕ КНИГОЛЮБЫ

— На абордаж! — громовым голосом закричал главарь итальянских пиратов. Они давно уже дожидались добычи в проливе между Сицилией и Северной Африкой. И вот теперь эта желанная добыча словно сама шла к ним в руки: вдали показалось невооруженное гребное судно арабов. Подойти к нему и зацепить крюками для опытных пиратов было делом несложным. А справиться с матросами купеческого судна — тем более.

Осмотрев груз, предводитель пиратов стал пристально разглядывать пленников. Для него это тоже был товар: шел шестнадцатый век, и во всей Южной Европе процветала торговля рабами.

Внимание пирата привлек молодой араб с умным выразительным лицом. Пленник прижимал к груди книгу в сафьяновом переплете; морские разбойники оставили ему эту книгу как вещь для них совершенно бесполезную и не представляющую никакой ценности.

— Ты кто? — спросил молодого человека капитан пиратского судна.

— Нотариус — ответил тот.

Пират был человек бывалый, когда-то служил в испанском флоте, а потому, хоть и не знал арабского, сумел разговориться с пленником. Тот, как оказалось, был родом из Гренады, так что испанский был для него почти родным языком.

После падения Гренады — последнего оплота арабского владычества в Испании — родители молодого человека переселились в Марокко, где он получил высшее образование. Потом он стал нотариусом, но неутолимая страсть к путешествиям влекла его из страны в страну. Обо всем виденном и слышанном он записывал в книгу в сафьяновом переплете.

В плену нотариусу необычайно повезло. Главарь пиратов сообразил, что хорошей цены за него на рынке рабов не дадут: слабосилен да, пожалуй, и строптив. И он решил преподнести пленного ученого папе римскому.

¹ *Нотариус*—специалист по составлению юридических документов: завещаний, договоров, свидетельств. При его участии совершается передача имущества из рук в руки наследникам и покупателям.

В то время римский престол занимал сын Лоренцо Медичи. Лоренцо славился как покровитель наук и искусств, и сын его старался не отставать от отца, стремясь придать как можно больше блеска папскому двору. Он щедро награждал пирата за необыкновенный подарок, поселил ученого пленника во дворце и поручил ему написать книгу о своем путешествии. Так родился замечательный труд «Описание Африки», автор которого в Европе стал известен под именем Льва Африканского.

На протяжении четырех столетий эта книга оставалась для европейцев главным источником сведений о многих странах Африки, и прежде всего о Западном Судане. По-арабски «Билас-ас-Судан» означает «Страна черных». Так называли арабы обширную область Африки южнее великой пустыни Сахары (от Сенегала да Нила). Через Западный Судан протекает река Нигер, имеющая здесь такое же значение, как Нил для Египта.

На Нигере стоял город Тимбукту. Описывая его, Лев Африканский рассказал, что из всех товаров, провозимых в Тимбукту из Северной Африки через Сахару, больше всего ценятся книги. Поэтому ими выгодно торговать.

Долгое время думали, что в этом месте Лев Африканский что-то напутал. Ведь книги нужны культурным людям, а откуда им взяться где-то в глубине отсталой и дикой Африки?.. Лишь много спустя — в XIX—XX веках — европейцы узнали, что во времена Льва Африканского в Западном Судане не только читали, но и писали книги. С большим трудом удалось разыскать рукописные произведения двух суданских историков. Один из них — Абдар-Рахман-ас-Саади (1596—1656) написал интереснейшую «Историю Судана». Другой — Махмуд Кати прожил на свете 125 лет (с 1468 по 1593 год) и оставил книгу под названием «История ищущего познать города, войска и великих людей Текрура» (Текруром называли часть Западного Судана). Из сочинения Махмуда Кати видно, что Лев Африканский писал истинную правду о том, как ценились книги в средневековом Тимбукту: одна книга стоила столько, сколько 16 дубленых кож.

При жизни Льва Африканского город Тимбукту входил в состав суданского царства Сонгаи, столица которого Гао также была расположена на Нигере, да и сейчас стоит на берегу этой реки. Тимбукту был культурным центром государства Сонгаи, а еще ранее — царства Мали.

Уже в XIV веке в Тимбукту возник университет Санкоре. Кроме богословия, в Санкоре изучали и настоящие науки — историю, литературоведение, языковедение, правоведение, математику, астрономию, вероятно, и медицину. Лекции читались по-арабски. Это, однако, не умаляет достижений суданских ученых. Арабский язык долго был языком науки и в Северной Африке, и на всем Среднем Востоке.



Образцы африканской скульптуры.

Университет Санкоре занимал видное место в мусульманском мире. Ученых из других стран этого мира с большим почетом принимала в Тимбукту. А санкореские мудрецы, со своей стороны, порой отправлялись читать лекции в другие университеты, например в Фесский (Марокко), где получил образование Лев Африканский.

Тимбукту был присоединен к царству Сонгаи в 1463 году. Четверть века спустя — в 1492 году испанские войска взяли Гренаду. Арабские врачи, ученые, архитекторы бежали из Гренады в мусульманские страны. Многие из них нашли приют в университете Санкоре.

Историк ас-Саади включил в свой труд по истории и личные воспоминания о годах учебы, о своих наставниках. Читая эти воспоминания, иной раз забываешь, что все это происходило несколько веков назад, в глубине Африки. На каждой странице встречаешься с именами ученых и просто образованных людей, которых роднит любовь к книге и стремление поделиться с другими тем наслаждением, которое дают знания. В книгах суданских ученых содержится немало благородных, справедливых мыслей. Интересно мнение, которое высказал ас-Саади о назначении истории как науки. Он писал, что история богата полезными уроками, благодаря ей человек узнает свое отечество, своих предков, имена героев, жизнь этих героев. Разве не верно?

В книге ас-Саади можно прочесть стихи, написанные поэтом ат-Таделси на смерть ученого ал-Табари. Поэт призывает чтить память тех, кто при жизни проявил благородство, и еще больше — память мыслителей, ибо когда светлый разум мыслителя покидает этот мир, достойные люди всех стран облачаются в траур.

Из местных источников мы мало знаем о деятельности врачей Западного Судана. Из книги ас-Саади известно лишь, что в марте 1653 года его брату сделали сложную операцию: удалили бельмо с глаза. И ослепший прозрел. Зато об успехах суданских врачей в лечении внутренних болезней можно узнать из французских источников XV века.

...В 1413 году в Марсель (город на юге Франции) вернулся местный купец Ансельм д'Изальгийе. Много лет он пропадал в неведомых краях. А теперь снова поселился в родном городе. Да не один, а с женой и дочерью. Когда семейство д'Изальгийе появилось на улице, местные жители удивлялись. Подумать только: у жены марсельского купца и доброго христианина кожа черная-пречерная. Да и дочь темно-коричневого цвета. К тому же с д'Изальгийе приехали шестеро слуг — один другого чернее.

Марсельский купец рассказывал, что африканцы, среди которых он так долго жил, такие же культурные люди, как, скажем, французы. Но земляки не верили ему. Д'Изальгийе было тяжело сносить недоверие, а то и насмешки знакомых и даже родных. И он перебрался с семьей в Тулузу — другой город на юге Франции.

Между тем во вновь разгоревшейся Столетней войне англичане разгромили войско французов и заняли северную часть их

страны. После смерти своего отца дофин Карл¹, слабый и болезненный юноша, удалился на юг Франции. Здесь он услышал об искусном враче, который живет в Тулузе, в доме купца д'Изальгийе, и решил обратиться к нему за помощью. Однако придворные и, в особенности, французские доктора всячески отговаривали Карла от такого шага. Ведь у тулузского врача черная кожа, вполне возможно, что он сродни черту...

Карл долго колебался. Но наконец призвал к себе тулузского врача, который сказался одним из слуг, привезенных из Гао Ансельмом д'Изальгийе. Лечение прошло успешно. Мы не знаем, как отблагодарил Карл африканского врача. Скорее всего, поправившись, он забыл о нем. Для суданца это был, впрочем, самый лучший выход. Завистники и просто суеверные люди уверяли, что ему во всем помогает нечистая сила, да и сам он колдун. По такому обвинению в те времена было легко попасть на костер и сгореть заживо, как сгорела Жанна д'Арк.

Попробуем определить, чем все-таки лечил суданский врач короля Франции.

...Альпинисты штурмуют высокую гору. Позади остались отвесные скалы, бездонные пропасти и быстрые потоки. Но последние десятки метров перед вершиной самые тяжелые. Может быть, и не сами по себе, а потому что силы альпинистов уже иссякают. Что же делать? Вернуться ни с чем? Конечно, нет. Покорители гор делают привал, глотают какие-то таблетки. А затем с новыми силами продолжают подъем.

Откуда же взялись эти силы? Их придал альпинистам гость из Тропической Африки. Гость этот — семена вечнозеленого растения кола. Они содержат вещества, которые снимают усталость, возбуждают деятельность сердца. Шоколад-кола и таблетки-кола берут в полет или поход летчики, альпинисты, лыжники, туристы-пешеходы. А лекарствами, которые готовят из семян кола, лечат от переутомления и некоторых нервных заболеваний.

Семена кола издавна привозили в Западный Судан. Их лечебные качества были хорошо известны местным врачам. Поэтому вполне возможно, что врач из Гао применил именно эти семена для лечения болезненного повелителя Франции.

* * *

«Тимбукту,— писал ас-Саади,— заполнен суданскими студентами. Это люди Запада [Западного Судана], исполненные страсти к науке».

Многие из студентов становились крупными учеными. В книге ас-Саади приведены выдержки из словаря, составленного суданцем Ахмедом Баба. В этом словаре описана жизнь и деятельность более ста людей науки, а также поэтов, живших в Западном Судане с XIII до середины XVI века.

¹ См. очерк «Жанна д'Арк — героиня французского народа».

Жажда знания распространялась и на царей. Так, повелитель Сонгаи Дауд, правивший во второй половине XVI века, основал несколько библиотек и держал особых писцов, которые переписывали для него книги. А малийский царь Канку Муса, который жил в первой половине XIV века, и сам был писателем.

Конечно, большинство жителей средневекового Западного Судана (как и Западной Европы) были неграмотны. Но в царствование Дауда в одном Тимбукту было 150—180 школ, где учились читать и писать.

Все суданцы с уважением относились к знанию и к ученым. С этим приходилось считаться и царям. Вот почему судьи в Мали и Сонгаи назначались только из среды ученых.

Конечно, среди ученых и поэтов Тимбукту, Дженне и других культурных центров Западного Судана было немало льстецов. Но находились и такие, которые не боялись говорить правду в лицо самому царю. Они возвещали ее от имени угнетенного народа.

Однажды, это было в сороковых годах XVI века, в Дженне приехал сонгайский царь Исхак. Царь велел всем жителям собраться в мечети, а затем спросил, кто их обижает и притесняет. Он, видимо, хотел поразить народ своей любовью к справедливости. Однако никто из рядовых жителей Дженне не решился ответить на царский вопрос.

Внезапно вперед выступил знаменитый юрист Махмуд Бархайоро.

— Искренне ли ты говоришь с нами, о Исхак? — спросил он, обратившись к царю.

— Клянусь богом,—воскликнул изумленный правитель,— я говорю искренне.

— А если мы укажем тебе угнетателя, о котором ты спрашиваешь, как ты поступишь с ним?

— Он получит по заслугам,— ответил царь,— либо смерть, либо палки, либо тюрьму, либо изгнание.

— Что же,— спокойно продолжал Бархайоро,— мы не знаем тут худшего угнетателя, нежели ты сам, ибо ты — отец всех угнетателей, и они могут существовать только благодаря тебе. Никто здесь не захватывает чужого добра иначе, как для тебя, по твоему приказу и пользуясь твоей поддержкой.

По словам Махмуда Кати, который описал этот случай, царь растерялся и вынужден был уехать из города.

Из сочинений того же ученого можно узнать, как именно происходил грабеж простых людей Западного Судана.

Почва долины Нигера, обработанная искусными руками суданских земледельцев, давала богатые урожаи. В одном поместье сонгайского царя работало 200 крепостных. Плохо ли, хорошо ли, но управляющий поместьем должен был кормить их, иначе они умерли бы с голоду. Оставшееся зерно (в поместье возделывали рис) шло царю. Этот остаток составлял 1000 мунну. Много это или

мало? Посчитаем. Мунну — кожаный мешок, который вмещал 200—250 литров.

Другим источником дохода царской казны были подати с городских ремесленников. В Тимбукту было 26 тинди — портновских мастерских. Хозяева тинди держали по 50, 70 и даже 100 подмастерьев и учеников.

К сожалению, Кати не пишет, сколько народа жило в Тимбукту: тогда ведь не было переписи населения. Советский ученый Д. А. Ольдерогге считает, что население Гао составляло около 75 тысяч человек. И большинство из них платили налоги своим повелителям.

Горожане и крестьяне Западного Судана жили не лучше и не свободнее, чем простые люди в средневековой Западной Европе. Но, несмотря на бедность, они поддерживали в своих жилищах чистоту и порядок.

В 1352 году в Западный Судан прибыл знаменитый арабский путешественник Ибн-Баттута¹. До этого он объездил большинство самых культурных стран Востока. И все же порядки, которые он нашел на Нигере, очень ему понравились. В своем сочинении он особо отметил чистоплотность суданцев. «А еще есть у них хороший обычай надевать по пятницам чистую белую одежду... Даже если кто имеет только одну старую поношенную рубаху, он стирает и чистит ее, а затем идет в ней на молебен».

Более образованные и богатые суданцы не уступали в чистоплотности древним грекам и римлянам.

Махмуд Кати передает удивительную историю про малийского царя Каику Муса. Царь совершал хадж (паломничество) в Мекку — священный город мусульман. С ним отправилась и жена его Инари Конте. Их сопровождал большой караван. Путь из Мали на Аравийский полуостров, лежал через Египет, а к Египту — через пустыню Сахару.

Однажды ночью царице не спалось. Каику Муса встревожился и спросил, не больна ли она. Инари Конте ответила, что здорова, но очень страдает от грязи и мечтает выкупаться в реке.

Царь вышел из палатки, отдал нужные распоряжения. И к утру, неподалеку от того места, где остановился караван, среди песков пустыни уже блестело искусственное озеро. За ночь 9000 слуг царя мотыгами выкопали в песке огромный ров глубиной в три человеческих роста. Затем дно рва покрыли слоем камней, смешанных с песком, на камни положили дрова, а на дрова — бочки с пальмовым маслом (то и другое везли на верблюдах). Получился непроницаемый для воды слой. Затем ров залили водой (ее тоже везли на верблюдах).

Это похоже на сказку. Однако можно сказать с уверенностью, что ни одна королева тогдашней Западной Европы не стала бы

¹ О путешествиях Ибн Баттуты см. очерк в «Книге для чтения», ч. 1.

горевать от того, что долго не мылась; иные «святыне» чуждались воды от рождения до самой смерти. На Западе и не возникало таких преданий.

Интересно, что способом, описанным Махмудом Кати, сооружались в Мали колодцы. Тот же историк рассказывает, что в одной местности насчитывалось несколько сот глубоких колодцев, дно и стены которых были непроницаемы для воды. Дороги и караванные пути суданцев также содержались в образцовом порядке.

Как рассказывает Ибн-Баттута, его караван в пустыне передвигался по точному расписанию. Проводник безошибочно находил путь по одному ему известным приметам. Вперед выслали гонцов, и в заранее определенном месте караван был встречен группой туарегов (жители пустыни), которые доставили на верблюдах свежую питьевую воду.

Не удивительно, что географический кругозор жителей Западного Судана был необычайно широк. Однако суданцы не довольствовались уже достигнутым. Особенной любознательностью отличался Канку Муса, который сам любил путешествовать. С его именем связана еще одна необычная история. Ее привел в своем сочинении арабский писатель XIV века аль-Омари.

«Царь, который правил до меня,— поведал ему преемник Канку Мусы,— не верил, что нельзя дойти до пределов соседнего моря (то есть Атлантического океана, до берегов которого простирались владения Мали). И снарядил двести судов с людьми и столько же судов, нагруженных золотом, водой и пищей на два года. Он сказал кормчим: «Не возвращайтесь, пока не достигнете предела океана или не истощатся запасы воды и пищи». Они ушли в море и отсутствовали долго. Потом возвратилось одно судно. Спросили у кормчего про приключения и новости. Тот ответил: «О царь, мы долго шли вперед, пока не встретили в открытом море нечто вроде могучей реки. Мое судно шло последним. Остальные поплыли дальше, но, после того как они достигли реки, ни одно не вернулось и не показывалось больше. И я не знаю, что с ними случилось. Я же повернул назад и не вошел в эту реку».

Попробуем разобраться в этой истории. В ней идет, видимо, речь о течении, которое суданские мореплаватели встретили в Атлантическом океане. Чтобы дойти до такого течения, им нужно было отдалиться от берега по крайней мере на 200 или даже на 400 километров.

Рассказ о плавании суданцев в Атлантическом океане показался арабскому писателю вполне правдоподобным. Значит, Мали действительно имело не только речной, но и морской флот, моряков, способных плавать в открытом океане. Да и откуда было знать малийцам об океанских течениях, если бы они никогда их не видели?

От великих цивилизаций прошлых веков, в том числе и африканских, до нас дошли замечательные памятники зодчества:

вспомните храмы и пирамиды древнего Египта. Однако сооружения, воздвигнутые в средние века в Западном Судане, почти не сохранились. Это объясняется не только разрушительными войнами. Своего камня в долине Нигера не было. Обжигать кирпичи там умели. По приказу Канку Муса в столице его государства — городе Ниани — был, например, построен большой дворец из обожженного кирпича. Однако таким кирпичом в Западном Судане пользовались мало. Жилые дома, а также дворцы и мечети сооружались большей частью из глины, высушенной на солнце. Благодаря этому в суданских постройках было прохладно даже в сильную жару, тем более что окна обычно выходили во внутренний двор. Глина же не так долговечна, как камень или обожженный кирпич. Простояв сотню — другую лет, постройки из этого материала буквально рассыпались в прах. Такая судьба постигла, видимо, дворцы и мечети — творения арабских зодчих, которые работали при дворе малийских царей.

Памятники средневекового зодчества Западного Судана погибли большей частью естественным путем. Но куда делись памятники науки и литературы, что — стало с их творцами и создателями? Чтобы ответить на вопрос об их судьбе, нам придется снова вернуться на пути караванной торговли, по которым некогда прошли Ибн-Баттута, Лев Африканский и царь Канку Муса.

Для Западного Судана торговля была, пожалуй, более необходима, чем для любой другой страны. В долине Нигера не добывается соль, которая одинаково необходима богатому и бедному. Соль доставляли из Сахары и средиземноморских стран. За нее нужно было платить, и платить дорого. С кочевниками Сахары суданцы издавна расплачивались зерном. В Северную Африку вывозили изделия ремесленников, которые попадали оттуда и в Западную Европу.

Однако доходов от всей этой торговли было недостаточно, чтобы оплатить хотя бы одну соль, ввозимую в Западный Судан. Соль эта ценилась буквально на вес золота и расплачивались за нее в основном именно золотом.

О том, что в глубине Западной Африки добывается золото, было известно еще в древности. Карфагенские купцы получали его путем «немного торга» с местными жителями. Пристав к берегу, они выкладывали свой товар и удалялись на судно. Африканцы, обладавшие золотом, в свою очередь выкладывали рядом с товаром самородки и золотой песок. Если предложенная цена не удовлетворяла купцов, те не прикасались к драгоценному металлу, и коренные жители «набавляли цену». Так продолжалось до тех пор, пока карфагенцы не забирали золото, оставив товар на берегу.

В средние века о золоте Африки рассказывали и даже писали всякие небылицы. Некоторые считали, что оно растет в земле, как морковь. Другие вступали с ними в спор и объясняли, что

золото находят в гнездах муравьев особой породы, каждый из которых величиной с кола. Причем муравьи эти очень злые и сильные, так что золотоискателям крепко от них достается.

Рабовладельцы, а потом феодалы и купцы Северной Африки и Западной Европы много веков мечтали овладеть золотом Судана. Но африканцы с необыкновенным упорством и выдержкой скрывали его местонахождение от иноземцев. Только в XX столетии ученым удалось узнать, где добывалось это золото.

Добыча и торговля золотом необычайно обогащали верхушку суданского общества. Канку Муса, например, буквально сорил золотом в тех странах, которые посещал. Даже через 12 лет после отъезда его из Каира цена золота в Египте была ниже, чем до того, как он достиг берегов Нила.

До середины XV столетия именно из Западного Судана — через Северную Африку — государства Западной Европы получали нужное им золото.

Поиски золотоносных областей в конце концов привели португальцев из Африки в Индию. Однако до внутренних африканских областей португальцы тогда добраться не смогли, хотя и закрепились на берегу Гвинейского залива. Через португальские крепости на этом побережье проходили тысячи рабов, проходило и золото, добывавшееся в стране ашанти. А его было не так уж много.

Золото Западного Судана не давало покоя не только португальским, но и испанским колонизаторам. Войско, которое в 1590 году овладело городом Тимбукту, сожгло и разграбило его, только по названию было марокканским. Ударную его силу составляли испанцы и выходцы из других стран Южной Европы. Даже приказы в этом войске отдавались только на испанском языке.

У суданцев не было огнестрельного оружия, которым располагали испанцы. Поэтому завоевателям удалось взять верх, захватить Тимбукту и некоторые другие города.

Как и в Америке, завоеватели не довольствовались только грабежами и убийствами. Они старались уничтожить культуру народа, заставить его забыть свое славное прошлое. С этой целью колонизаторы уничтожали произведения суданской культуры, рвали и жгли книги. Вот почему до нас не дошли сочинения ученых и поэтов, о которых писали Кати и ас-Саади.

Захватчики с яростью уничтожали и представителей местной культуры, всех образованных людей. Они считали, что, лишившись таких людей, суданцы с легкостью подчинятся чужеземному игу. В опустошенном Тимбукту совершилось страшное преступление, которое напоминает зверства немецких фашистов в захваченных ими землях. Завоеватели заковали в цепи всех ученых этого города и, глумясь, погнали их в Марокко через пустыню. Лишь немногие из них достигли конца этого пути. И только один из

них — Ахмед Баба — через много лет смог вернуться на родину.

Суданцы не подчинились захватчикам, развернули партизанскую войну и изгнали их из своей страны. Но удар, который завоеватели нанесли Западному Судану, не давал ему подняться на протяжении столетий. Единство страны уже не восстановилось. Феодалные усобицы, нападения кочевников, войны с марокканским султаном вконец истощили силы Судана и привели его высокую культуру к упадку.

Это был тяжелый удар для всей Африки к югу от Сахары. Ибо на протяжении нескольких веков долина Нигера служила как бы путеводной звездой для других областей этой части материка. Западный Судан намного обогнал эти области, он один мог сравниться по уровню своей культуры с Северной Африкой и Западной Европой.

Оправиться от погрома, устроенного испанскими завоевателями, суданцы не смогли также и потому, что в XIX веке долина Нигера была захвачена новыми — французскими и английскими — колонизаторами. Только теперь, когда их владычеству пришел конец, в странах Западного Судана начинается новый хозяйственный и культурный подъем. Одна из этих стран, после провозглашения ее независимости, приняла название Мали — в честь средневекового суданского царства, в состав которого она входила.

Уходя из Мали, колонизаторы устроили величайший беспорядок в культурных учреждениях, которых и без того было немного. Но народ и правительство Мали не опустили рук: они поставили перед собой задачу сделать республику страной сплошной грамотности. Для этого недостаточно, однако, построить школы, дать всем детям возможность учиться. В средневековом царстве Мали не было собственной письменности, грамотные люди читали и писали по-арабски. А при французском владычестве тем жителям страны, которым удавалось поступить в школу, приходилось учиться на французском языке. Сейчас малийцы решили создать свою письменность на родном языке — малинке.

Малийцы относятся к культурному наследию Прошлого с любовью и почтением. Народные сказители — везде желанные гости. Под звуки своих музыкальных инструментов, похожих на арфы, они поют о подвигах древних богатырей Западного Судана. Эти подвиги как бы перекликаются с сегодняшним днем Африки, с героической борьбой ее народов за подлинную независимость, образование и культуру.

В этот ранний утренний час на берегу Арно было пустынно, лишь несколько девушек, засучив рукава и подоткнув юбки, поло­скали с мостков белье. Их звонкие голоса, смех и вспыхивающая порой перебранка раздавались далеко по реке.

— Посмотри-ка, Мария,— сказала одна из девушек, наклоняясь к подруге и подталкивая ее локтем в бок.— Да не туда, а налево. Видишь?

Мария взглянула налево.

Неподалеку, прислонясь спиной к дереву, стоял молодой человек необычайной красоты. Он был одет в короткий красный плащ, обут в модные бархатные башмаки, ею вьющиеся светлые волосы покрывал изящный берет.

— Какой красавец! — шепнула Мария.— Истинно, ангел господень...

— Вот уже добрых четверть часа, как этот синьор не сводит глаз с Лючии,— сказала Розита.

— Не может быть!

— Посмотри сама.

Молодой человек раскрыл небольшой альбом, висевший у его пояса на серебряной цепочке, и принялся делать в нем быстрые наброски, то и дело поглядывая в сторону высокой сухощавой девушки, старательно полоскавшей цветную юбку.

— Нет, ты только подумай: ведь он ее рисует! — воскликнула Мария.

— Нашел кого рисовать — цаплю длинноногую! — негодующе подхватила Розита. Лючия подняла голову, заметила молодого художника, поняла, что он рисует именно ее, и с вызовом посмотрела на подруг.

— Пусть я цапля,— сказала она,— однако я понравилась синьору художнику больше, чем вы. Вот он и рисует меня, а не вас!..

— Художник! — Розита презрительно пожала плечами.— Должно быть, мазилка какой-нибудь, и рисовать-то толком не умеет.

— А вот мы сейчас узнаем! — И Мария окликнула пожи­лую женщину, проходившую мимо с корзиной для Провизии: — Тетушка Тереза! Тетушка Тереза, подойдите сюда, я хочу вас

кое о чем спросить. Женщина направилась к девушкам, а Мария быстро сказала:

— Тетушка Тереза служит кухаркой в доме художника. Она не раз говорила, что знает всех художников Флоренции. Сейчас мы у нее спросим, что за художник этот синьор.

— Здравствуйте, красавицы,—подойдя, сказала тетушка Тереза.— Все щебечете? Нет того, чтобы поскорее выполоскать белье да идти домой...

— Тетушка Тереза, не знаете ли вы молодого человека, который стоит под деревом? — спросила Мария.

— Святая мадонна! Как же мне его не знать, когда это синьор Леонардо да Винчи, ученик моего хозяина, синьора Верроккио. То есть теперь-то он уже не ученик, а сам стал мастером, но он по-прежнему каждый божий день приходит к нам в мастерскую. И то сказать, все они, бывшие ученики, не забывают синьора Верроккио — что синьор Леонардо, что синьор Боттичелли, что синьор Перуджино. Как соберутся, так и примутся спорить...

— Что же он, этот синьор Леонардо, хорошо рисует? — Мария покосилась на Лючию, которая внимательно прислушивалась к разговору.

— Хорошо ли он рисует? Святая мадонна! Как же ему еще рисовать, если он самый лучший, самый любимый ученик синьора Верроккио.

Розита перехватила торжествующий взгляд Лючи и отвернулась, закусив губу от досады.

— Да он еще мальчишкой был, так всех, можно сказать, удивил,— продолжала словоохотливая тетушка Тереза.— Синьор Верроккио писал картину «Крещение Христа». Ну, нарисовал Христа, Иоанна Крестителя, ангела — все как полагается. А второго ангела, в углу картины, велел нарисовать нашему Леонардо, И что бы вы думали? Этот ангел лучше всей картины получился. Живой мальчик — да и только! Кто бы ни взглянул на картину, все только: «Ах, какой ангел!» да «Ох, что за чудо!» Хозяин-то мой поначалу вроде даже расстроился. «Раз,— говорит,— мальчишка превзошел меня в живописи, я,— говорит,— больше к кистям и не притронусь...» Ну, это он для красного словца сказал, погорячился, конечно. Сам-то радешенек был, что у него такой ученик. Синьор Верроккио — добрейшей души человек. Ему некоторые ученики по бедности не платят за учение ни сольди,— так он с них и не спрашивает... Ох, заболталась я с вами, красавицы, а ведь мне спешить надо, обед еще не сварен,— сказала кухарка, но не тронулась с места.

Розита с сомнением покачала головой.

— Если он такой распрекрасный художник, этот ваш Леонардо, так чего он стал рисовать Лючию? У нее нос, как у аиста, и лопатки торчат. Уж нарисовал бы лучше Марию, у нее такие чудесные волосы!

— Или Розиту,— подхватила Мария.— Все говорят, что у нее греческий нос.

— И-и, милые— кухарка махнула рукой.— Нашему Леонардо все едино — что греческий, что еще какой. Он говорит, что ему интересно изображать всяких людей, и красивых, и некрасивых, вот он и ходит по Флоренции с альбомом. А то зазовет к себе в гости нищих, бродяг каких-нибудь с улицы, угостит их как следует и примется рассказывать что-нибудь смешное. Он мастер всякие истории придумывать. Те хохочут, а Леонардо незаметно их рисует: вот так один человек смеется, а вот так другой...

Между тем художник закрыл альбом и не спеша удалился. Никто из женщин этого не заметил.

— Он и лошадей, и собак, и кошек рисует,—продолжала тетушка Тереза.— А иной раз притащит из лесу жабу какую-нибудь. Тьфу, по мне, на нее и смотреть-то противно, не та что ее рисовать. А он рисует.

Розита засмеялась и нагло уставилась на Лючию.

— Ну, уж если он жаб рисует, тогда ничего удивительного, что он прельстился нашей Лючией.

Лючия вспыхнула и снова принялась за белье.

* * *

Придя домой, Леонардо застал в своей комнате отца.

— Рад видеть вас, батюшка, в добром здоровье,—сказал Леонардо.— Как удалась поездка? Не пришлось ли вам побывать на родине?

Пьеро да Винчи был нотариусом и часто уезжал из Флоренции по делам службы.

— Да, я заезжал ненадолго в Винчи,— ответил он.— Все знакомые кланяются тебе.

Леонардо вздохнул. Ему живо представились места, где так счастливо прошло его детство и откуда четырнадцатилетним мальчиком он уехал с отцом во Флоренцию, чтобы научиться ремеслу художника.

— Расскажите о Винчи! — попросил он отца.

Тот слегка поморщился.

— Что рассказывать? Там все то же, никаких перемен. Да и зашел я к тебе лишь на минутку. У меня есть небольшая просьба. Думаю, для тебя не составит труда ее выполнить.

— Приказывайте, батюшка.

— Видишь ли, когда я был в Винчи, один знакомый рыбак попросил меня отвезти во Флоренцию вот этот деревянный щит, сделанный им собственноручно.— Отец указал в угол, где, прислоненный к стене, стоял щит.— Парню пришла фантазия разрисованным щитом украсить свое жилище. Он хочет, чтобы какой-нибудь живописец расписал его поярче.

Леонардо взял щит и внимательно его осмотрел.



Дом в селении Винчи, в котором родился Леонардо.

— Он крив и плохо обработан, тут полно заноз.

— Неважно, сойдет и так Распиши его, пожалуйста. Этот парень всегда помогает мне на рыбной ловле, до которой, как ты знаешь, я большой охотник. Мне следует как-то отблагодарить его. Вот я и решил привезти этот щит тебе. Не обращаться же мне к постороннему живописцу и — хе-хе — платить ему деньги, когда у меня в доме живет — хе-хе — законченный мастер...

—Что же я должен на нем изобразить?

- Ах, почему я знаю! Что хочешь, хоть целующихся голубков — не все ли равно? Лишь бы было красиво.

— Хорошо, батюшка, я попробую.

«Красиво...— размышлял Леонардо, когда отец ушел.— Но разве назначение щита в том, чтобы украшать стену дома? Щит должен защищать своего владельца, пугать нападающего. Нет, я не стану рисовать голубков. Хорошо бы придумать нечто ужасное. Впрочем, зачем придумывать? Сама природа подскажет мне сюжет. А воображение дополнит остальное».

В тот же день Леонардо отдал щит столяру, чтобы тот сделал гладкой его поверхность, а сам взял сачок и отправился за город.

Через неделю рабочий стол художника был заставлен банками и коробками, из которых он поочередно извлекал и внимательно рассматривал, делая наброски на листе бумаги, хамелеонов, ящериц, сверчков, бабочек, змей, летучих мышей.

Много дней прошло, прежде чем работа была завершена. Наконец Леонардо сказал отцу, что его заказ выполнен.

— Давно пора,— проворчал отец.— Там и работы всего на час. Принеси его мне. Или нет, лучше я сам зайду к тебе после полудня. Леонардо пошел к себе и установил щит на мольберте. Он наполовину задернул оконный занавес, чтобы свет, падавший с улицы, не был слишком ярким.

После полудня пришел отец. При первом взгляде, брошенном на щит, он вскрикнул от ужаса и попятился.

— Святая мадонна, что это?!

Леонардо, чрезвычайно довольный эффектом, отвечал, стараясь подавить улыбку:

— Это ваш заказ, батюшка. И теперь я вижу, что выполнил его неплохо. Мне показалось, что вы испугались...

Отец уже оправился от испуга и, подойдя к щиту, принялся внимательно его рассматривать. Какое-то невообразимое чудовище, брызжа ядом из раскрытой пасти, извергая огонь и дым, выползало из темной расселины скалы и, казалось, вот-вот бросится на всякого, кто осмелится к нему приблизиться.

— Как искусно ты это сделал! — воскликнул отец.— Под охраной такого чудовища можно чувствовать себя в безопасности.

— Значит, щит отвечает своему назначению,— этого мне и хотелось достичь.

Когда отец уходил, бережно держа щит под мышкой, Леонардо сказал:

— Непременно узнайте, понравилась ли роспись вашему рыбаку.

— Непременно узнаю,— заверил его отец, а про себя подумал: «Как же, так я ему и отдам этот щит! Много он, деревенщина, понимает в произведениях искусства. Куплю ему у торговца другой щит с какой-нибудь простенькой картинкой, и он будет благодарен мне до конца своих дней».

Он так и сделал? А работу сына продал за сто дукатов одному флорентийскому купцу, но вскоре с огорчением (Пьеро да Винчи был скуповат) узнал, что продешевил: купец перепродал щит миланскому герцогу за триста дукатов.

* **

В одной из комнат дворца Медичи стоял у окна молодой мужчина с надменным выражением некрасивого лица и при слабом свете угасающего дня читал письмо. Это был Лоренцо Медичи, всесильный правитель Флоренции. Письмо было только что получено из Милана. Миланский, герцог просил порекомендовать ему хорошего мастера — художника и скульптора. Лоренцо льстило, что подвластная ему Флоренция всюду почиталась питомником всевозможных талантов. И теперь, читая письмо, он самодовольно улыбался. В том, что слава Флоренции как центра культуры гре-

мит во всем мире, Лоренцо видел и свою заслугу. Поэт и философ, он искренне интересовался искусствами и наукой, привлекая к своему двору лучших художников, поэтов и ученых Италии.

Огромные богатства, накопленные родом Медичи, позволяли Лоренцо окружить себя изысканной роскошью и снискали ему прозвище Великолепный. Он немало гордился этим прозвищем и усердно создавал себе репутацию доброго правителя, щедрого мецената и веселого человека.

С приходом к власти Лоренцо Медичи жизнь во Флоренции, казалось, превратилась в сплошной праздник. Веселые карнавалы, пышные шествия сменялись одно другим. Лоренцо Медичи хотелось, чтобы его соотечественники предавались безудержному веселью и не вспоминали, с какой жестокостью уничтожил он сотни жителей Прато и Вольтерры, городов, вздумавших было выйти из-под власти Флоренции.

Ему хотелось, чтобы забылась его недавняя расправа с теми, кто участвовал или был заподозрен в заговоре, направленном против рода Медичи. Этот заговор показал, что во Флоренции не так уж все благополучно.

Часто в веселящейся на улице толпе раздавалась беспечная песенка, автором которой был сам Лоренцо Великолепный:

О, как молодость прекрасна,
Но мгновенна. Пой же, смейся!
Счастлив будь, кто счастья хочет/
И на завтра не надейся...

...За окном совсем стемнело, но Лоренцо не приказывал принести свечей: письмо было прочитано, и теперь он размышлял, кого же из флорентийских художников направить в Милан.

В конце концов выбор Лоренцо пал на Леонардо да Винчи.

Леонардо превосходный мастер, так что миланский герцог будет им доволен. А кроме того, самому Лоренцо хотелось избавиться от Леонардо да Винчи: его раздражал слишком независимый характер художника. Леонардо было уже тридцать лет, но он был беден, потому что ни перед кем не заискивал, не лез из кожи вон, чтобы получить выгодный заказ, а если и получал, то не спешил его выполнять. Он подолгу обдумывал сюжет и композицию картины, тщательно трудился над новым составом красок, по многу раз переделывал написанное. В прошлом году взялся писать большую картину «Поклонение волхвов» для монастыря Сан-Донато, но до сих пор не кончил. Монахи недовольны, жалуются. Хотя, как говорят знатоки, картина необыкновенно хороша.

Лоренцо вспомнилась первая большая работа тогда совсем еще молодого Леонардо да Винчи «Мадонна с цветком». Что и говорить, картина написана рукой высокоталантливого мастера, но как необычно, совсем не в традициях церковной живописи, изображены младенец Иисус и сама Мадонна! Ни один человек, взглянув на эту картину, которая должна служить иконой, не ска-

жет, что на ней изображены мать божия с богом-сыном. Нет, просто молодая миловидная женщина с круглым и нежным лицом самозабвенно играет со своим пухлым младенцем.

Правда, ее полуулыбка очаровывает, а по-детски пытливые выражение младенца умиляет, но ведь икона должна вызывать совсем иные чувства...

Вообще он какой-то странный, этот Леонардо. Чего стоят хотя бы его столь необычные для художника занятия техникой и даже математикой! Говорят, он ломает голову над созданием прядильных машин, носится с фантастическим проектом сделать Арно при помощи шлюзов судоходной рекой. И даже — смешно сказать! — хочет создать летательную машину. Как будто не сам господь бог предназначил птице летать, рыбе плавать, а человеку ходить по земле...

Лоренцо побарабанил пальцами по переплету окна.

Решено, пусть Леонардо да Винчи отправится в Милан. Без него и без всех его чудачеств будет как-то спокойней...

Леонардо да Винчи ехал в Милан с большой охотой.

Не встречая понимания во Флоренции, он надеялся, что, может быть, в Милане ему удастся осуществить свои многочисленные инженерные замыслы. Он знал, что миланский герцог Лодовико Моро не был законным правителем герцогства, чувствовал себя на престоле неуверенно и должен был, по расчетам Леонардо, заинтересоваться хотя бы военной техникой, которая поможет ему удержать власть.

По приезде в Милан Леонардо да Винчи получил должность «герцогского инженера», но круг его обязанностей был необычайно широк. Прежде всего герцог поручил ему большую работу по укреплению и украшению Кастелло Сфорцеско — миланского кремля. Моро хотел превратить его не только в неприступную крепость, но и украсить так, чтобы равного ему не было во всей Италии.

Леонардо с жаром принялся за работы — инженерные, строительные, архитектурные, живописные. Все они требовали многих сложных технических решений, но мастера постоянно отрывали



Портрет миланского герцога Лодовико Моро кисти неизвестного художника.

от дела для всяких придворных затей. То он должен был устраивать праздничный фейерверк, то сооружать купальню из розового мрамора для герцогини, то расписывать причудливым орнаментом ее сундуки и шкафы, то готовить декорации для очередного придворного спектакля.

А спектакли, фейерверки, карнавалы устраивались во дворце ежедневно.

Прежде, во Флоренции, Леонардо лишь иногда появлялся во дворце Медичи. В Милане в его обязанность входило бывать при дворе герцога постоянно. Известный художник и разносторонний ученый, остроумный рассказчик и любезный кавалер, музыкант и режиссер празднеств, Леонардо да Винчи стал душой миланского общества.

Стоило ему появиться на балу или ином празднестве, как его тотчас же подзывала молодая герцогиня Беатриче. Вот Леонардо подошел к герцогине, склонился в глубоком поклоне. Беатриче указала ему на кресло подле себя. Их окружили придворные дамы и кавалеры.

— Мессер Леонардо, верно ли, что вы изобрели способ, позволяющий человеку долгое время находиться под водой? — спросила молодая красивая женщина, играя веером.

— Верно, монна Лукреция. А для удобства передвижения под водой пловец натягивает на руки перчатки с длинными пальцами и перепонками между ними.

— Как у лягушки?

— Да, если вам угодно, перчатки напоминают лягушачью лапу. На лицо надевается маска со стеклом для глаз. Эта маска плотно охватывает рот и нос.

— Но ведь человек задохнется!

— Нет, иначе мое изобретение было бы лишено всякого смысла. К маске присоединяется наполненный воздухом жилет. Этим-то воздухом человек и дышит под водой. К сожалению, воздуха не хватит на продолжительное время. Но я знаю и другой способ, позволяющий находиться под водой очень, очень долго.

— Что это за способ?

— Признаться, мне бы не хотелось распространяться о нем.

— Отчего же, мой милый Леонардо? — спросил подошедший герцог Моро.

— Из-за злой природы некоторых людей, ваша светлость. Ибо этот способ может быть использован для того, чтобы проламывать днища неприятельских кораблей, что привело бы к гибели множества человеческих жизней. Позвольте, я лучше расскажу о другом, более безопасном способе. Это дыхательная трубка, которая в соединении со стеклянной маской дает возможность совершать увлекательные прогулки по дну моря или реки. Такие прогулки не опасны для других, потому что конец трубки, поддерживаемый над водой пробковым кружком, выдает местопребывание водолаза.

Герцогиня Беатриче зябко передернула плечами:

— Бр-р, там, наверное, не слишком уютно — на дне моря или реки. Я ни за что на свете не решилась бы воспользоваться подобной трубкой.

Леонардо улыбнулся.

— Если вашу светлость больше привлекают прогулки по поверхности моря, вашей светлости стоит только приказать...

— Дорогой изобретатель,— засмеялась Беатриче,— уж не хотите ли вы сказать, что изобрели лодку?

— О нет, ваша светлость, я хочу сказать, что изобрел водные пробковые лыжи. На концах лыжных палок я укреплю круглые пробковые пластины, которыми вы будете отталкиваться от воды.

— Ах, увольте! Я все-таки предпочитаю простую лодку. Как-то надежнее...

Придворный поэт Бернардо Беллинчиони, льстец и прихлебатель, криво улыбнулся:

— Надо полагать, что подводное плавание, а равно водные лыжи — такая же бесплодная фантазия нашего дорогого Леонардо, как и его летательная машина.

Беллинчиони с самого начала невзлюбил Леонардо, завидуя его успеху при дворе. А тут еще недавно поэт состряпал вирши, в которых сравнивал герцогиню Беатриче с Землей, вокруг которой вращаются другие планеты (имелись в виду придворные дамы). Тогда Беллинчиони впервые в жизни услышал от Леонардо ошеломившее его утверждение, что Земля — это планета, которая вращается вокруг Солнца, а вовсе не находится в центре Вселенной.

— Но церковь учит иначе,— надменно возразил поэт.

Леонардо пожал плечами.

— Не только церковь, но даже наука считает, что Земля — центр мироздания,— сказал он.—Я утверждаю, что это величайшее заблуждение. А следовательно, ваши стихи неверны по самой своей сути...

Он не добавил, что, кроме того, стихи просто бездарны, но поэт прочел эту мысль в насмешливых глазах Леонардо и с этой минуты затаил против него злобу.

Теперь он стремился отплатить Леонардо.

— Все это не бесплодные фантазии, даже летательная машина,—спокойно возразил Леонардо.— Птица — это своеобразный аппарат, действующий на основе математических законов. Поэтому я считаю, что человек может воссоздать такой аппарат и парить в воздухе подобно птице.

— А ну как упадешь? — лукаво спросил герцог Моро, с торжеством оглядывая придворных и всем своим видом говоря: «Вот какой человек находится у меня на службе!»

— Я предусмотрел такую опасность,— ответил Леонардо. Немного волнуясь (а вдруг на этот раз герцог по настоящему заинте-

ресуется изобретением и даст денег на опыты!), он достал из кармана небольшой альбом и, раскрыв на чистой странице, быстрыми легкими движениями карандаша набросал чертеж.—Извольте видеть, ваша светлость, вот такой шатер из прокрахмаленного полотна позволит человеку, по моим расчетам, бросаться с любой высоты без малейшей для себя опасности. Если бы у меня были деньги на проведение опытов....

При упоминании о деньгах по лицу герцога прошла тень.

Заметив это, герцогиня поспешно сказала:

— Милый Леонардо, все это чрезвычайно интересно, но о проведении опытов вы поговорите с моим мужем в другой раз. А сейчас — давайте танцевать!

— Охотно, ваша светлость,— подавив глубокий вздох и пряча в карман свой альбом, ответил Леонардо.

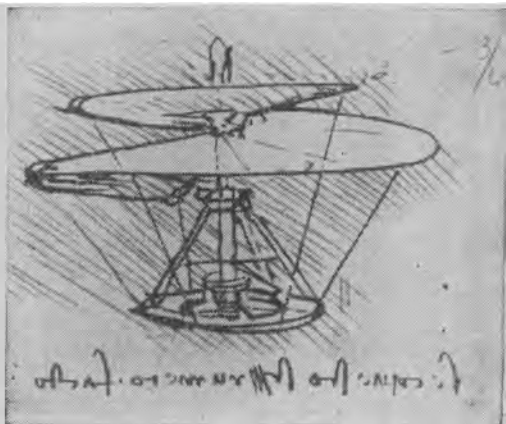
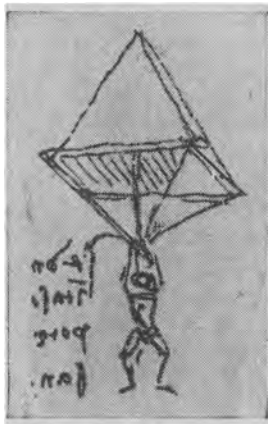
Когда, утомившись танцами, придворные вновь образовали кружок вокруг Леонардо, первая красавица Милана Цецилия Галлерани (Леонардо недавно сделал ее портрет, который назвал «Дама с горностаем») попросила:

— Мессер Леонардо, расскажите нам что-нибудь забавное.

— Что же вам рассказать, ваша милость?

— Что хотите. Вы же мастер придумывать забавные и нравоучительные истории.

— Извольте, я расскажу вам историю, которая приключилась с одним художником. Как-то священник, обходя в страстную субботу свой приход, чтобы разнести, как это принято, святую воду по домам, зашел в комнату к одному живописцу и окропил святой водой несколько его картин. Живописец раздраженно спросил у священника, зачем он намочил его картины. На это священник отвечал, что поступает согласно обычаю, делает доброе дело



Набросок парашюта.

Набросок вертолета.

и будет за него вознагражден богом, потому что господь обещает за всякое добро, которое совершается на земле, воздать свыше стократ. Живописец, выждав, когда священник стал выходить из его дома, высунулся сверху из окна и вылил презрительное ведро воды на голову священника, промолвив: «Вот тебе, получи свыше стократ за то благо, которое ты сделал мне, наполовину испортив святой водой мои картины».

Последние слова Леонардо покрыл дружный смех.

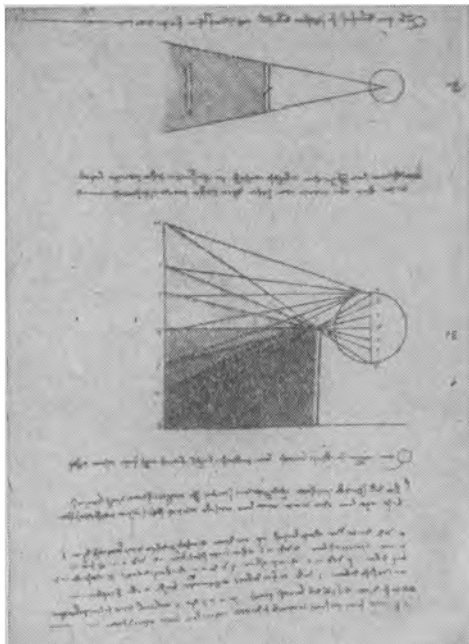
— Еще, еще! — просили придворные.

Леонардо не заставил себя просить.

— Одному человеку сказали, что пора вставать, ибо солнце уже взошло, на что он ответил: «Если бы мне надо было совершить такой путь и сделать столько дел, как солнцу, я бы тоже встал, но у меня дел несравненно меньше, поэтому я еще понежусь в постели».

— А теперь, — предложил герцог, когда Леонардо кончил, — попросим Леонардо сыграть нам на его волшебной лютне.

Леонардо взял серебряную лютню, сделанную им собственноручно, и все затихли, благоговейно слушая его виртуозную игру.



Набросок в рабочей тетради Леонардо.

Шли годы.

Все свободное от придворных обязанностей время Леонардо да Винчи отдавал работе над конной статуей Франческо Сфорца, покойного отца герцога Моро (эту статую в конце концов стали называть просто «Конем»), и над огромной картиной — росписью стены в трапезной монастыря Санта-Мария делле Грацие.

Над «Конем» Леонардо трудился почти десять лет. Он долго вынашивал замысел, долго колебался — должен ли он изобразить парадного или боевого коня? Каков будет всадник — военачаль-

ник, принимающий торжественный парад, или полководец, ринувшийся в атаку впереди своего войска?

Колоссальная — восемь метров высотой — статуя была закончена в глине к 1493 году. Восторгу видевших ее людей не было границ. Один поэт написал стихи, восхваляющие чудесное произведение искусства и его творца:

Посмотри, как хорош этот конь величавый!
Леонардо из Винчи один его создал —
Геометр, живописец, ваятель, и право,
Прямо с неба сей гений сойти соизволил.

Другой поэт восклицал:

— Пусть потечет бронза!

Но памятнику не суждено было быть перелитым в бронзу. Герцогу Моро бронза нужна была для пушек.

В эти годы необычайно широко и полно проявилась могучая и разносторонняя натура Леонардо да Винчи. Ученый, он уделяет особое внимание математике, считая, что всякая наука лишь в той мере может называться наукой, в какой она покоится на математике. Он никогда не занимается наукой ради науки, он всеми силами стремится применить на практике свои научные открытия, говоря, что «наука — полководец, а практика — солдаты». Скульптор, он в совершенстве изучает не только тело человека, но и механизм его движения. Он проводит замечательные опыты и создает интереснейшее анатомические атласы. Художник, он хочет познать природу света и с увлечением занимается этим разделом физики.

Неиссякаемая энергия Леонардо, многообразие интересов и занятий поражали его учеников. Они не только восхищались учителем, но и тревожились за него.

— Учитель,— уже не в первый раз говорили они ему,—вам следует отдохнуть.

— Я не устал. Да и как можно позволить себе устать, когда стремишься принести пользу? Тогда уж лучше умереть.

— Но вы совершенно не щадите себя, учитель. Над чем работали вы сегодня всю ночь? Свеча в вашем окне горела до утра.

Глаза Леонардо загорелись.

— О, я придумал великолепную вещь! Вы знаете, сколь губительны для посевов чересчур обильные ливни и грозы. Сегодня ночью я придумал такую пушку, которая сможет метать разрывные снаряды и разгонять облака. Вот чертеж, глядите.

Ученики долго рассматривали чертеж.

— Поразительно,— сказал, наконец, один из них.— Вы, конечно, покажете этот чертеж герцогу?

Леонардо вздохнул.

— Покажу. Но герцог, как всегда, проявит любопытство, похвалит за мысли тем дело и кончится. Денег на опыты он не даст, и останется моя идея на бумаге.

— Насколько мне известно, герцог и жалованья вам не платит уже второй год,— осторожно напомнил юноша.

Леонардо промолчал.

Ученик оглядел потертый, хотя и не лишенный эlegantности костюм учителя и продолжал:

— Вы могли бы зарабатывать сколько угодно денег, выполняя заказы на живописные работы. Вы сами знаете, что заказы потекли бы к вам рекой, захоти вы их принять. Вы были бы богаты...

— Разве тебе не известно, что почет, оказываемый богачу, кончается в день его смерти? Мы видим немало тому примеров. Не будем говорить о богатстве, бог с ним. Лучше исполни мою просьбу.

— Приказывайте, учитель.

— Я сейчас иду в монастырь Санта-Мария делла Грацие продолжать работу над росписью стены. А ты ступай в какую-нибудь таверну, найди там двух-трех своих знакомых и приведи их ко мне. Пусть они посмотрят мою работу и свободно выскажут свое мнение. Скажи им, что для меня особенно ценно, если они найдут в ней недостатки.

Ученик пожал плечами.

— Я сделаю, как вы велите, учитель, но, признаться, меня удивляет ваше желание. Если бы я был великим Леонардо да Винчи, меня бы мало интересовало мнение других людей, зачастую невежественных. Что за охота вам слушать порицания глупцов, а может быть, и недоброжелателей! Я бы...

— Сын мой, ты ведь тоже живописец, и я хочу, чтобы ты запомнил мой совет. Всегда терпеливо выслушивай мнения других людей. И не забывай, что критика врагов приносит больше пользы, чем похвалы друзей. Зачастую друзья лишь покрывают позолотой наши недостатки.

Сюжетом для росписи стены в монастыре Леонардо избрал «Тайную вечерю» — евангельскую легенду, рассказывающую, как преследуемый врагами Христос в последний раз встретился со своими учениками-апостолами за тайным ужином — вечерей.

Эта легенда давно привлекала внимание Леонардо.

Многие художники до него писали на этот сюжет. Но ни одно из виденных Леонардо произведений не отвечало его пониманию этой волнующей легенды. Писались, в общем-то, просто большие иконы, на которых тринадцать человек — Христос и двенадцать апостолов — удручающе однообразные, безжизненно застывшие, были объединены между собой лишь столом, за которым они ужинали. При этом художники считали своим долгом тщательнейшим образом выписывать блюда с едой и графины с вином.

А ведь на картине должен был изображаться момент, полный глубочайшего драматизма.

Только что Христос, как гласит легенда, сказал апостолам:

— Один из вас предаст меня.

Апостолы потрясены. Неужели среди них есть чудовище, способное на предательство?

Каждый из двенадцати, считал Леонардо, должен выразить свои чувства по-своему, потому что двенадцать человек — это двенадцать различных характеров.

Натуру для персонажей своей картины Леонардо искал всюду — во дворце герцога и в лачуге рыбака, на празднестве и на похоронах. Он не расставался с альбомом, делая сотни зарисовок.

Живописные достоинства картины обещали быть необычайными. Леонардо писал ее в ярких, но в то же время нежных тонах, применяя все оттенки розовато-красного и голубовато-синего цвета. Краски художник изготовлял собственноручно, по своим рецептам.

В иные дни он работал над «Тайной вечерей» с восхода солнца до позднего вечера, забыв об отдыхе и еде.

А потом наступали дни, когда он не притрагивался к кистям, а лишь подолгу стоял перед своим творением, сосредоточенно рассматривая его, размышляя и оценивая сделанное.

Случалось, что, работая над «Конем», вдруг, пораженный какой-нибудь мыслью, Леонардо оставлял глину, бежал в монастырь делла Грацие и, взобравшись на помост у картины, делал один-два мазка, после чего не спеша шел обратно.

По прошествии многих месяцев картина была почти готова. Оставались ненаписанными лишь лица двух главных героев этой драмы — лицо Христа и лицо Иуды-предателя.

Монахи, видя, как медленно продвигается работа, выражали всяческое недовольство. Их раздражало, что в трапезной, где они обедают, у стены стоят леса, что в ней постоянно толкутся какие-то посторонние люди, которых живописец, словно в собственную мастерскую, приглашает посмотреть на картину.

Настоятель монастыря неоднократно жаловался на художника самому герцогу Моро.

Однажды герцог вызвал к себе Леонардо и передал ему жалобу настоятеля.

— Я знаю,— отвечал Леонардо,— монахам странно видеть, как я стою полдня погруженный в раздумья. Им бы хотелось, чтобы я не выпускал кисти из рук, подобно тому, как лопатой или ножницами работают в саду...

— Настоятель, признаться, надоел мне своими жалобами,— сказал герцог.— Поэтому я желал бы, чтобы ты поскорее закончил эту картину.

— В сущности, мне осталось написать еще две головы: голову Христа, образец которой трудно найти на земле, но так же трудно создать воображением. Недостает и головы Иуды... Для него я хотел бы еще поискать подходящего натурщика, но, в конце кон-

цов, если не найду его, я изображу лицо этого самого настоятеля, столь назойливого и нескромного.

Герцог рассмеялся и больше не напоминал Леонардо о сроках работы. Не торопил художника и сам настоятель: должно быть, до него дошли слова Леонардо, и его ужаснула перспектива быть увековеченным в образе Иуды на стене собственного монастыря.

Леонардо готов был еще и еще работать над картиной, но под молчаливым нажимом заказчиков-монахов вынужден был в 1497 году объявить свою работу законченной.

Леса из трапезной были убраны. Толпы народа повалили в монастырь посмотреть на новое творение Леонардо да Винчи.

Композиция «Тайной вечери» была задумана Леонардо так, что картина как бы продолжала собою трапезную, на стене которой была нарисована. Стены и потолок монастырского зала незаметным образом переходили в стены и потолок комнаты, где Христос ужинал с апостолами. Поэтому казалось, что все изображенное на картине происходит тут же, рядом. Тем сильнее действовала она на воображение.

Лица и позы всех персонажей картины были так жизненны, так естественны! Вот один из апостолов, гневный и пылкий, схватился за меч, чтобы поразить предателя. Другой оцепенел от ужаса при мысли, что на свете возможно подобное злодейство. Третий кротко прижал руки к груди в знак своей бесконечной любви к учителю Христу.

Иуда также потрясен пророческими словами Христа. Резка повернувшись, он впился глазами в учителя, силясь понять, известно ли Христу, что именно он, Иуда, и есть предатель. В отличие от других апостолов, чьи лица освещены мягким, ровным светом, лицо Иуды скрыто в тени, как скрыт от всех его тайный преступный замысел. Скрыт от всех, кроме самого Христа.

Христос сидит среди учеников уже несколько отчужденно, ибо предвидит, что ни один из них не встанет на его защиту, когда его будут распинать на кресте. Голова Христа печально опущена, лицо грустно, но величественно и спокойно, руки бессильно и обреченно простерты на столе.



Зарисовки голов

Успех «Тайной вечери» был необычайным. Не только Милан — вся Италия заговорила о Леонардо да Винчи как о величайшем художнике.

Между тем художник вынужден был писать герцогу Моро: «Синьор, зная, что дух вашей светлости занят великими заботами, я не осмеливаюсь напоминать вашей милости о моих мелких делах и охотно покрыл бы их молчанием. Но... я уже писал вашей милости, что не получаю жалованья уже два года...»

Герцог Моро решил сделать красивый жест, который ему ровно ничего не стоил: в награду за все труды он подарил Леонардо да Винчи виноградник в окрестностях Милана. Со скептической улыбкой читал Леонардо дарственную грамоту: «Герцог Миланский и проч. Леонардо да Винчи Флорентийцу, славнейшему живописцу, согласно нашему и ряда опытнейших людей мнению не уступающему доблестью никому из древних живописцев, что доказано многочисленными предпринятыми им по нашему повелению работами, проявления какого-то его удивительного таланта следовало отметить гораздо раньше...» Дело в том, что и герцог, и сам художник знали: вряд ли представится возможность воспользоваться подарком, потому что дни Миланского герцогства сочтены.

Осенью 1499 года французские войска подошли к Милану. Герцог Моро бежал. Крепость Кастелло Сфорцеско, прекрасно укрепленная, снабженная водой, способная выдержать многомесячную осаду, сдалась неприятелю через несколько дней: дело не обошлось без предательства.

В Милане начались бесчинства завоевателей.

Французы досадовали, что герцог Моро не попал к ним в руки. Зато скульптурное изображение его отца — великолепная конная статуя, изваянная Леонардо, — оказалось прекрасной мишенью для французских арбалетчиков. Все они были меткими стрелками, и вскоре замечательное произведение искусства превратилось в груду глиняных обломков.

Кто может понять до конца, что почувствовал Леонардо, увидев эту груду! Десять лет мучительных размышлений, десять лет сомнений, поисков, творческих радостей и упорного труда были похоронены под обломками глины.

Чтобы как-то забыться, Леонардо шел в монастырь делла Грацие к «Тайной вечере». Но и тут сердце его сжималось от боли. Он видел, что штукатурка плохо держит нанесенные на нее краски, они шелушатся, отстают от стены. Кое-где на картине начали проступать пятна плесени.

Неужели и это его произведение осуждено на разрушение, на гибель?!

Леонардо тяжело было оставаться в Милане, и вскоре он покидает город, в котором провел семнадцать лет.

С этого времени Леонардо пришлось изведать тяжкую участь скитальца.

Он жил то во Флоренции, то в Венеции, то в Милане, то в Риме, нигде не оставаясь надолго: тоска, неудовлетворенность гнали его с места на место.

Прошло пятнадцать лет. В эти годы Леонардо да Винчи сделал ряд замечательных научных открытий, нашел смелые решения многих технических проблем. В эти годы он создал несколько шедевров живописи. Наиболее известными из них стали «Джоконда» — портрет молодой флорентийки Монны Лизы и «Битва при Ангиари». В последнем произведении Леонардо да Винчи смело показал истинное, звериное лицо войны. Им были написаны и другие картины, каждой из которых было бы достаточно, чтобы имя художника осталось в веках.

Но богатые меценаты не понимали всего величия этого гения — их современника и соотечественника. Их раздражала его вдумчивая медлительность при выполнении живописных работ. Его научные занятия представлялись им просто чудачеством. Его независимый характер казался несносным.

Леонардо тяготит, что ему, как и другим людям искусства, всю жизнь приходится искать богатого покровителя. К старости это становится особенно тягостным. В Италии появились молодые гениальные художники — Рафаэль, Микеланджело. Их слава гремит по всей стране, а Леонардо идет уже седьмой десяток, его энергия слабеет, в душе накапливается горький осадок разочарования. Впереди — бесприютная, необеспеченная старость.

В 1516 году французский король Франциск I, вознамерившись насадить у себя в стране науки и искусства, которые вот уже полтора столетия процветали в Италии, предложил великому итальянцу Леонардо да Винчи переехать во Францию.

Леонардо не оставалось ничего другого, как согласиться, хотя ему и было горько покидать родину.

Французский король поселил Леонардо в небольшом замке Клу. Замок, обставленный с королевской роскошью, возвышался на зеленом холме в окружении великолепного парка.

В Клу можно было отдохнуть от всех бедствий скитальческой жизни. Однако Леонардо не хотел пользоваться благами покоя и обеспеченности, ничего не давая взамен. Напрягая угасающие силы, он принимается за проект улучшения местности в окрестностях Клу, предполагая провести сеть каналов, чтобы осушить болота и подать воду на засушливые участки.

Но здоровье Леонардо, некогда богатырское, теперь ухудшается день ото дня. У него отнимается правая рука, и хотя он был левшой, эта новая напасть выбивает его из колеи.

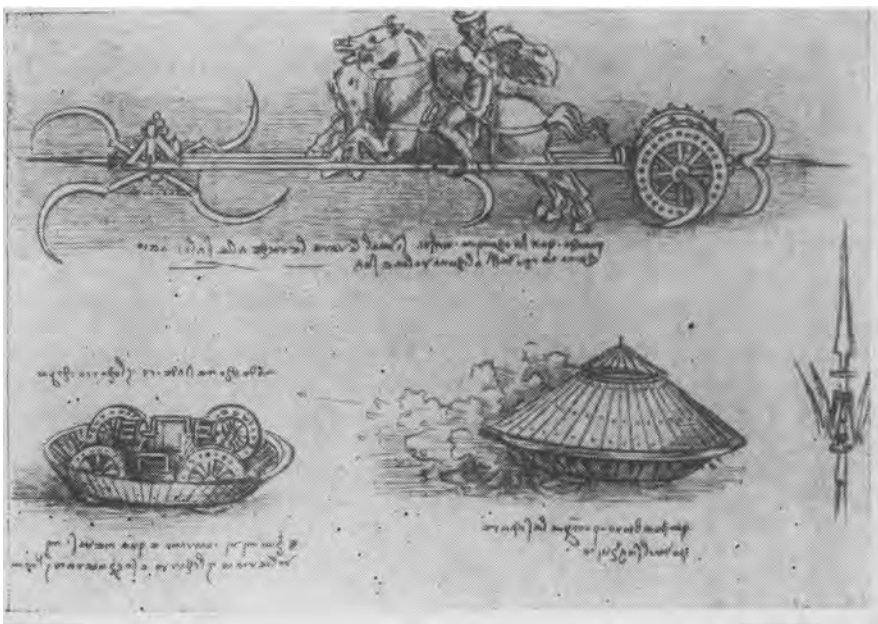
При нем неотлучно находится Франческо Мельци, ученик, приехавший с ним из Италии. Еще четырнадцатилетним мальчи-

ком Франческо, сын богатого дворянина, проникся такой любовью и уважением к Леонардо, что отказался от богатства и дворянской карьеры, покинул родительский дом и, поклявшись никогда не покидать Леонардо, вот уже много лет следовал за ним повсюду.

Помимо нескольких картин, Леонардо привез с собой во Францию тысячи листов научных записей, рисунков и чертежей.

Какие грандиозные проекты, какие невиданные по смелости планы, какие остроумные решения были зашифрованы в этих чертежах и рисунках! Шлюзы и плотины, мосты и осадные машины, токарные и прядильные станки, землеройные и летательные снаряды, подводные лодки и закрытые, неуязвимые для неприятеля колесницы.

К чертежам и рисункам были сделаны подписи зеркальным письмом — справа налево и перевернутыми буквами. Эти записи, понятные только их автору, нуждались в расшифровке, но сил оставалось лишь на то, чтобы перебирать их непослушными пальцами. Где уж тут заниматься расшифровкой! Да и стоит ли? Его труды, и расшифрованные, не станут понятнее и доступнее его современникам. Сколько сил потратил он, убеждая людей: «Глядите, вот плоды моего ума — не пустая фантазия, не прихоть, не забава. Все это я придумал для блага всех людей — берите, пользуйтесь!» Все напрасно... Не поверили, не поняли, не приняли.



Набросок танка.

Почти все осталось лишь на бумаге. Может быть, потомки поймут его мысли? Поймут, оценят, извлекут из них пользу...

— Франческо, подойди ко мне, — позвал Леонардо.

Мельци подошел, встал у стола рядом с креслом учителя.

— Ты знаешь эти листы, мой мальчик. В них — вся моя жизнь. Я заклинаю тебя сохранить их после моей смерти.

Я уверен, они пригодятся людям, которые будут жить после нас.

— Я сохраню их, учитель.

Только прошу вас: не надо говорить о смерти. На дворе весна, вы поправитесь.

— Нет, сынок, я чувствую, что скоро умру. Когда-то я говорил, что лучше умереть, чем устать. И вот теперь я устал, устал смертельно...

Он по-стариковски зябко повел плечами. Мельци, заметив это движение, накинул ему на плечи теплый плед.

— Весна, весна, — задумчиво повторил Леонардо. — Да, конец апреля, а какое неприветливое, серое утро. У нас на родине не бывает такой унылой погоды.

Франческо понял, что у Леонардо один из приступов тоски по Италии, и молча подавил вздох: ему и самому горька была чужбина.

Незаметно наблюдая за погруженным в свои мысли учителем, Франческо любовался им — глубокими морщинами на смуглом лице, сурово сжатым ртом, белой бородой и кольцами седых волос, рассыпавшихся по плечам. Леонардо и в старости остался необычайно красив.

— Мой мальчик, — услышал Франческо, — отодвинь, пожалуйста, занавес. Этот мрак непереносим.

Франческо подошел к окну и пошире раздвинул тяжелую штору.

Леонардо жестом остановил его:

— Нет-нет, от этого не станет светлее. Я хочу посмотреть на нее, — и он указал глазами на мольберт в углу комнаты, на котором стояла картина, задернутая зеленым шелком.



Автопортрет Леонардо да Винчи.

Ученик отодвинул завесу, картина открылась — и как будто лучи солнца хлынули в комнату.

Это была «Джоконда».

Десятки, сотни раз видел Франческо этот женский портрет, созданный Леонардо да Винчи полтора десятилетия назад, в расцвете сил и таланта. Но «Джоконда» вновь потрясла Франческо, как будто он видел ее впервые.

Лицо и прекрасные руки молодой женщины были написаны с такой выразительностью, что казались теплыми, в ее глазах виделся живой блеск, на шее угадывалось биение пульса. Ее улыбка...

Франческо, как делал уже не раз, крепко зажмурился, а потом быстро открыл глаза. Он понимал, что это ребячество, но всякий раз надеялся, что успеет подглядеть какое-то другое выражение лица Джоконды, — настолько живым казалось это лицо.

— Учитель, я давно хотел вас спросить: что означает улыбка Джоконды? Эта ускользающая улыбка, такая тонкая и таинственная, такая нежная и насмешливая... Отчего она рождает в душе какую-то неясную тревогу?

Леонардо молчал, скорбившись в своем кресле. Казалось, он не слышал обращенных к нему слов, и Франческо не осмелился повторить вопрос.

Наконец Леонардо поднял голову.

— Улыбка Джоконды — моя тайна, — сказал он. — Я оставлю ее людям как вечную загадку...

Господин доктор

Открыв глаза, Пьер увидел темный сводчатый потолок, узкое высокое окно и удивленно подумал: «Где я?»

Должно быть, он подумал вслух, потому что чей-то веселый голос с готовностью отозвался:

— В Лионской больнице, дядя, где же еще!

Пьер огляделся.

Узкие окна большой больничной палаты пропускали тусклый свет зимнего утра. Множество изможденных безмолвных людей на узких койках, на грубо сколоченных нарах и прямо на полу показались Пьеру продолжением бреда.

Рядом с ним, опираясь на локоть, лежал на нарах молодой толстый парень. Он смотрел на Пьера и добродушно улыбался.

— Опомнился? — спросил парень. — Вот и хорошо. А то лежишь как мертвый, мне аж скучно стало. Засунули в самый угол — поговорить не с кем.

— Давно я тут?

— Третий день. Со вторника.

Пьер попробовал приподняться, но тут же упал, ударившись затылком о жесткую слежавшуюся солому.

— Ты, дядя, лежи, — наставительно сказал толстяк. — У тебя видать, лихорадка, тебе лежать надо. А я вот ноги обварил горячим маслом. Тебя как звать-то?

— Пьер Шаманье.

— А меня Симон Дюран, я подмастерье у булочника.

В это время по палате пронеслось:

— Доктор, доктор...

И все головы повернулись к двери.

Когда доктор приблизился и стало возможным разглядеть его лицо в сумрачном свете палаты, Пьер прошептал:

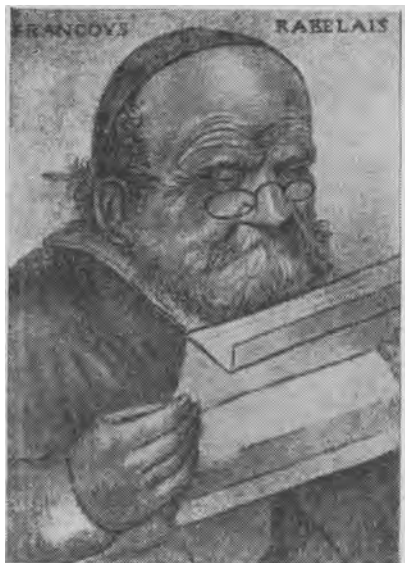
— Господин Алькофрибас Назье!..

Симон участливо наклонился к нему:

— Да ты, дядя, никак, опять бредишь? Нашего доктора зовут Франсуа Рабле.

Пьер ничего не ответил и закрыл глаза.

Наутро Пьеру стало лучше, и Симон, томившийся от безделья, жаждавший отвести душу неспешным разговором, спросил:



Франсуа Рабле. *Портрет работы Лагно.*

— Как-то ты, дядя Пьер чудно назвал вчера нашего доктора? Я уж и позабыл.

— Алькофрибас Назье. Это псевдоним господина Рабле.

— Чего? — не понял Симон.

— Ну, другие имя и фамилия, которые он сам себе придумал. Понимаешь?

— Зачем же господину доктору две фамилии?

— У него и ремесло не одно, — ответил Пьер. — Он не только лечит больных, он еще и книжки сочиняет.

— Откуда ты знаешь?

— Читал, вот и знаю.

— Ты что же, грамотный? — недоверчиво спросил Симон.

Пьер улыбнулся.

— Да я пятнадцатый год работаю наборщиком в типографии господина Жюста.

— Ох ты! — воскликнул Симон Дюран. Потом вздохнул: — Меня вот не вразумил господь... Ни читать, ни писать.

— А ты учился?

— Где уж мне! — Симон махнул рукой. — Мальчонкой отец привел меня из деревни в Лион и определил к пекарю. Тем мое ученье началось, тем, видно, и кончится... Так ты, выходит, знаком с господином Рабле?

— Нельзя сказать, что знаком. Просто видел его несколько раз в типографии хозяина. В прошлом году у нас печаталась книга господина Рабле про великана Гаргантюа, и мне досталось ее набирать. Он сочинил и другую книгу, про Пантагрюэля, сына Гаргантюа. Уж такие, я тебе скажу, веселые книги!

— Хо! Про Гаргантюа и я слышал. Возле нашей деревни есть скала, так ее называют «колыбелью Гаргантюа». А то еще я видел большой камень, про который говорили, что это — зуб Гаргантюа. Сказки, конечно...

— У нас любят сказки, — сказал Пьер. — Вот господин Рабле и решил сочинить сказку. Только сказка оказалась такова, что не успела книга появиться на свет, как богословы сразу же ее запретили.

— Чем же книга нашего доктора пришлась им не по вкусу? — спросил Симон.

— Мало сказать — не по вкусу! Господин Рабле пишет такие

вещи,— Пьер понизил голос,— за которые недолго и на костер угодить...

— Да ну! И не боязно ему?

— Э-э, брат, господин Рабле — человек себе на уме.

— Это как же?

— А вот так! Он серьезное как бы в шутку говорит. Знаешь, как это бывает на карнавале: надел маску — и веселись. Делай, что хочешь, кричи, что тебе только нравится, все позволено — на то и карнавал. Вот и господин Рабле надел на себя маску эдакого забавника, все у него шутки да прибаутки, а сам никому спуска не дает — ни церковникам, ни феодалам, ни самим королям!

— Эх, умел бы я читать!

— Погоди, вот попрошу у господина доктора книги, почитаю тебе...

Несколько дней спустя, обходя больных, Рабле сказал Пьеру:

— Кажется, дело идет на поправку.

— Спасибо вам, доктор,— ответил Пьер.— Я знаю, что был при смерти. Видно, недаром говорят, что господин Рабле такой же хороший лекарь, как и сочинитель.

Рабле удивленно поднял брови:

— Вам известно, что я сочинитель?

— Да, господин доктор. Я работаю в типографии у господина Жюста и набирал вашего «Гаргантюа».

— Вот как! То-то мне казалось знакомым ваше лицо.

— Господин доктор,— Пьер кивнул на Симона,— мой приятель просит меня почитать ему ваши книги...

— Охотно принесу,— пообещал Рабле.

Веселые книги

Книги и в самом деле оказались веселыми.

Поначалу вроде просто сказка. Жил да был добрый король — великан Грангузье. И был у него сынок Гаргантюа, тоже, конечно, великан.

До пяти лет Гаргантюа проводил время, как все дети: спал, ел и пил, валялся в грязи, ловил мух, шлепал по лужам, пил из туфли, мыл руки похлебкой, расчесывал волосы стаканом — одним словом, жил весело и беззаботно.

Когда же пришла пора заняться образованием ребенка, к нему, как это было принято, пригласили учителя-богослова, который «так хорошо сумел преподать ему азбуку, что тот выучил ее наизусть в обратном порядке, для чего потребовалось пять лет и три месяца».



Младенчество Гаргантюа.

Затем Гаргантюа должен был прочесть и переписать от руки (книгопечатание еще не было изобретено) четыре учебника. Самый «новый» из этих учебников был написан в XIII, а самый старый — в IV веке! На это было потрачено тринадцать лет.

Не один год ушел на изучение произведений таких авторов, имена которых — Пустомелиус, Оболтус и им подобные — говорят сами за себя.

Не нужно думать, что Гаргантюа просто не повезло с учителями (когда один наставник умер, его сменил другой «старый хрен», который учил ничуть не лучше первого). Такова была вся система средневекового образования, и Рабле считал, что «лучше совсем ничему не учиться, чем учиться по таким книгам и под руководством таких наставников, ибо их наука — бредни, а их мудрость — напыщенный вздор, сбивающий с толку лучшие, благороднейшие умы и губящий цвет юношества».

Год за годом шло учение молодого великана, однако отец стал замечать, что сын «глупеет, тупеет и час от часу становится рассеянное и бестолковое». А во время экзамена Гаргантюа и вовсе осрамился. В ответ на обращенную к нему речь на латинском языке, который, как считалось, он изучал многие годы, Гаргантюа «вместо ответа заревел, как корова, и уткнулся носом в шляпу».

Старый король велел прогнать наставника «ко всем чертям».

И вот за воспитание юноши взялся ученый-гуманист¹. Он хотел, чтобы его воспитанник вырос умным, добрым, справедливым человеком, прекрасным душой и телом.

Теперь без малейшей зубрежки, без всякого принуждения Гаргантюа вдумчиво изучает свойства природы, математику, геометрию, астрономию, занимается многими видами искусств, чередуя эти занятия с упражнениями физическими.

Ночью, когда юноша видит звездное небо, ему рассказывают о вселенной, когда он садится обедать, то узнает о свойствах и происхождении всего, что подается на стол.

Устав от занятий арифметикой, он играет на каком-нибудь музыкальном инструменте. Верховая езда сменяется плаваньем, уборка сена и пилка дров — занятиями живописью и скульптурой.

Вполне понятно, что занятия, прежде ненавистные, теперь стали казаться ему «приятными, легкими и желанными, так как скорее походили на развлечения короля, чем на занятия школьника».

Труды нового учителя увенчались полным успехом: Гаргантюа стал всесторонне образованным человеком и добрым, справедливым королем. Много лет спустя, когда его сын учился в Париже, Гаргантюа послал ему замечательное письмо, в котором показал себя истинным гуманистом, поборником наук и просвещения.

«С наук на моих глазах сняли запрет, они окружены почетом, — писал старый Гаргантюа. — Ныне в ходу изящное и исправное тиснение², изобретенное в мое время по внушению бога, тогда как пушки были выдуманы по наущению дьявола. Всюду мы видим ученых людей, образованных наставников, обширнейшие книгохранилища... Да что говорить! Женщины и девушки — и те стремятся к знанию, этому источнику славы, этой манне небесной...

¹ См. статью «Новые времена, новые люди»,

² Тиснение — книгопечатание.



Обучение Гаргантюа.

Вот почему, сын мой, я заклинаю тебя употребить свою молодость на усовершенствование в науках...»

Гаргантюа неспроста говорит, что пушки выдуманы «по наущению дьявола». Он хорошо знает, что такое война. В молодости ему пришлось защищать владения своего отца от нашествия сумасбродного завоевателя короля Пикрохола, возмечтавшего о мировом господстве. Пикрохол вторгся в чужую страну, «все на своем пути ломая и круша и не щадя ни бедного, ни богатого, ни храмов, ни жилищ».

Описывая гнусные «подвиги» Пикрохола, Рабле дал волю своей ненависти к незатихавшим в Европе войнам. Эти войны были нужны и желанны для феодалов воинственные и зачастую нищие дворяне видели в войне способ разбогатеть. А для простого народотруженика война была величайшим бедствием.

Пикрохол беспрепятственно продвигался по чужой земле, пока в одном аббатстве не нашелся монах — брат Жан, человек простой и мужественный. Вместо того чтобы, подобно другим монахам, лишь молиться в страхе перед неприятелем, брат Жан скинул рясу, схватил перекладину от деревянного креста, ринулся в бой на большой отряд врагов и перебил их всех до единого.

Брат Жан — человек из народа, и Рабле описывает его с большой симпатией. Жан трудолюбив и жизнерадостен, смел и умен. После окончания войны (с помощью подросшего Гаргантюа все войска Пикрохола были разгромлены) брат Жан в награду за храбрость получает от Гаргантюа разрешение основать Телемское аббатство¹.

В описании Телема воплотились самые светлые мечты Рабле об обществе будущего, обществе свободных и счастливых людей. Проведя смолоду более двадцати лет в монастыре, Рабле всей душой возненавидел монастырский быт и в своей книге противопоставляет ему идеальную, «не похожую ни на какую другую» Телемскую обитель. В обычных монастырях «все размеренно, рассчитано и расписано по часам». В Телемской же обители все делается «по мере надобности и когда удобнее... Глупее глупого сообразовываться со звоном колокола, а не с велением здравого смысла и разума».

В обычные монастыри, как пишет Рабле, идут люди уродливые, нескладные и слабоумные. В Телемскую обитель принимают «таких мужчин и женщин, которые отличаются красотой, статностью и обходительностью».

Обычно монахи и монахини обязаны оставаться в монастыре всю жизнь. Телемиты вольны уйти из аббатства, как только захотят. И живут они не в тесных и темных кельях, а в великолепном семиэтажном здании, более прекрасном, чем знаменитые замки французских вельмож и даже самого короля.

Лишь всестороннее гуманистическое образование, по мысли Рабле, может создать общество, достойное называться человеческим. Поэтому в Телеме превосходные книгохранилища, в которых собраны книги на многих языках, стены расписаны прекрасными фресками, великолепный парк, окружающий дом, располагает к прогулкам и спортивным играм на свежем воздухе.

Среди телемитов «не оказалось ни одного мужчины и ни одной женщины, которые бы не умели читать, писать, играть на музыкальных инструментах, говорить на пяти или шести языках и на каждом из них сочинять стихи и прозу. Нигде, кроме Телемской обители, не было столь отважных и учтивых кавалеров, столь неутомимых в ходьбе и искусных в верховой езде, столь сильных, подвижных, столь искусно владевших любым видом оружия. Нигде,

¹ *Аббатство* — католический монастырь с принадлежащими ему земельными владениями.



Король Пикрохол.

кроме Телемской обители, не было столь нарядных и столь изящных, всегда веселых дам, отменных рукодельниц и мастериц по части шитья, охотниц до всяких почтенных и неподневольных женских занятий».

Устав аббатства состоит из одного-единственного правила: «Делай, что хочешь». Рабле уверен, что «людей свободных, происходящих от добрых родителей, просвещенных, вращающихся в порядочном обществе, сама природа наделяет инстинктом и побудительною силой, которая постоянно наставляет их на добрые дела и отвлекает от порока, и сила эта зовется у них честью».

В то время как брат Жан занимался устройством прекрасного Телемского аббатства, Пикрохолу, разбитому на поле брани, пришлось стать простым поденщиком. Вояка, еще недавно мечтавший о завоевании всего мира, лишенный своей армии, оказался полным ничтожеством, годным лишь для самого примитивного труда.

Какая-то колдунья нагадала Пикрохолу, что он снова станет королем, когда рак свистнет. Всем известную поговорку этот болван понял буквально и с тех пор пристаёт ко всем с одним и тем же вопросом: не слышали ли, чтобы где-нибудь свистнул рак?

Так, страница за страницей, шел неторопливый и забавный рассказ о жизни великанов, их друзей и недругов.

Но Симону было ясно как день, что богословы взбеленились недаром. Чего-чего, а уж смелости господину доктору, как видно, не занимать. Пьер не соврал ни на су, когда сказал, что тут пахнет костром. Хоть десять масок на себя надень, а вот что написано черным по белому: «Все над монахами глумятся и все их презирают».

— А за что же их, бездельников, уважать? — сказал Симон.— Господин Рабле верно пишет, что монахи землю не пахут, в отличие от крестьян, отечество не охраняют, как это делают воины, не лечат больных... По-моему, они вообще ни черта не делают.

Пьер улыбнулся:

— А вот и неправда: кое-что и они делают.—И он торжественно прочел: — «Они... терзают слух окрестных жителей дилинь-бомканьем своих колоколов...»

Издевается Рабле и над кичащимися своей «ученостью» богословами, которых он называет «пустословами».

Вот один из них — высокочтимый магистр Ианотус де Брагмардо — «старейший и достойнейший представитель богословского факультета» — Сорбонны.

Он явился к Гаргантюа с дипломатическим поручением от своих собратьев. Дело в том, что молодой великан унес колокола Собора Парижской богоматери, чтобы заменить ими бубенцы на шею своей кобылы.

(Симон, услышав про эту выходку Гаргантюа, покатился со смеху: «Придет же такое в голову: церковные колокола на шею кобыле!»), но тут же, спохватившись, он набожно перекрестился.)

Ученому сорбоннику было поручено уговорить великана вернуть колокола. В конце своей длинной, напыщенной и бессмысленной речи он неожиданно сам признается: «Когда-то я мастер был рассуждать, а теперь вот могу только дичь пороть, и ничего мне больше не нужно, кроме доброго вина и мягкой постели. Спину поближе к огню, брюхо поближе к столу, да чтоб миска была до краев!»

Гаргантюа и его друзья смеялись до слез над «ученой» речью магистра и решили, что «блестящего оратора следует еще раз напоить и, ввиду того что он их развлек и насмешил... выдать ему десять пядей сосисок, упомянутых в его игривой речи, штаны, триста больших поленьев, двадцать пять бочек вина, постель с тремя перинами гусяного пера и весьма объемистую и глубокую миску,— словом, все, в чем, по его словам, он на старости лет нуждался...

Однако на этом дело не кончилось,— продолжает Рабле: — старый хрен еще раз торжественно потребовал штаны и сосиски на пленарном заседании в Сорбонне, но ему было в этом решительно отказано на том основании, что, по имеющимся сведениям, он уже все получил от Гаргантюа. Магистр Ианотус возразил, что это было сделано бескорыстно благодаря щедрости Гаргантюа, каковая-де не освобождает сорбоннистов от исполнения данных обещаний. Со всем тем было сказано, что с ним рассчитались по справедливости и больше он ни шиша не получит.

— По справедливости? — возопил Ианотус. — Да у вас тут ею и не пахнет. Ах, подлецы вы этакие, дрянь паршивая! Свет еще не видел таких мерзавцев, как вы. Уж я-то знаю вас, как свои пять пальцев... Ведь я делал всякие пакости вместе с вами».

«Да, подобные слова даже под шутовской маской решится сказать далеко не каждый»,— подумал Симон.

В другом месте он с ужасом, но и с тайной радостью услышал такое: «Эти чертовы короли здесь у нас, на земле,— сущие ослы: ничего-то они не знают, ни на что не годны, только и умеют что причинять зло несчастным подданным да ради своей незаконной и мерзкой прихоти будоражить весь мир войнами».

— Святые угодники! — вырвалось у Симона.— И как это у господина доктора поворачивается язык говорить такие слова?

Пьер хитро прищурился:

— Да разве это господин доктор говорит такие слова? Боже упаси! Это говорит один из персонажей его книги — бродяга Панург. Панург — бездельник и шалопай. А с шалопая, как известно, взятки гладки!

— А-а, теперь ясно, — Симон подмигнул Пьеру и расхохотался.

В это время в палату вошел Рабле.

— О! — сказал он, подходя к Симону.— Больной смеется, значит, он здоров.

— Ваша правда, господин доктор, ноги уже почти не болят.

— Вот и хорошо. А что тебя, дружок, так рассмешило, если не секрет?

Симон быстро переглянулся с Пьером. Тот ободряюще кивнул.

— Да вот мне приятель вашу книжку читает...

— Нравится? — спросил Рабле.

— Уж так нравится, что и сказать нельзя! — искренне воскликнул Симон.— Больше всех мне Панург по душе. Вот ловкач! А уж каких только каверз не строил он этим святошам, я слушал — чуть со смеху не лопнул!

— У нас в Турени,— сказал Пьер,— был один такой же школяр...

— Как, мой друг, вы из Турени? — живо спросил Рабле.

— Да, господин доктор.

— Значит, мы с вами земляки...

Годы прожитые

Свою родную Турень, где широкая и медлительная Луара течет в зеленых берегах мимо плодородных равнин, на которых пасутся стада, мимо деревень и ферм, утопающих в виноградниках, мимо старинных замков, гордо возвышающихся на вершинах лесистых холмов, Рабле называл «зеленым садом Франции».

Он родился в 1494 году на ферме Девиньер близ города Шинона, в семье адвоката. Его отец рассудил, определяя будущее сына, что духовная карьера наиболее почетна и выгодна. Десятилетний Франсуа был отдан в монастырь и спустя пятнадцать лет пострижен в монахи.

Монастырь Фонтене-ле-Конт, где жил молодой монах, обладал обширной библиотекой старинных книг и рукописей. В тиши своей кельи Франсуа предавался серьезным научным занятиям.

В эти годы во Франции повеяло свежим ветром из Италии, страны, где уже полтора столетия процветал гуманизм.

Идеи гуманизма достигли и уединенной кельи Рабле. Вместе со своим другом монахом Пьером Ами он с увлечением изучает греческий, латинский и новолатинский (итальянский) языки, читает Гомера и Эразма Роттердамского.

Но друзьям недолго пришлось наслаждаться чтением и изучением языков. Нашелся доносчик, у них произвели обыск, отобрали книги и рукописи. Оскорбленные, Рабле и Ами решили покинуть этот монастырь.

Епископ другого аббатства, человек передовых взглядов, предложил Рабле должность секретаря. Рабле согласился. Теперь он получил возможность, не таясь, изучать классиков, древние и новые языки, заняться ботаникой, химией и медициной.

Он охотно сопровождает епископа в его частых разъездах по провинции Пуату.

Глухие ворота монастыря закрылись за Франсуа, когда он был еще ребенком, поэтому теперь он видел широкий мир как бы впервые. Он узнал, как много трудятся крестьяне на своих жалких клочках земли, а городские ремесленники в темных и тесных мастерских. Но Франсуа узнал также, что эти люди любят и умеют веселиться.

Нередко в каком-нибудь городке ему встречалась телега с пестро наряженными и размалеванными актерами: разъезжая по улицам, они сзывали публику на предстоящее представление. И народ валом валил, чтобы посмотреть фарс — часто грубоватую, но всегда веселую и остроумную сценку.

Рабле вместе со всеми шел на площадь и вместе со всеми от души смеялся над проделками изворотливого адвоката Патлена, обманывающего богатого суконщика, над тем, что их обоих в конце концов одурачивал простой пастух, хитрость и смекалка которого приводила зрителей в неопиcуемый восторг.

Рабле покупал на ярмарках лубочные издания «народных книг». Это были обработки героических, фантастических и любовных историй, бог знает кем и когда написанных.

В какой-нибудь придорожной таверне¹ он слышал старинную песенку: «Я помню, как пела красотка на Авиньонском мосту», и мотив этой песенки потом преследовал его целый день.

После каждой такой поездки ему все меньше хотелось возвращаться в аббатство, за его высокие стены, отгораживающие от настоящей жизни.

И вот Рабле, наконец, решил: он сбросил монашескую рясу и навсегда ушел из монастыря. За три года бродячей жизни он исходил всю Францию вдоль и поперек. Он побывал в университетских городах — Пуатье, Тулузе, Бордо, Орлеане, посетил Париж и, наконец, поселился в Монпелье, чтобы основательно заняться медициной.

Наибольшим авторитетом в медицинском мире в то время пользовались сочинения Гиппократ и Галена — великих медиков древности. Но при переписке и перепечатке их трудов вкралось множество ошибок, искажавших первоначальный текст. «Одна запятая, прибавленная, зачеркнутая или не на месте поставленная, может стоить жизни нескольким тысячам людей», — писал Рабле. Он заново прочел сочинения Гиппократ и Галена в подлиннике, исправил переводы и сопроводил их необходимыми примечаниями и объяснениями.

Получив ученое звание бакалавра, Рабле стал врачом Лионской городской больницы. Помимо врачебной практики, он много времени уделял переводам трудов античных авторов по медицине, праву, археологии.

Лион того времени был центром культурной жизни Франции. В этом городе, как нигде, было развито мастерство книгопечатания, которое тогда называли «божественным искусством».

Ближайшими друзьями Рабле становятся поэт Клеман Маро, поэт и переводчик Этьен Доле, ученый, поэт и сатирик Бонавантюр Деперье.

Они часто собирались вместе. Маро, грациозный, утонченный, блистал очередной эпиграммой или стихотворением. Деперье читал недавно написанную новеллу, одну из тех, что должны были войти в сборник «Новые забавы и веселые разговоры». Чтение Деперье настраивало всех на веселый лад.

— Да и стоит ли унывать? — говорил Деперье. — Не лучше ли веселиться в ожидании радостей, чем горевать о том, что не в нашей власти?.. Я на собственном опыте убедился, что стофранковой меланхолией нельзя уменьшить долгов даже на сто су...

Рабле под общий хохот рассказывал эпизоды из задуманной

¹ Таверна — харчевня.

им книги о великанах. Под оболочкой безудержной фантазии слушатели угадывали вполне реальные события и образы.

В 1532 году Рабле издает первую книгу своего романа, названную «Пантагрюэль, король дисподов¹», а два года спустя — «Повесть о преужасной жизни Гаргантюа, отца Пантагрюэля».

Летом 1533 года он знакомится со многими лучшими поэтами и учеными Франции, которые в свите короля приезжают в Лион. Тогда же начинается его дружба с архиепископом Парижским Жаном дю Белле. Это был талантливый государственный деятель и видный дипломат, человек широкообразованный и гуманистически настроенный.

Когда Сорбонна осудила первую книгу Рабле, это не имело для него последствий лишь благодаря заступничеству его нового друга — архиепископа.

В следующем году Жан дю Белле, отправляясь в Рим, предложил Рабле сопровождать его в качестве личного врача. Рабле с радостью согласился. Сбылась его давняя мечта: он увидел Италию, родину гуманизма. Эта поездка расширила кругозор Рабле, обогатила его новыми идеями и впечатлениями. Весной того же года он вернулся в Лион, где продолжал свою работу врача городской больницы.

Король Франциск

Король Франциск I (1515—1547) — молодой красавец, образованный, храбрый и красноречивый — казался французским гуманистам живым воплощением идеального монарха.

Он окружил себя учеными и поэтами. Он пригласил ко двору прославленного итальянского художника и ученого Леонардо да Винчи, а также знаменитого итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини. Он приобретал для своих коллекций античные рукописи, картины и скульптуры, строил великолепные дворцы в новом стиле.

Мракобесы-церковники негодовали на то, что Франциск I насаждает в королевстве науки и искусства, дружит с гуманистами, этими непримиримыми противниками церкви. Их возмущало, что король находится под влиянием своей сестры Маргариты Наваррской, к которой они питали лютую злобу, называли ее «еретичкой» и даже предлагали завязать ее в мешок и бросить в Сену.

Маргарита Наваррская была на редкость образованной женщиной. Она знала несколько древних и европейских языков, была хорошо знакома с культурой итальянского Возрождения, сама писала стихи и новеллы. Всю свою жизнь она оставалась верным другом гуманистов — Рабле, Маро, Деперье, Доле и многих других поэтов и ученых. При ее дворе в Наварре собиралось самое

¹ *Дисподы* — жажущие.

изысканное общество, где люди блистали не богатством и знатностью, а талантами и знаниями, где велись ученые беседы, давались представления, обсуждались новые книги.

Маргарита была королю преданным другом, а часто и помощником. Она принимала участие в государственных делах, ездила в Испанию для дипломатических переговоров. Иностранные послы отзывались о ней как о самом мудром человеке Французского королевства.

Ее влияние на брата было огромным. Почти все друзья Маргариты становились друзьями короля, получая от него должности, пенсии и покровительство.

Гуманисты, мечтавшие пересоздать мир, исправить нравы, рассеять предрассудки, сделать человечество счастливым, ликовали, видя, что сам король их понимает и поддерживает. Вслед за Маргаритой они называли Франциска «король-солнце» и возлагали на него большие надежды. Маргарита даже склоняла его на путь реформации церкви.

Но Франциск не собирался ссориться с церковью, у него была для этого достаточно веская причина. Еще в 1515 году армия молодого Франциска I наголову разбила войска Римского папы. Желая избежать вражеского вторжения в Италию, папа был вынужден подписать так называемый «Болонский конкордат» — договор, который был для Франциска драгоценнейшим из трофеев. По этому договору папа сохранял за собой лишь духовное руководство галликанской (то есть французской) церковью, а назначением епископов и, что самое главное, доходами церкви отныне полновластно распоряжался французский король. По меткому выражению современника, папа теперь только «пас своих французских овец, но стричь их мог лишь король». И Франциск «стриг овец» весьма усердно, получая от церкви из года в год огромные доходы. Вполне понятно, что ему гораздо выгоднее было слыть добрым католиком.

Костры, костры...

В ночь на 18 октября 1534 года в Париже и некоторых других городах на стенах домов были расклеены плакаты, обличавшие злоупотребления католической церкви.

Наутро король увидел такой плакат, прибитый к дверям его собственной спальни в замке Блуа. Король был взбешен и напуган.

Покуда протестантские увлечения и даже безбожие некоторых гуманистов проповедовались в узком кругу избранных, король оставался снисходительным, его даже забавляли остроумные наскоки на церковь. Но совсем другое дело, если те же мысли и настроения выплескиваются на улицу, овладевают умами и ду-

шами простого люда. Это уже становится опасным для самого трона, который опирается на богатство, могущество и авторитет церкви. Этого король допустить не мог.

Церковники решили жестоко наказать еретиков. Первой их жертвой стал юноша-простолудин Бартеlemi Молон, у которого было найдено несколько экземпляров антицерковных плакатов. Его сожгли живьем. За ним взошел на костер суконщик, уличенный в том, что прибывал к стенам домов крамольные плакаты. Третьим был типограф — он печатал книги, запрещенные Сорбонной. А затем в огонь стали бросать всякого, хотя бы заподозренного в ереси.

Король, просвещеннейший из монархов, весьма благосклонно взирал на то, что сжигают людей. Мракобесы торжествовали.

Ужас и растерянность охватили французских гуманистов. В пламени костров гибли их самые светлые мечты, их радостные надежды на переустройство мира. И неоткуда было ждать защиты и поддержки. Франциск, этот «король-рыцарь», как он сам себя именовал, предал их, предал внезапно и жестоко! А Маргарита, их всегдашняя покровительница... Она их не предала, нет! Но что она могла? Лишь горевать вместе с ними, приходиться в отчаяние, плакать да молиться.

Лучшие люди Франции, опасаясь расправы, покидали родину. Темной февральской ночью 1535 года бежал из Лиона и доктор Рабле.

* * *

Прошло четыре года.

Буря постепенно утихла, прекратились массовые казни. Король, казалось, вернул гуманистам свое расположение. Изгнанники возвращались на родину.

Рабле смог переиздать обе книги своего «Гаргантюа и Пантагрюэля».

Но скоро обстановка в стране вновь резко изменилась к худшему. Франциск I подписал мирный договор со своим старым врагом — императором Священной Римской империи Карлом V и с этого времени окончательно перешел на сторону католической реакции.

Мрачные тучи снова нависли над Францией.

У Этьена Доле

Июльским вечером 1539 года Рабле, только что приехавший в Лион, ужинал у своего старого друга Этьена Доле. Они сидели в небольшой комнате, расположенной позади книжной лавки Доле.

Хозяин был нездоров. За окнами догорал теплый ясный вечер. Но Доле то и дело вставал из-за стола, подходил к камину и протягивал ладони к огню. Время от времени он поглядывал на дверь,— казалось, он кого-то ждет.

— Вас можно поздравить, Этьен,— говорил Рабле.— Наконец-то вы приобрели типографию и получили столь желанную возможность заняться книгопечатанием.

— Да, только боюсь, что мне недолго придется пользоваться этой возможностью: в своей типографии я печатаю книги, осужденные церковью. Мне этого не простят.

— Вы подвергаете себя смертельной опасности, Этьен!

Доле накинул на плечи плед и придвинул свое кресло к самому камину.

— А разве вы, Франсуа, не подвергаетесь смертельной опасности, как автор книг, осужденных самою Сорбонной?

Рабле усмехнулся:

— Ну, я-то, положим, получил отпущение грехов у самого папы.

— Вот как! — Доле изумленно вскинул брови.— Когда же это произошло?

— О, довольно давно, во время моей второй поездки в Италию. Папа простил мне самовольный уход из монастыря, разрешил заниматься врачебной практикой и позволил вернуться в любой бенедиктинский монастырь. От последней части этого милостивого разрешения я уклонился, а что касается моих занятий медициной, то я их продолжаю и даже получил звание доктора медицинских наук.

— Тогда разрешите и мне, в свою очередь, поздравить вас, дорогой друг.— Доле улыбнулся и, поглаживая бледной рукой длинную узкую бороду, сказал: — По этому случаю не могу отказать себе в удовольствии продекламировать мои латинские стихи:

Франсуа Рабле, честь и слава науки,
Он способен отвращать мертвецов от порога могилы
И возвращать им свет!

Рабле покачал головой:

— Ну, насчет того, чтобы возвращать мертвецам свет — сильно преувеличено. До этого наука еще не дошла, хотя она и делает значительные успехи.

— Я слышал, что в Монпелье вы производили публичное вскрытие трупов во время своих лекций. И собирали большую аудиторию.

— Да, многим хотелось присутствовать при этом дотоле невиданном зрелище.

— Все удивляются вашей смелости: ведь церковь считает изучение анатомии человека делом богопротивным.

— Эти святоши всякую науку считают богопротивным делом. Чего еще можно от них ожидать! Как говорится, старой обезьяне приятной гримасы не соорудить.

Хозяин разлил в стаканы бургундское.

— Кстати, Франсуа, говорят, что в Риме вы просили папу отлучить вас от церкви: мол, это верное средство избежать костра, потому что, как говорят в народе, проклятого самим папой даже огонь не берет...

— Клянусь святым Франциском, это превосходная мысль! — воскликнул Рабле.— Разумеется, это лишь легенда. Но я охотно попросил бы папу об этом одолжении. Уж лучше быть проклятым, чем сгореть. Я от природы человек пылкий, куда мне еще подогреться на костре!

— Вы все шутите, Франсуа,— с доброй улыбкой сказал Доле.— Недаром о вас ходит такое множество легенд, и все они рисуют вас как человека беззаботного, балагура и забавника.

— Обычное заблуждение! Почему-то считается, что автор веселой книги и сам необыкновенный весельчак. А мне, видит бог, не весело. Лишь покровительство моих высокопоставленных друзей Жана и Гийома дю Белле спасает меня от цепких рук палачей в церковных одеяниях.

Доле оторвал взгляд от пляшущих языков огня в камине и снова посмотрел на дверь.

— Вы кого-нибудь ждете? — спросил Рабле.

— Да. Я жду известий о сегодняшних событиях. Болезнь помешала мне присутствовать на суде.

— На суде? — с недоумением переспросил Рабле.

— Ох, я совсем забыл, что вы приехали в Лион два часа назад и совсем не знаете наших дел! — воскликнул Доле.— Но вы, конечно, слышали, что лионские подмастерья-печатники еще весной побросали работу и предъявили хозяевам свои требования.

— Конечно, я слышал об этом. Кстати, то же самое происходит сейчас и в Париже.

— И не удивительно! Подумать только: квалифицированных работников хозяева стали заменять кое-как обученными учениками, потому что это выгодно: ученику хозяин может не платить за работу ни единого су. Впрочем, и подмастерья работают, по существу, за скудные харчи и убогий ночлег. Можно ли считать платой одно-два су за семнадцать часов напряженной работы? Но печатники — люди грамотные, они сумели объединиться в братства и единодушно выступили против хозяев, этих безжалостных злодеев.

— Мой друг, вы же теперь сам — хозяин! — тонко улыбнувшись, напомнил Рабле.

Но Доле не принял шутки.

— Я неоднократно высказывал свое сочувствие забастовщикам и этим навлек на себя лютую ненависть хозяев.



Французская типография XVI века.

Отбросив плед, он принялся ходить по комнате из угла в угол.

— Так кого же вы ждете? — спросил Рабле.

— На сегодня назначен суд: сенешаль¹ взялся рассудить печатников с хозяевами. Один из моих друзей-печатников обещал зайти ко мне после суда. Да вот, наверное, и он! — воскликнул Доле, заслышав шаги на лестнице. Он поспешно распахнул дверь.— Заходите, Пьер!

В человеке, который вошел в комнату, Рабле узнал своего давнишнего пациента.

«Вплоть до пыток и смертной казни»

— Ну что? — нетерпеливо спросил Доле, подвигая Пьеру кресло.— Садитесь и рассказывайте. Впрочем, выпейте сначала вина — вы весь дрожите. Я тоже сегодня что-то зябну.

Пьер осушил стакан и сцепил пальцы, стараясь унять дрожь в руках.

— Это не от холода, а от злости,— сказал он.— Суд, как и следовало ожидать, целиком принял сторону хозяев. А хозяева заявили на суде, что стачку начали смутьяны, которым невозможно угодить ни едой, ни питьем. Мы требовали сократить рабочий

¹ *Сенешаль* — представитель судебной власти.

день. Ведь мы встаем на работу в два часа ночи и заканчиваем ее в восемь-девять часов вечера! И ни минуты передышки, мы даже обедаем наспех, не выходя из типографии. Но суд отверг все наши требования, лишь дал хозяевам расплывчатое указание кормить подмастерьев «так, как это было пять-шесть лет тому назад, а не так, как в последние годы».

— Ага! — воскликнул Доле.— Значит, даже суд признал, что хозяева плохо вас кормят!

— Признал, а что толку? Вряд ли хозяева станут кормить нас лучше. Но нам запрещено впредь устраивать «трик», — так мы называем прекращение работы,— пояснил Пьер, обратясь к Рабле. Тот кивнул.— Нам запрещено носить оружие и собираться вне дома хозяина, запрещено оставлять работу раньше положенного часа... Зато на хозяев не наложено никаких ограничений.

— Но ведь вы не примиритесь с приговором сенешаля? — спросил Рабле.

— Никогда!..

Прощаясь, Рабле сказал Пьеру:

— Желаю вам удачи, в вашей борьбе. Надеюсь, мы еще увидимся...

Но увидеться им не пришлось.

Вскоре после суда сенешаля в Лион пришла королевская грамота. Власти были не на шутку напуганы тем, что забастовка лионских печатников была подхвачена печатниками Парижа. Одновременно забастовали парижские пекари и мясники. Дело принимало дотоле невиданный и крайне нежелательный для правительства оборот.

Поэтому королевская грамота предписывала применять к стачечникам самые жестокие меры, «вплоть до пыток и смертной казни». Среди других активных участников стачки был казнен и Пьер.

А несколько лет спустя по доносу владельцев лионских типографий был арестован Этьен Доле. Его обвинили в трех преступлениях: в кощунственном отношении к религии, участии в мятеже (имелось в виду сочувствие стачке лионских печатников) и, наконец, в распространении запрещенных и осужденных Сорбонной книг. Среди этих книг была и книга Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», которую Доле издал в пору самой жестокой реакции без каких-либо поправок или сокращений.

3 августа 1546 года Этьен Доле был повешен, а затем сожжен на площади Мобер в Париже.

Одиночество

Несколько дней подряд моросил мелкий холодный дождь. Узкие немощные улицы Парижа тонули в грязи. Редкие прохожие жались к стенам домов.

Рабле подходил к закрытому окну и, уткнувшись лбом в частый переплет, смотрел на улицу сквозь толстые мутные стекла.

Прошла неделя со дня казни Доле, и все это время Рабле не выходил из дому. Он похудел и осунулся. Кусок не шел ему в горло, ночами он не мог спать. Стоило ему закрыть глаза, как перед ним вставало лицо Доле.

Воображение рисовало ему страшную картину казни.

Вот глухие удары соборного колокола возвещают о начале ужасного зрелища. Огромная толпа собирается на площади: присутствовать при сожжении еретика считается проявлением благочестия. Матери поднимают детей, чтобы они могли как следует разглядеть осужденного, надетую на него высокую остроконечную шапку и желтый наплечник, на которых изображены черти и адский огонь. Через несколько мгновений вокруг осужденного заплещут языки настоящего, не нарисованного огня...

Рабле часами ходит из угла в угол, думает: «Не ожидает ли и меня подобная участь? Доле обвинили в том, что он напечатал «Гаргантюа». Только напечатал, а ведь написал-то книгу я! К тому же Этьен поступил крайне неосторожно, издав книгу без всяких сокращений. Мерзавцы-церковники только и ждут подходящего случая, чтобы вцепиться мне в горло. Впрочем, никакие сокращения не изменили бы истинного лица моей книги...»

Совсем недавно он отдал печатать третью книгу «Гаргантюа и Пантагрюэля». Можно не сомневаться, что церковники снова придут в ярость, прочтя его утверждение, что «монахи едят не для того, чтобы жить,— они живут для того, чтобы есть: в этом для них весь смысл земной жизни». А его «описка», когда он называет богословов «сквернословьями»... А его... Э, да если начать перечислять — конца не будет.

Надо уезжать из Франции: руки, втащившие на костер Доле, могут дотянуться и до него.

Рабле уезжает в Мец, работает там врачом.

Через два года он возвращается на родину, и сразу же убеждается, что ненависть к нему ревнителей церкви нисколько не утихла.

Один из этих мракобесов, доктор парижского богословского факультета монах Эбро написал злобный пасквиль, в котором обвинял Рабле в том, что он пишет «гнусные сочинения».

— Недаром еще покойный Депенье говаривал: «Остерегайтесь быка спереди, мула сзади, а монаха со всех сторон!» — горько усмехался Рабле.

Он был теперь бесконечно одинок. Один за другим погибли друзья: Доле казнен, Маро умер в изгнании, Депенье, гонимый и преследуемый, в отчаянии покончил жизнь самоубийством, бросившись на острие шпаги.

Неутомимый воитель

Но у Рабле остались другие друзья — герои его книг: мудрый философ Пантагрюэль, храбрый и рассудительный Жан, неунывающий острослов Панург.

Сколько воды утекло с тех пор, как Рабле написал две первые книги своей эпопеей! Тогда он смеялся весело и легко, тогда ему казалось, что все темное, злое, мешающее счастью людей вот-вот сгинет, исчезнет навсегда.

Прошли годы, но темное, злое, мешающее счастью людей не только не исчезло, но и торжествует победу. Значит, надо продолжать борьбу, не выпускать оружия из рук. А его оружие — смех, разящий, беспощадный.

В 1552 году Рабле издает четвертую книгу «Гаргантюа и Пантагрюэля» (распространение которой тут же было запрещено «под страхом телесного наказания») и принимается за пятую.

Когда-то Рабле мечтал об идеально устроенном обществе. Его воображение создало Телемское аббатство — мир добра, разума и справедливости. Прекрасные мечты Рабле сменились скорбным пониманием реальной действительности. Веселый смех сменился смехом гневным.

По-прежнему Рабле привлекает неуемную фантазию для маскировки своей разящей сатиры. Вместе с героями книги автор отправляется в далекое и опасное путешествие, посещая по пути множество островов, населенных причудливыми существами.

Вот остров, где живут исключительно судейские чиновники и сутяги. Их жадность к деньгам так велика, что каждый из них мечтает быть избитым до полусмерти, если ему заплатят за это двадцать золотых экю.

С такой просьбой целое скопище сутяг обратилось к брату Жану. Выбрав одного из них, «брат Жан в полное свое удовольствие накостылял краснорожему спину и живот, руки и ноги, голову и все прочее, так накостылял, что мне даже показалось, будто он уходил его насмерть. Засим он протянул ему двадцать экю. И тут мой поганец вскочил с таким счастливым видом, как будто он король или даже два короля вместе взятые».

Путешественники посещают остров Папеманов, жители которого гордятся тем, что они разграбили и разорили, вырезав всех взрослых мужчин, соседний остров Папефигов за то, что какой-то тамошний житель показал фигу портрету папы Римского. Под «папефигами» Рабле изобразил протестантов, а под «папеманами» — католиков, помешавшихся на любви к папе.

Сатира на католическое духовенство звучит с еще большей силой в описании «Звучащего острова» — этого необычайного собрания диковинных птиц, которые называются инокци, священцы, аббатцы, епископцы, кардинцы (есть среди них и, единственный в своем роде, «папец»).

Все эти птицы слетаются в свои большие великолепные клетки «то ли от нехватки пищи, то ли от неумения и нежелания хоть что-нибудь делать, заниматься каким-либо благородным искусством или почтенным ремеслом, верой и правдой служить честным людям», или «когда они совершают какое-нибудь гнусное преступление, скрываются от позорной казни». Тогда «все они слетаются сюда на готовенькое: прилетят тощие, как сороки,— глядь, уж разжирели, как сурки».

Рабле, неутомимый воитель, один в стане разъяренных врагов гремит обвинительными речами, рисует убийственные карикатуры, разит едкими насмешками.

Он умер в Париже в 1553 году, не успев закончить пятой книги своей великой эпопеи.

Молва сохранила слова, сказанные Рабле при виде священника, пришедшего, по обычаю, его исповедовать:

— Вижу бога, грядущего ко мне в образе осла.

Великий насмешник до конца остался верен себе.

Умирая, Рабле, как говорят, произнес:

— Опустите занавес, комедия окончена!

Косово поле. Я. С. Рашба и А. Я. Фишелева.....	3
Жакерия — восстание французских крестьян. С. А. Асиновская и М. А. Заборов.....	20
Жанна д'Арк — героиня французского народа. Я. И. Запорожец	36
Людовик XI. Я. Бабичева.....	61
«Китайский секрет». В. Я. Голант.....	6
Гансик в школе бакалавра Рингеля. А. Д. Эпштейн.....	83
Клюнийские беглецы. А. Д. Эпштейн.....	107
Португальцы у берегов Африки. Б. И. Рыськин.....	127
Жан Кальвин и его учение. А. Д. Эпштейн.....	145
Орден иезуитов. А. Д. Эпштейн.....	163
Кардинал Ришелье. З. А. Веселая.....	181
Большой путь маленькой страны. А. Д. Эпштейн.....	197
Начало Нидерландской революции. А. Д. Эпштейн.....	216
Новые времена, новые люди. С. Д. Сказкин.....	239
Африканские книголюбы. В. Я. Голант.....	250
Леонардо да Винчи. З. А. Веселая.....	261
Великий насмешник Франсуа Рабле. З. А. Веселая.....	281

КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ ПО ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ Ч. II.

Редактор В. С. Степанова.

Редактор карт К. А. Коровина.

Художественный редактор В. И. Рывчин.

Технический редактор Н. Н. Махова.

Корректор А. П. Родионова.

Слано в набор 9/II 1970 г. А03785. Подписано к печати 14/7111 1970 г. 60 X 90716. Типографская № 2. Печ. л. 19. Уч.-изд. л. 19,79. Тираж 100 тыс. экз. (План 1970 г. № 251)

Издательство «Просвещение» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, 3-й проезд Марьиной роши, 41.

Типография изд-ва «Уральский рабочий», г. Свердловск, пр. Ленина. 49. Заказ 84. Цена без переплета 50 коп., переплет 10 коп.

